Наталья Старосельская

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ «РУССКОГО» КИТАЯ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Острова Рассеяния — так принято называть места компактного проживания русских эмигрантов, покинувших Родину в конце XIX — начале XX века. Несколько таких островов более полувека существовали на территории Китая. В книге Натальи Старосельской рассказывается о жизни русских колонистов, по разным причинам оказавшихся в этой стране: кто-то приехал сюда задолго до революции — по торговым делам или на строительство Китайско-Восточной железной дороги; кто-то бежал от красного террора и Гражданской войны. Большая часть эмигрантов вернулась впоследствии на Родину, но мало у кого из них жизнь сложилась здесь так же благополучно, как, например, у Александра Вертинского и Олега Лундстрема. Многие эмигранты попали в сталинские лагеря и там погибли. Жизнь и судьба «русского» Китая — это совершенно особая страница истории русского зарубежья. В книге использованы фотографии из частных архивов.

- Наталья Старосельская
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Вместо заключения
  - Библиография

Наталья Старосельская
Повседневная жизнь «русского» Китая

Глава 1
«Русский» Китай

…За стеклянной дверцей шкафа стоит кукла — красное с узорами шелковое кимоно, широкий пояс с бантом сзади, изящно оттопырены фарфоровые пальчики, топкие черты фарфорового бледного лица, пышная прическа, украшенная цветами, сделана из натуральных волос — далекая прародительница сегодняшнего восточного ширпотреба, выполненная искусными руками китайских мастеров.

Гостья из Маньчжурии.

Я уже вторая ее хозяйка, она досталась мне в наследство от школьной учительницы литературы, близкого моего друга Лии Ильиничны Рубинштейн. Лия Ильинична привезла эту куклу из далекого Харбина и никогда не рассказывала об этом отрезке своей биографии, хотя после того, как я окончила школу, и до последних дней ее жизни мы были по-настоящему близки.

Знаю только, что учительница моя очень дорожила этой куклой, в присутствии курильщиков всегда бережно закрывала ее специальным стеклянным колпаком.

Не с того ли дня, как познакомилась я с гостьей из Маньчжурии, зародился мой все более и более растущий с годами интерес к «русскому» Китаю? И не просто интерес, а постоянно подогревающееся чувство, которое «подсовывало» то книги о той эпохе, то фотографии, то встречи с людьми, вернувшимися на Родину из «русского» Китая в начале 50-х годов XX века…

И наступил неизбежный момент, когда чужое прошлое проросло в мою душу — возникла иллюзия, что это происходило и со мной, став частью повседневной жизни.

Чьей?

Многих и очень разных людей. Известных и оставшихся безвестными.

Но и моей собственной, потому что наше прошлое состоит не только из цепочки определенных событий и переживаний, но и из чужого опыта, чужих мыслей и настроений, впитанных из общения. В том числе — из общения с книгами и спектаклями, фильмами и картинами, музыкой и пожелтевшими, обтрепанными по краям фотографиями.

Почему вдруг начинает казаться каким-то особенно родным чужое воспоминание? Почему так неотвязно преследуют видения прошлого — не тобой, не твоими близкими пережитого? Ведь в этом скрыто не только желание ощутить себя в другом времени, в

другом месте — здесь есть потребность иного рода: наполнить живыми красками повседневья белые пятна истории нашей великой и многострадальной страны, чтобы лучше понять собственные корни, истоки собственных сомнений, терзаний, надежд… А в случае с «русским» Китаем это чувство особенно обостряется.

Скорее всего потому, что этот отрезок нашей истории представляется совершенно особенным. Здесь, в Китае, связанном с Россией на протяжении веков тесными узами, само понятие «эмиграция» приобретает иной смысл. Мы вряд ли вправе будем вырвать из обширного исторического контекста несколько десятилетий — с 1920-го до середины 1950-х годов, — потому что все, что происходило с русским населением в Китае, окрашено иными красками, нежели жизнь наших соотечественников в странах Европы, в Америке, Австралии. И тем не менее… Как бы ни разнились между собой узелки рисунка, это была одна ткань, сотканная многими и многими поколениями.

У поэта Алексея Ачаира (Грызова) есть стихотворение «Деды», посвященное предкам, казакам, которые на протяжении десяти (!) поколений осваивали земли Трехречья и Китая во славу России, чтобы она «великой стала, Из всех чудесных стран чудеснейшей

страной…

Так дедовская Русь
Построена и мной? —
И мальчик — пасынок страны,
Страны своей, о изгнаны!
Прижавшийся к отцу, весь в
Робком ожиданьи:
Когда его страна — где он
Не может быть. —
Всех дедов его научится
Любить?!»

Вот, наверное, что особенно важно понять, думая о «русском» Китае — мы еще не научились любить тех, кому задолжали…

«Когда пьешь воду, не забывай об источнике», — гласит китайская поговорка.

О той части русской эмиграции, что сосредоточилась в Париже и Берлине, в Праге и университетских городах Соединенных Штатов Америки, мы знаем не все, конечно, но многое. Там оказался по воле судьбы цвет русской культуры, ее гордость и слава, и сначала вполголоса, а потом и громко мы заговорили о них. Сперва жадно прочитывали написанное писателями-эмигрантами втихомолку, под покровом ночи, наутро передавая книги самым верным и надежным друзьям, а потом обсуждая их вслух, прилюдно. А чуть позже на нас обрушилась лавина изданных уже здесь, у нас, в России, стихов и мемуаров, романов и воспоминаний о том, как все это было.

В «русском» Китае все складывалось немного иначе. Среди эмигрантов и неэмиграптов, живших в Харбине, Шанхае, Тяньцзине, Пекине, не было таких громких имен, по были другие… Они становились известными далеко за пределами Китая, когда их произведения публиковались в общеэмигрантских сборниках и изданиях — во Франции, Германии, Америке. К тому же многие из них уезжали в середине 1950-х годов не домой, в Россию, а туда, еще дальше от нее.

И все-таки не в этом дело.

А в том, что на протяжении более чем столетия на экзотической, близкой к границам России китайской земле шла не просто повседневная жизнь тех, кого разными ветрами занесло на чужбину и кто потом, покинув этот к кому-то более, к кому-то менее гостеприимный край, устремлялся на Родину или еще дальше от нее. Здесь продолжалась жизнь старой России, здесь десятилетиями поддерживалась иллюзия того, что потерянный рай вовсе не потерян — он утрачен в одном уголке планеты, чтобы сохраниться в другом: в колониальном мире Китая.

Как, чем они жили?

О чем мечтали?

Во что верили?

Как воспринимали окружающий их мир — слишком экзотичный, по большей части закрытый, а нередко и откровенно враждебный? Что составляло их духовную жизнь?

И — цепочка куда более мелких вопросов: что они ели? Во что одевались? Как проводили досуг? В каких домах жили? По каким улицам ходили?

Все это очень важно узнать, понять и обобщить, потому что в ответах на эти вопросы есть немалая часть нашего общего прошлого, построенного из каждого дня и из каждого часа жизни многих и многих тысяч самых разных людей.

Известных и оставшихся безвестными…

Потому что мудро замечено поэтом:

> Как в прошедшем будущее зреет,
> Так и грядущем прошлое тлеет…

И познать одно без другого немыслимо.

Из воспоминаний, описаний, фотографий, старых и новых газетных статей и очерков, из предметов быта, обрывочных

кадров кинохроники и родилась эта книга о «русском» Китае. Многие из героев книги не были знакомы друг с другом, но их роднит общая жизнь — очень часто их воспоминания удивительным образом пересекаются: улицы городов, большие отели и маленькие домики, память о бабушках, дедушках, родителях, далекие, больше похожие на сны, воспоминания о России, память о японской оккупации и о конце «русского» Харбина, память о расцвете «русского» Шанхая и о тех страшных временах, когда они покидали Китай и в теплушках отправлялись на Родину отнюдь не по доброй воле…

Словно мозаику, я попыталась сложить разрозненные фрагменты прошлых жизней в единую — как она текла на протяжении хотя бы пяти десятилетий XX века в далеком и загадочном краю.

Надо оговориться сразу: ни в коей мере не притязая на серьезное научное исследование, как не притязая на исчерпывающее описание событий и судеб, я складываю эту книгу едва ли не в первую очередь из собственной любви к истории своей страны, к ее людям, оказавшимся оторванными от России. И никакой исчерпанности в этой теме быть не может, как не может ее быть в любой исторической теме вообще — мы оказываемся перед историей беспомощными, потому что наши знания мизерны, какими бы полными они ни представлялись в то или иное время. Потому каждая новая попытка прикоснуться к истории с целью познать самое себя — необходима и в каком-то смысле плодотворна; ведь подлинная история слагается из больших и малых фрагментов чужих судеб, осмысленных и пережитых тобой.

А еще эта книга сложилась из огромного интереса именно к «русскому» Китаю, как совершенно особой, во многом загадочной

части русского Рассеяния.

А еще — из убеждения, что мы должны это знать, и из надежды, что чужой опыт эмоционально отзовется в собственном и чему-то непременно научит, в чем-то обязательно поможет…

В последние десятилетия появилось много интереснейших монографий, публикаций о «русском» Китае. В нескольких российских городах выходят периодические издания, посвященные этой неисчерпаемой теме. С благодарностью используя самые различные материалы в своей книге, я пытаюсь обобщить этот чужой опыт, пропуская его через собственные фантазии, видения…

Несмотря на то, что материал собирался очень долго, момент полной готовности погрузиться в замысел все не наступал. Помог, как это чаще всего бывает, случай.

… 19 мая 2004 года в небольшом зале библиотеки «Русское зарубежье» проходила презентация книги Ольги Ильиной-Лаиль «Восточная нить» — о харбинском детстве и отрочестве, о шанхайской и пекинской юности. Красивая, эффектная пожилая дама приехала из Франции, где она живет много десятилетий, чтобы провести эту презентацию в день 90-летия со дня рождения своей старшей сестры, Наталии Иосифовны Ильиной, известной советской писательницы, журналистки. Наталии Ильиной давно уже нет, но нельзя забывать, что именно ей принадлежит честь и горечь одного из первых прикосновений к теме «русского» Китая, к собственному прошлому, так остро воспринятому нами в ее книгах «Возвращение», «Дороги», «Судьбы».

Сестры Ильины попали в Китай детьми. «До тысяча девятьсот двадцатого года, когда мы, беженцы, сначала отдельными струйками, а затем уже этаким беспорядочным потоком стали заливать улицы Харбина, — писала Наталия Ильина в книге «Судьбы», — тогда вполне благоустроенного города, тамошние старожилы (служащие КВЖД, торговцы, домовладельцы) вели жизнь настолько спокойную, насколько это было возможно в те апокалиптические времена». И именно этот момент, когда в Харбине появились «остатки разбитых колчаковцев и семьи их», Ильина назвала «одним из первых ощутительных толчков, потрясших основы налаженной, устоявшейся жизни» вполне процветающего города.

Повествования Наталии Иосифовны Ильиной — о городе нелегкой судьбы, об оккупации Маньчжурии японцами, о создании марионеточного государства Маньчжоу-Го, — обо всем, что довелось пережить юной девушке, лишенной Родины и страстно стремящейся обрести ее. Да, сегодня мы перечитываем их немного другими глазами, понимая вынужденность

умолчаний, спрямлений, скороговорки. Но остается главное — жизнь в эмиграции и путь на Родину, запечатленные подробно и трезво, с неумением и нежеланием переоценивать из дня сегодняшнего то, что тогда казалось самым главным.

Смыслом жизни.

Народу на презентации собралось не очень много, но большинство были моими героями, людьми, чье прошлое соединило их в новой жизни не только для того, чтобы ностальгически вспоминать, но для того, чтобы держаться друг за друга в иной реальности.

В какой-то момент — чтобы выжить.

Сегодня — чтобы погрузиться в далекие времена и в нынешней своей разобщенности еще острее ощутить все, что довелось пережить когда-то вместе. Даже если в той жизни они не были особенно близки, а порой и знакомы-то не были.

Но их тянет, неодолимо тянет туда, в детство, в юность — для многих тяжелые, голодные; для кого-то — счастливые. Сегодня это совсем не важно. Важно нечто другое, осознать бы только — что именно? Не то ли неопределенное, но и непреодолимое чувство, что заставило меня войти в это чужое прошлое, чтобы понять, без чего нельзя жить дальше?..

И тогда надо помнить не только о том, как они жили там, в Харбине, Шанхае, Тяньцзине, Пекине, но и о тех днях, когда они, возвратившись домой, почти сразу же испытывали горькое разочарование и — кто знает? — может быть, раскаивались в том, что приняли такое решение.

1950 годом датировано одно из самых грустных стихотворений Александра Вертинского «Отчизна»:

Я прожил жизнь в скитаниях без сроку,
Но и теперь еще сквозь грохот дней
Я слышу глас, я слышу глас пророка:
Восстань.
Исполнись волею моей!..
И я встаю.
Бреду слепой от вьюги,
Дрожу в просторах Родины моей,
Еще пытаясь в творческой потуге
Уже не «жечь», а греть сердца людей.
Но заметают звонкие метели
Мои следы, ведущие в мечту,
И гибнут песни, не достигнув цели,
Как птицы, замерзая на лету.
Россия, Родина, страна родная!

Ужели мне навеки суждено
В твоих снегах брести, изнемогая.
Бросая в снег ненужное зерно?
Ну что ж, прими мой бедный дар. Отчизна!
Но, раскрывая щедрую ладонь,
Я знаю, что в мартенах коммунизма
Все переплавит в сталь святой огонь.

Это стихотворение написано на Сахалине — ближе к Китаю, где он прожил много лет, чем к Москве, куда вернулся с семьей в 1943 году. Мы никогда не узнаем, какие чувства испытывал Александр Николаевич, когда слагал эти строки, но мы сильно ошибемся, заподозрив его в неискренности — своими глазами видя все противоречия новой страны, возникшей на месте старой России, Вертинский не утратил веру в нее, в тот «святой огонь», что рано или поздно заново выплавит все то, чем так дорожили поколения…

История «русского» Китая берет свое начало в стародавние времена. Еще в 1682 году был возведен на правом берегу реки Аргунь острог, обозначивший границу России и Китая. По Нерчинскому договору 1689 года граница была официально установлена по Аргуни: на левом берегу кончались земли России, на правом начинались владения Цинской империи, в связи с чем Аргунский острог был перенесен на русский берег.

Доктор исторических наук, выходец из Харбина, Георгий Васильевич Мелихов пишет в книге «Белый Харбин. Середина 20-х»: «Вдоль реки, с русской стороны были поставлены казачьи караулы; с китайской стороны никакой охраны не было. В этих условиях экономические, торговые и прочие связи народов двух стран, «разделенных» этой границей, сохранялись и нормально развивались. Равно как и их глубоко дружественные отношения. И с разрешения местных маньчжуро-цинских властей забайкальские караульские казаки пригоняли сюда на правобережье свой скот на выпас, заготовляли сено, охотились, вели взаимовыгодный торг с местным населением. Многие казаки имели здесь постоянные заимки.

Такое положение сохранялось на Аргуни вплоть до революции».

Но не так благостно было все, особенно поначалу.

Главной крепостью в бассейне Амура в XVII столетии была крепость Албазин (так называлось по имени даурского князя поселение дауров в верховьях Амура). В 1682 году Албазин стал резиденцией воеводы, своеобразным центром русского

Приамурья. Местные жители, признав власть русского царя, стали его данниками, дауры же считали себя данниками маньчжурского императора, и на этой почве начали возникать конфликты: русских называли «краснобородыми дьяволами», «лоча» (демонами). По приказу Пекина маньчжурско-китайские войска нападали на русские крепости, видя угрозу «русского влияния», и однажды император Канси повелел войскам овладеть Албазином и уничтожить его и послал на осаду 15-тысячную армию со 150 пушками. Численность неприятельского войска во много раз превышала количество защитников Албазина — их было не более 450 с тремя орудиями. Император приказал отнестись к защитникам крепости с возможной мягкостью и милосердием. Разрушив крепость, военачальники должны были предложить оборонявшимся службу в императорской гвардии. Так все и произошло. Албазин продержался 10 дней, а затем, видя бессмысленность сопротивления, воевода Толбухин решил сдаться на определенных условиях, главным из которых было согласие командующего армией предоставить казакам и гражданскому населению возможность уйти беспрепятственно в Нерчинск, бывший тогда одним из административных центров российских владений на Дальнем Востоке.

В Нерчинск ушли не все, часть казаков приняла предложение императора Канси: на службу в Пекин отправилось 45 человек. Что повлияло на их решение остаться в чужой стране — неизвестно, версий сохранилось слишком много, чтобы довериться какой бы то ни было. Но так или иначе казаки оказались в Пекине; с ними был православный священник отец Максим Леонтьев. Именно благодаря этим людям возникло православие в Китае. В 1696 году на месте поселения казаков была построена церковь Святой Софии, Премудрости Божией. Казаки именовали этот храм Никольским, так как здесь был установлен образ святого Николая можайской росписи, особо чтимый казаками.

«…Канси позаботился и о матримониальной стороне жизни албазинцев, — пишет историк Е. Шиляев, живущий в США. — По его распоряжению им были отданы в жены китаянки по списку, составленному «син-бу», то есть «разбойничьим приказом», или, по более современной терминологии, — министерством уголовных дел. Это были вдовы — жены казненных преступников, проститутки и женщины, осужденные за какие-то преступления. На первый взгляд этот шаг богдыхана мало согласовывался с тем благорасположением, с которым император Канси неизменно относился к албазинцам, однако объяснялся он просто и вовсе не означал какого-то недовольства со стороны китайского

императора.

Дело в том, что Китай тех времен неизменно испытывал женский «кризис», то есть недостаток в стране женского населения… К этому следует присовокупить, что отнюдь не многие китайские или маньчжурские семьи согласились бы добровольно отдать своих дочерей в жены каким-то неведомым, чужеземным пришельцам — «краснобородым дьяволам».

Отец Максим крестил китаянок, совершал венчальные обряды, крестил новорожденных… Так и началась жизнь первых русских, защитников крепости Албазин в Китае, фактически, заложив фундамент того здания, которое назовут впоследствии, через несколько столетий, «русским» Китаем»…

Это — своего рода завязка. Постепенно русские, поселявшиеся в Приамурье, в близких к Маньчжурии землях и — осторожно! — в самой Маньчжурии, потянулись в глубину Китая. Влекло сюда многое — не только природные ископаемые, но и удивительная щедрость, плодородность самой земли. «Посади оглоблю — телега вырастет», — говорили албази некие казаки. Но, конечно, край этот был особенно влекущим для тех, кто хотел разбогатеть, найти свою золотую жилу. Люди авантюрного склада добирались в Маньчжурию из самых отдаленных уголков России!..

Вот, например, во второй половине XIX века возникла так называемая Желтугинская республика. Краткая история ее содержится в книге Виктора Смольникова «Записки шанхайского врача».

Примерно в 1860 году эвены (орочены) обнаружили здесь золото, вскоре появились русские старатели, к ним примкнули и беглые каторжники; русские основали здесь, на китайской территории, на реке Желтуга, притоке Амура, маленькое государство со своими законами, правилами. Прииск существовал до 1886 года, и в последние годы его существования численность населения превышала десять тысяч человек, а золота было намыто около семи тонн. Поскольку на прииске не существовало никакого правления, вскоре начались беспорядки — средь бела дня был убит молотком человек. После этого оформились довольно жестокие законы Желтугинской республики: был избран старшина, отвечавший в первую очередь за наказания. Если же надо было решить какое-то серьезное дело, собирался общественный сход, для созыва которого стреляли из двух имевшихся в поселении пушек. Наказания были суровыми. Самым тяжким прегрешением считалось воровство, оно каралось 500 ударами «терновником» (так называли специальный ремень с гвоздями). Понятно, что чаще всего забивали насмерть, так что

подобное наказание приравнивалось фактически к смертной казни.

Тому, кто приводил в поселение женщин, полагалось 100 ударов. За другие, более мелкие провинности преступник изгонялся из Желтугинской республики, получив «на память» на границе 100 ударов «терновником».

Русские появились в Китае в середине XIX столетия — кто-то ехал в чужие края в поисках лучшей доли, кого-то влекли полезные ископаемые, которыми была богата эта страна, в ком-то просто жил дух авантюризма…

По данным ЮНЕСКО, в первой половине XX века на территории Китая проживало более миллиона русских.

Истории, судьбы…

Николай гурбатов, происходивший из забайкальских казаков, не соблазнился ни традиционной для казаков военной службой, ни крестьянствованием. Авантюристический дух заставил этого человека заняться золотоискательством. Путь его лежал в Китай, где он и прожил с женой и одиннадцатью детьми, из которых только одна была девочкой, до тех пор, пока жена его, не выдержав буйного нрава супруга и вечной нищеты (он спускал мгновенно все, что удалось заработать!), не ушла жить к одному из сыновей, забрав с собой дочь. Так Наталья Николаевна Арбатова оказалась в семье одного из братьев, работавшего на КВЖД. Они жили в Бухэду, маленьком китайском поселении, ставшем в начале XX века «важной деповской станцией, при которой возник совершенно новый город с многочисленными домами для служащих, церквями, госпиталями, большими казармами», — как засвидетельствовал в своей книге «Восемь месяцев в Маньчжурии» представитель германской армии при штабе генерала Куропаткина Теттау.

Скорее всего, именно там и познакомилась Наталья Николаевна со своим будущим мужем, владельцем аптеки Яковом Владимировичем Бланкманом. Они прожили недолго, Яков Владимирович умер в Бухэду в возрасте 39 лет. Умер во сне… А Наталье Николаевне была предначертана долгая жизнь, завершившаяся в подмосковном Пушкине, где она жила со своей старшей дочерью Зинаидой, вышедшей замуж за Владимира Александровича Бородина.

Но все это случится много десятилетий спустя, а тогда, после смерти отца Зинаида уехала в Харбин, поступила на фармацевтические курсы. В Харбине жили подруга Натальи Николаевны, ее брат, работавший на КВЖД, жил брат Якова Владимировича Лев Владимирович. Вскоре и Наталья Николаевна с младшей дочерью Лидией перебралась в Харбин, а уже в 1930-х

годах, после того как Харбин оккупировали японцы, Бланкманы уехали в Шанхай.

Виктор Смольников рассказывает в своей книге любопытную историю человека, которого он называет вымышленным именем — Иван Зарубин.

«Он мальчишкой поступил работать к русскому купцу, жившему в Монголии и скупавшему у монголов шерсть. Купец быстро оценил природную смекалку Вани, сделал его своим доверенным лицом и посылал на лошадях отвозить деньги в Троицкосавск. А Ваня учился у купца, как нужно делать деньги. Однажды, уже, очевидно, выучившись этому искусству, он, вместо того чтобы везти большую сумму денег в 1]роицкосавск, повернул свой караван на юг, прибыл в Китай и осел в Тяньцзине. Там Иван построил большую шерстомойку (Тяньцзинь был центром торговли с заграницей шерстью, пушниной и кишками для колбас) и начал богатеть. Вскоре он выстроил себе замок — иначе этот дом и не назовешь — единственный в Тяньцзине. Автором проекта был, наверное, какой-то немецкий архитектор, потому что оно напоминало небольшой замок немецкого барона. Зарубин начал устраивать приемы и приглашать к себе иностранцев, проживавших в Тяньцзине. В те годы их было не так уж много — порядка нескольких сотен, а русских — и вообще почти не было. На приемах у Зарубина поили шампанским, поэтому в иностранных кругах его так и прозвали — «мистер Шампански». Он был женат. Детей у него не было, и он взял на воспитание мальчика и девочку. Его приемный сын был моим другом детства.

С началом первой репатриации советских граждан в СССР (в 1947 году) «мистера Шампански» обуяла тоска по Родине, и он поехал. Когда-то в разных городах царской России у него были собственные дома, и вот в одном из них ему дали комнату и назначили сторожем здания».

Такова одна, лишь одна из судеб…

А вот еще судьбы.

Сергей Георгиевич Клестов был телеграфистом высшего разряда, он первым в Маньчжурии принял телеграмму об отречении от престола Николая II. Впоследствии его семья породнилась с семьей железнодорожников Берзиных — в общей сложности семья Берзиных проработала на КВЖД 111 с половиной лет!

Или первостроитель дороги Михаил Павлович Бондарен ко, прокладывавший телеграфную связь от Пограничной до Никольска-Уссурийского, создававший отделения по всей телеграфной линии. В начале 1920-х годов он стал начальником отделения Харбинского управления связи. Его сын,

репатриированный в 1935 году в Советский Союз, к счастью, не пострадал: закончил институт, стал выдающимся конструктором и, по словам Г. В. Мелихова, «играл ключевую роль в конструировании и постройке советского гидроплапа-лодки!».

В середине 90-х годов XIX века переехал на восточные земли, в Дальний, из села Пески Воронежской губернии Александр Андреевич Бородин. Он делал закупки для текстильного производства, много ездил по России, но, конечно, на его решение податься в чужие края повлияла и склонность к путешествиям.

К тому времени в Дальнем уже обосновались его родственники, их дела шли весьма успешно, и энергичный Александр Бородин подумал, что здесь он найдет лучшее применение своим деловым качествам. Родной брат Александра, Даниил Бородин, успешно занимался лесопильным производством в Никольске-Уссурийском — когда началось строительство Китайско-Восточной железной дороги, Даниил Андреевич стал поставлять туда лесоматериалы, предприятие его процветало.

В 1896 году отправилась в Харбин жена Александра Андреевича, Пелагея Ефимовна. Она ехала с годовалым сыном Владимиром. КВЖД еще не существовало, поэтому Пелагее Ефимовне пришлось долго плыть на пароходе, обогнуть всю Азию. Путешествие было таким трудным, таким необычным, что запомнилось на всю жизнь. Она часто рассказывала своим детям об этой поездке, но, как все юные, они были не слишком любопытны, и в памяти у них ничего не осталось…

Там, в Харбине, у Бородиных родились сыновья Яков и Илья, дочь Мария. Александр Андреевич Бородин завел мельницу. Дела его шли успешно, сыновей, всех троих, он определил в восьмиклассное коммерческое училище в Сестрорецке, под Петербургом. Видимо, огромное расстояние не казалось Бородину препятствием ни в материальном, ни в моральном плане — сыновья должны были получить крепкое образование, которое помогло бы им в будущем.

Знал ли, чувствовал ли Александр Андреевич, что жизни ему отпущено немного? Лишь старший сын, Владимир, смог закончить образование в коммерческом училище и за отличные успехи получил возможность продолжить его за казенный счет в Петербургском горном институте, а затем в Праге, на химическом факультете Политехнического института. Владимир Александрович Бородин основал в Шанхае в 1932 году лабораторию по производству красок, которая впоследствии выросла в крупный завод «Олма кемикалс». Именно здесь, в

Шанхае, встретил Владимир Александрович свою будущую жену Зинаиду Бланкман, а в 1954 году вернулся в Россию и поселился в подмосковном Пушкине с семьей — женой Зинаидой Яковлевной, ее матерью Натальей Николаевной, сыном Алексеем, дочерьми Наталией, Татьяной, Марией. А младшая сестра Зинаиды Яковлевны, Лидия, вышла замуж за шотландца и не вернулась в Россию…

Младшие сыновья Александра Бородина, Яков и Илья, возвратились в Харбин, потому что Пелагее Ефимовне нечем было платить за их образование. Она поехала за ними в Петербург, проделала долгое-долгое путешествие туда и обратно. Впрочем, Илья все же закончил сестрорецкое училище — старший брат Владимир смог подработать и оплатить его обучение, а когда началась революция, Илья Бородин с частями царской армии оказался на Дальнем Востоке, в Маньчжурии.

«Там ему пришлось служить под началом японцев, — пишет в своем очерке из «Семейных хроник» талантливая писательница, Мария Бородина, младшая дочь Владимира Александровича. — И вот однажды… он арестовал какую-то японку по подозрению в контрабанде. Но японские власти предъявили обвинение не японке, а Илье, заподозрив его в антияпонской деятельности. Илью казнили. По слухам, сожгли в паровозной топке… Добрый, отзывчивый, умный, он был любимцем в семье».

Двоюродный брат Александра и Даниила, Иван Бородин, владел маслобойней в Харбине, одним из первых начал добывать масло из сои. В его дело и вступил молодой химик Владимир Бородин, вернувшийся из Праги. Но вместе они работали не очень долго, Владимир Александрович уехал в Шанхай, где и соединил свою судьбу с Зинаидой Бланкман…

Сын Александра Андреевича от первого брака, Михаил, стал одним из крупнейших дальневосточных предпринимателей, владел спиртовым заводом в Харбине. В 1919–1922 годах у Интендантского разъезда близ Харбина под руководством Бородина был построен завод Акционерной компании «Бородин и Таката» (совместно с одной из старейших японских фирм). Это первое в Маньчжурии крупное предприятие по производству вина и водки славится до сей поры.

Имя Михаила Александровича Бородина упоминается в ряде изданий, посвященных экономическому развитию Дальнего Востока и Маньчжурии. В период строительства КВЖД, в 1901–1903 годах, Михаил Александрович начал экспортировать дальневосточный лес в Порт-Артур и Харбин для нужд строительства. Из Уссурийского района он отправлял лес морем в Порт-Артур, а в Харбин — из Благовещенска по Сунгари. Обратно

пароходы возвращались с грузом пшеницы. Построив в Харбине мельницу, Михаил Бородин заложил в Маньчжурии основу мукомольной промышленности.

С приходом в Харбин японцев в 1932 году все круто изменилось, Бородин лишился своего завода и вынужден был уехать в Шанхай.

Спустя десятилетия, в 1940 году, Михаил Александрович Бородин напишет автобиографию с подробнейшим анализом всех причин своих успехов и неудач. В 1947 году, когда его сын Юрий в числе первых будет возвращаться на историческую родину, в Советский Союз, Михаил Александрович отдаст ему эту биографию с надписью: «Внимательно прочти теперь и загляни сюда же этак лет через 20–30. Многое будет тебе понятнее. Записку береги. — Твой папа. 30.08.1947. Шанхай».

В «Семейных хрониках» Бородиных, где опубликована биография Михаила Александровича, содержится весьма важный комментарий: «Приехав в Свердловск, Юрий не нашел ее (рукопись. — Н. С.) среди своих вещей и решил, что она затерялась где-то в пути. Ему и в голову не приходило, что ее могли изъять на границе при досмотре багажа. И вот спустя полвека рукопись к нему вернулась. Помогла случайность. Соседом Юрия оказался человек, связанный с органами госбезопасности, и благодаря этому обстоятельству Юрий смог забрать рукопись из архива КГБ».

Сам Михаил Александрович вернулся на родину в 1954 году в возрасте 74 лет, а спустя два года умер…

Петр Павлович Меньшиков, крестьянин Тобольской губернии Курганского уезда Белозерской волости, приехал в Читу, служил приказчиком в обувной торговой фирме братьев Самсоновичей, а когда владельцы фирмы приняли решение перебраться в Китай, в Харбин, вместе с семьей отправился на новое жительство. Впрочем, в Харбине он прожил недолго — Самсоновичи свой пассаж продали (он стал известным чуринским магазином на Пристани), и Меньшиков с семьей уехал в Хунхульди, ближе к Хайлару…

А вот еще история, даже две семейные истории, о которых поведал мне замечательный театральный композитор Григорий Гоберник. Он родился в Харбине и приехал в Советский Союз лишь в 1961 году семнадцатилетним юношей.

«Мой дед, Григорий Матвеевич Гоберник, жил в Чите и унаследовал какие-то мелкие коммерческие предприятия. Начавшаяся Первая мировая война как-то повлияла на эффективность бизнеса, несмотря на удаленность Читы, и дед увидел, что вся инфраструктура КВЖД и столицы Маньчжурии

Харбина тем не менее процветает, и перебрался из одной части России в колониальную часть той же России. Весь Китай был разрезан Антантой, как пирог, на сферы влияния, и эта часть была русская.

Так мой отец Яков Гоберник в раннем дегстве оказался в Маньчжурии. Он был младшим сыном в семье. Еще были старший брат и две сестры. Где-то в 20-х началась эпидемия холеры, от которой умер мой дед, вскоре умерла и бабушка. Отец в 13 лет остался сиротой, со старшим братом и двумя сестрами. Правда, старший его брат, Евсей, был на 14 лет старше. Не было им завещано никакого серьезного состояния, поэтому все по мере сил начали работать, и мой отец, еще будучи школьником, начал подрабатывать извозчиком. Таких вот мальчишек набирали себе в помощь те, кто имели несколько лошадей, особенно на субботу и воскресенье, когда люди гуляли, много ездили. Так что рабочий стаж моего отца пошел с 13 лет. Нам сегодня это может показаться странным, но, тем не менее, когда уже совсем в другие времена рос я, по традиции меня отдали в ученики киномеханика и параллельно со школой я закончил техникум киномехаников в Китае и с 14 лет уже работал. Все эти китайские документы, переведенные и заверенные консульской печатью, по сей день у меня. В нашем собесе, надо сказать, они произвели фурор!..

Так что папа с 13 лет начал общаться с лошадьми. Позже он попал к японцу-хозяину, японец увидел, как он, легкий, невысокого роста, общается с лошадьми, совершенно их не боясь, и начал его учить на жокея. У отца открылся явный талант к этому, а ипподром, как и во всем мире, был в Харбине очень высоко ценимой спортивной культурой. Как и везде, люди ставили на тотализатор большие деньги, проигрывали, выигрывали. И одно из ярчайших воспоминаний моего детства — это горки, уставленные кубками. Папа объездил не только весь Китай, но и Гонконг, и на скаковых, и на рысистых, наполучал премий и гонораров, а затем он отделился от хозяина и открыл свое дело вместе со старшим братом. К тому времени сестры вышли замуж, одна уехала в Австрию, другая в Америку. Году в 90-м я вычислил американскую линию, но никаких сантиментов там не возникло, возможно, они довольно настороженно отнеслись к тому, что у них нашлись родственники в России в период перестройки.

Открыв свое дело — это был конный завод по производству спортивных лошадей, — они с братом научились выращивать и воспитывать этих лошадей, ездили по аукционам, много путешествовали. Видимо, в связи с этим отец, кроме китайского и японского, прекрасно знал английский язык, немецкий, а кроме

того идиш и иврит. Отец прекрасно знал молитвы, прекрасно пел и меня научил, хотя ни идиш, ни иврит я, к сожалению, так и не выучил.

Отец был очень дружен со своим старшим братом, мы и в Советский Союз приехали в 1961 году вместе. Для меня дядя совершенно святой человек. Никакого специального образования у него не было, но он был невероятно начитанный человек, знающий, широко образованный. Я вообще удивляюсь, как в то время люди, не заканчивая никаких университетов, были настолько образованы. Правильно говорят китайцы: знаешь один язык — проживаешь одну жизнь, знаешь два языка — проживаешь две жизни… Может быть, за счет такой вот полилингвистики они были, по моим ощущениям, так образованы. Все они много читали, участвовали в любительских спектаклях, посещали частную Харбинскую оперу, если приезжали гастролеры, считалось обязательным побывать на их спектаклях и концертах. Не было для них проблемы угадать, откуда эта ария или из каких романов мировой классики эти персонажи.

В 70-м году умер дядя. А женат он был… вот ведь интересная судьба. Екатерина Ивановна Кашпур, моя золотая тетка, была неграмотная русская крестьянка, уже на моей памяти она брала уроки, училась читать и писать. Она нанялась к моему дяде Евсею экономкой, он не был женат, и надо было вести хозяйство. Они сошлись, детей, к сожалению, у них не было, но, должен сказать, такой нежной любви я не помню даже между своими родителями, несмотря на всю социальную, культурную разницу между дядей и тетей.

А вот история маминой линии.

Мой дед из-под Винницы, фамилия его Ярхо. Он был рекрутирован в конницу где-то в году 1912-м. У него только-только родился сын. А в 1914-м началась война, и в одну из первых же атак немцы, вычислив направление ветра, пустили газ и, фактически, все там и полегли. Деда вытащили, с трудом реанимировали, но воевать он уже не мог, всю жизнь мучился легкими. Его комиссовали, он вернулся в свое местечко. Шла война, надо было куда-то деваться, а куда? Не на Запад же. Услышали о русском Клондайке, Маньчжурии, и отправились туда через всю Россию, ехали больше месяца. И, наконец, добрались до Харбина. Жили они очень скромно, мама, как и отец, закончила русскую гимназию, а потом ее тетка, владевшая книжным магазином на очень фешенебельной Китайской улице, пригласила ее поработать продавщицей. И вот мой папа однажды зашел туда и увидел очаровательную восемнадцатилетнюю девушку, Раису Ярхо. Он не был женат, несмотря на то, что ему

был уже 31 год. Они вскоре обручились и поженились.

Сначала у них родилась моя сестра, Эсфирь, а потом уже я. Эсфирь закончила музыкальное училище и до сих пор работает в Новосибирске в хореографическом училище. У отца была заимка, была машина, году в 52—53-м закрыли ипподром, нормально жить возможно было в том случае, если существовало какое-то подсобное хозяйство. К счастью, у нас была ферма. Были лошади, каждое лето мы уезжали на ферму, и я ускакивал далеко в степь, встречал кочевавших по внутреннему Китаю монголов; они были очень гостеприимны, кстати, двуязычны, общаться с ними было очень любопытно.

Может быть, потому что мы были в окружении довольно контрастной культуры (ведь в Харбине жили в основном европейцы), русские чувствовали себя особенно соединенными. Все русскоязычные считали себя русскими, потому что принадлежали к русской культуре, а уж в какой храм кто ходил — это дело частное. Я думаю, может когда-нибудь и наше общество дорастет до такой терпимости, до такого уровня культуры?..

В пашем классе было одиннадцать национальностей. BIO классе нам стали преподавать Конституцию СССР, преподавал вице-консул посольства СССР. Нам раздали брошюры, по которым мы должны были учиться, запоминая федеральную структуру СССР, названия всех республик, их столицы, численность населения. Не живя здесь, понять и запомнить это было невозможно.

Но я вспоминаю один случай. На первом же уроке иице-консул раскрыл журнал и начал знакомиться с нами, и мы вставали, когда называли нашу фамилию: «Абрамова… Садись. Беляев… Садись. Гоберник… Садись. Дзо… Садись. Так, Дзо, а ты кто по национальности?» — «Русский». — «Так… А отец у тебя кто?» — Отец у меня китаец». — «Так… А мать у тебя кто, русская?» — «Мать у меня кореянка». — «Так…» Я до сих пор помню это ощущение, когда нам казалось, что у него мозги скрипят всеми шестеренками. И — снова. «Так отец у тебя кто?» — «Китаец». — «А мать кто?» — «Кореянка». — «Ну так а ты кто?» — «А я русский».

Мальчику было удивительно, как этот большой человек не в состоянии понять таких простых вещей.

Было очень много смешанных браков: отец китаец, мать русская, это чаще. Отец русский, мать — кореянка или китаянка, это было реже. Я уж не говорю о том, что после того, как советская армия вошла в Харбин, очень многие были без отцов. Я учился с ребятами, у которых были и польские, и чешские, и

венгерские корни; конечно, все политические страсти и бури начала XX столетия отразились на своеобразной «национальной карте» Харбина. Мы все были растворены в русской культуре, несмотря на то, что в моем, например, доме соблюдались еврейские обычаи. Да и в каждом доме соблюдались свои национальные обычаи, что совершенно не мешало усваивать и чужие традиции. Наоборот! Мы начинали с еврейской Пасхи с ее традиционными блюдами — кнейдл, шейками с тушеной морковью, тейглах и пряниками на сладкое, а заканчивалось это пиршество куличами, крашеными яйцами, пасхой. А потом мы ждали татарские праздники, потому что все обожали «чак-чак». Все национальные отличия я узнал и получил в полной мере уже здесь. Еврей, родившийся в Китае и воспитанный в русской культуре, это все равно, что «какой ты национальности, Дзо?». Чересчур экзотично!..»

Из этих историй, из этих переплетенных судеб самых разных людей и состоит повседневная жизнь «русского» Китая, по сути, государства в государстве, потому что жившие на этих землях русские, оставаясь по своему менталитету русскими, вживались в иной быт, в иное мироосознание, тесно соприкасаясь с китайцами, чему-то научаясь, что-то перенимая вольно или невольно, но своим обычаям и традициям не изменяли… Жили замкнуто, стараясь держаться «колонией».

Еще в 1893 году в России зародилась идея о том, чтобы проложить железную дорогу из Европы в Азию. Контр-адмиралу Копытову было поручено разработать и представить соответствующий проект, который поддержал министр финансов С. Ю. Витте. Пунктиром на карте был намечен кратчайший путь: Москва — Тихоокеанское побережье, через Сибирь в Маньчжурию.

В 1895 году Россия предоставила займ Китаю в 400 миллионов золотом под 3 % годовых, это событие явно ускорило переговоры, и в 1896 году страны подписали договор о строительстве Транссибирской железной дороги через Маньчжурию до Владивостока.

Для торжественного подписания этого договора прибыл канцлер Китайской империи Ли Хунчжан. Во время пребывания в Москве канцлер остановился в доме купцов-чаеторговцев Перловых. Сегодня в этом доме на проспекте Мира находится Музей-ресторан «Харбин».

Вот как причудливо играет порой Судьба!..

Но вернемся к далеким временам начала строительства.

На протяжении 80 лет эта дорога вместе с 30-километровой зоной отчуждения должна была считаться собственностью созданного акционерного «Общества Китайско-Восточной

железной дороги», а по окончании этого срока переходила безвозмездно в собственность Китая. Кто же мог знать тогда, на заре нового века, сулившего, как казалось, так много — всестороннее развитие экономики, расцвет общественной жизни, — что всего через несколько лет Россия потеряет права на Порт-Артур и Дальний в войне с Японией, а вскоре разразится Первая мировая война, вслед за которой Россия будет разорвана революцией?

Торжественно открытая 1 июля 1903 года Китайско-Восточная железная дорога спустя непродолжительное время утратит своего «хозяина», а в 1924 году, когда установятся дипломатические отношения между СССР и Китайской Республикой, управление дорогой на паритетных началах перейдет к советско-китайскому руководству. Но тоже ненадолго — в 1929 году дипломатические отношения между СССР и Китаем обострятся, на КВЖД возникнет вооруженный конфликт. Пройдет еще двадцать три года, и в 1952 году все права по управлению КВЛОД будут безвозмездно переданы советским правительством коммунистическому правительству Китайской Народной Республики.

Но это все будет еще не скоро. Пока планы и идеи существуют на бумаге и в умах русских специалистов, рассчитавших все выгоды подобной магистрали, все видится иначе, будущее кажется радужным. Строительство посещает главный инициатор и вдохновитель этого великого дела Сергей Юльевич Витте — министр царского правительства, поистине деятель государственного масштаба. Дорога начинает строиться, и количество россиян в Китае почти сразу же возрастает во много раз. Это были люди разных национальностей и вероисповеданий, разных социальных слоев, но всех их объединяло то, что они были трудолюбивы, предприимчивы и способны жить в окружении других народов. Отправились в Китай не только строители, но и архитекторы, педагоги, предприниматели, врачи.

Согласно данным, которые кропотливо собирал отец Виктора Смольникова, написавший несколько книг о Китае, общее число русских в Маньчжурии в конце XIX — начале XX века превышало триста тысяч.

Что стоит за этой цифрой? Жизни, судьбы, истории, в чем-то схожие, в чем-то резко отличающиеся одна от другой, но, словно на шампур, нанизанные на ощущение очень близкой и очень далекой родины, своей земли. Наверное, это — совершенно особое ощущение, когда все настолько близко, не через несколько границ, а почти вплотную, одна земля, примыкающая к другой, продолжающаяся в другой…

Протянувшаяся более чем на полторы тысячи километров, эта магистраль пересекала Маньчжурию; в том месте, где она проходила над рекой Сунхуацзян (китайское название реки Сунгари), стояла маленькая деревушка Хаобин, которой суждено было стать городом Харбином (официальной датой основания города считается 1898 год) — здесь и на станциях КВЖД проживали большинство русских, остальные поселялись в Тяньцзине, Ханькоу, Циндао, Шанхае.

Впрочем, у названия Харбин есть и другое толкование, его приводит в одной из своих статей писатель Ю. Абдашев, выходец из тех мест: «…само название города происходит от маньчжурского слова «харба» — «переправа» и типично русского суффикса «ин». Далее он рассказывает, что железнодорожный мост через Сунгари представлял собою в то время крупнейшее сооружение подобного рода в отечественном мостостроении — своей протяженностью он почти на 70 метров превосходил мост через Енисей.

«Мало кто знает, — продолжает Ю. Абдашев, — что договор 1896 года между Россией и Китаем о строительстве Китайско-Восточной железной дороги как завершающего звена Великой Транссибирской магистрали имел одну существенную деталь: Россия не могла вводить в Маньчжурию регулярные войска. Поэтому обеспечение безопасности русских да и китайских строителей возлагалось на охранные отряды, или, как они официально именовались, охранную стражу. Первоначально она состояла из пяти конных сотен, две из которых представляли Кубанское казачье войско».

О казаках в Китае написано достаточно много, но стоит привести мнение русского географа Ф. Ф. Буссе: «Он (казак. — Н. С.) — охотник, плотник и кузнец; в лесу, в степи — как дома; он везде найдет дорогу и средства к существованию, он обладает талантом объясняться с местными жителями, язык которых ему совершенно неизвестен, он невероятно изобретателен в пользовании тем, что дает природа. Словом, это человек самостоятельный, уживчивый и способный выйти победителем из самых затруднительных положений».

В разное время в охранной страже служили прапорщик Гучков — будущий военный министр Временного правительства, Антон Иванович Деникин, Лавр Георгиевич Корнилов, а формировал стражу в самом начале адъютант генерала Скобелева полковник Александр Алексеевич Герн гросс.

Громкие для России имена…

Сначала население Харбина составляли в основном русские железнодорожники — рабочие, служащие. Затем сюда, в новый

город, потянулись русские купцы, предприниматели, которых влекли в Маньчжурию не только богатые природные ресурсы, но и возможность развивать свое производство с помощью строящейся железной дороги. Так в Харбине появились лесопилки, затем угольные шахты, пункты торговли мехом…

Вскоре китайская деревушка, ставшая русским поселением, превратилась в процветающий пограничный город с естественным для подобного статуса смешением обычаев, культур, с развитыми производствами, учебными заведениями. Сюда из России стали приезжать люди самых различных профессий. Они основывали в Харбине не только фабрики и заводы, но и гимназии, университеты, институты, различные образовательные курсы. Причем, надо заметить, образование эти институты и даже курсы давали превосходное — вернувшиеся в 1950-х годах на Родину русские зарекомендовали себя высококлассными специалистами!

Ехали в Харбин и артисты императорских театров, благодаря которым были открыты харбинский Театр оперы и балета, Театр Железнодорожного собрания, Театр Коммерческого собрания и другие.

«Каждый день с самого рождения мои пути пересекались с китайцами, — вспоминает Ксения Волкова. — Мы, русские, всегда жили рядом с ними. Китайцы нуждались в нас так же, как и мы в них. С детства я привыкла к ним и считала, раз я живу в Китае, значит, он такой же мой, как и для китайца его страна. Я ела китайскую еду, играла с китайскими девочками, не чувствуя разницы, кто я и кто моя черноглазая подружка. Мои родители снимали квартиру у китайского домовладельца, и когда порой отец не мог вовремя уплатить за жилье, хозяин не требовал шиты, знал: рано или поздно ему принесут деньги. Родители поддерживали хорошие взаимоотношения с соседями-китайцами, и мы были частью этой страны с ее укладом и бытом».

Очень важное признание! Политика делила людей, разводя их в разные стороны, жизнь русской колонии была обособленной и закрытой, но существовал целый слой русского населения в Китае, который воспринимал себя «частью этой страны», сохраняя, тем не менее, собственный уклад и быт, но не противопоставляя эти уклад и быт исконно китайскому. Эти люди пытались выстроить некую модель общества, которая вряд ли возможна в принципе, но на протяжении долгого времени им все же удавалось это делать, не провозглашая новых принципов жизнеустройства, не размахивая стягами. Ксения Волкова родилась в Китае и прожила здесь до 1954 года. Для нее эта земля осталась на нею жизнь родной, несмотря на лишения, трудности, с которыми пришлось столкнуться. Но на Родину

родителей тянуло невероятно.

Почему? — Бог ведает. Наверное, зов крови. Зов великих традиций и прекрасного, могучего языка…

В восемнадцатом году, спасаясь от революции, ее предки бежали в Китай. Но вот появилась возможность вернуться на родину, и Ксения Волкова отправилась покорять целину. Ее прощание с Китаем произошло на той же станции Отпор, через которую когда-то перебирались сюда ее родители.

История свершила круг…

До 1917 года эти земли не знали понятия «эмиграция» — в Китае жили командированные царским правительством сотрудники КВЖД и группа русских, оказавшихся в Маньчжурии по самым разным причинам, как «мистер Шампански», как разветвленная семья выходцев из средней полосы России Бородиных, как золотоискатель Николай Гурбатов…

Или как Иван Яковлевич Чурин, известный предприниматель, имя которого помнят в Китае до сей поры. В 1867 году иркутский купец Иван Чурин основал собственный торговый дом в Приамурье, а одновременно с закладкой Харбина возникла в строящемся городе фирма, которая потом открыла свои филиалы в крупных городах по всей линии КВЖД.

В ведении Чурина были не только известные магазины, но и фабрики, заводы, на которых производились и развешивались табак, чай, колбасы, лаки и краски, пиво, водка, уксус, мыло, парфюмерия. Под торговой маркой Ивана Чурина выделывались кожи, шилась мужская и женская одежда, изготовлялись шляпы. Все это продавалось в Харбине в трех больших универсальных магазинах.

> «В 1917–1922 гг. фирма «Чурин» дала работу на своих многочисленных предприятиях сотням русских беженцев, спасая от голода и обеспечивая их семьи, — пишет Г. В. Мелихов. — Основной контингент служащих фирмы неизменно составляли выходцы из Российской империи… С первых же лет своей работы в Маньчжурии Чурин стал эталоном торгового дела, своего рода символом делового авторитета, честности, порядочности, высокого качества предлагаемых товаров… Фирма заслужила авторитет и своим исключительным вниманием к обслуживанию покупателей».

В центральном универмаге, находившемся на углу Большого проспекта и Новоторговой улицы, витрины были всегда оформлены ярко, призывно. Поблизости стояли скамеечки, на

которых в теплое время года старые харбинцы любили отдыхать и беседовать. К философским размышлениям о жизни располагало и то, что неподалеку были два русских кладбища: справа по Большому проспекту Старое, а в самом его конце — Новое. Поэтому ходило по Харбину выражение «унести за Чурина»…

Арсений Несмелое посвятил старикам-харбинцам стихотворение «Построечники»:

Этот вот — не надо ли
Справочку одну? —
Рельсами укладывал
Насыпь к Харбину.
Тот, что носом в бороду,
Точно схимник, врос, —
Вел когда-то к городу
Первый паровоз.
Бороды прокурены,
Невеселый взгляд, —
На скамьях у Чурина
Старики сидят.
Годы бодрость вымели
И лишили сил…
Но, скажи, не ими ли
Строен город был?..
А вон той развалиной
Тут давным-давно
Первое повалено
Для жилья бревно.
И в болотной сырости —
Холодна, темна!.. —
Городу б не вырасти
Без того бревна…
Хлябь, трясина, прорва та,
Край и наг, и дик!..
Вспоминают Хорвата
И еще других,
Тех, чьи лица в спаленке
На стене висят,
Что на старом, маленьком
Кладбище лежат.
Что пришли с лопатою,
С киркой, с топором, —
С жертвою богатою,
С дружеством, с добром!..

И полоска узкая
Пробудила край.
И то дело Русское
Не позабывай!
…Старики замшелые
На скамье чужой…
Головы их белые
Все семьи одной.
С каждым годом менее
Милых стариков, —
Вихрь опустошения
Между их рядов.
Нет Иван Васильича,
Окунева нет!..
Кто ж от рака вылечит
В шестьдесят пять лет?
Спросишь — и нахмуренно,
Голосом тоски:
«Унесли за Чурина!» —
Скажут старики.

В самые разные времена фирма «Чурин» сохраняла свою высочайшую репутацию: работать в магазинах было престижно, оплата была высокой. Никогда и никто не мог упрекнуть продавцов в небрежности или грубости…

После того как в Маньчжурию вошла Советская армия, фирма была переименована в акционерное общество и вошла в систему Внешторга СССР, а в 953 году правительство СССР безвозмездно передало свои права на фирму Чурипа правительству Китайской Народной Республики.

В 1998 году китайцы официально отметили 100-летие фирмы «Чурин» в Харбине. Поразительный факт, особенно если учесть, что китайские власти с большой неохотой признают «русские корни» этого города!.. Тем не менее на фасаде большого универмага в Харбине начертано «Цюлинь гунсы» («Фирма Чурин»), а на визитной карточке теперь уже китайской фирмы — девиз: «На первом месте — покупатель, на первом месте — обслуживание, на первом месте — высокая репутация фирмы»…

После Октябрьской революции в Маньчжурии появилась «третья группа» — эмигранты, остатки белой армии, предприниматели из Сибири, которым не нашлось места в Стране Советов…

Это смешанное население породило, по словам Смольникова,

«оригинальное социологическое явление: подавляющее число бывших подданных Российской империи были представителями интеллигенции». А поскольку администрация КВЖД тоже принадлежала к интеллигенции, в Китае возникла в каком-то смысле уникальная ситуация. Причем не только в полосе отчуждения, а, практически, во многих провинциях страны.

В августе 1920 года, после крушения Белого движения под предводительством адмирала Колчака масса русских беженцев хлынула в Пекин. Чтобы помочь людям, потерявшим Родину, обогреть их и дать средства к существованию, митрополит Иннокентий (на протяжении 29 лет возглавлявший Китайскую православную миссию) отдал им безвозмездно в долгосрочное пользование большую часть имущества Духовной миссии. Эмигранты быстро организовали два паевых товарищества — «Восточное Просвещение» и «Восточное Хозяйство», но славы не снискали. Очень скоро предприятия (в том числе и мощную по тем временам типографию) пришлось ликвидировать за долги — Духовная миссия вынуждена была выплатить единовременно тридцать тысяч долларов, а огромные тиражи отпечатанных учебных пособий и Евангелия реализовывались едва ли не до последнего времени.

Что же касается самих беженцев, то многие из них вынуждены были покидать Пекин и перебираться в Маньчжурию, в частности в Харбин.

«Харбин отличался от других русских провинциальных городов только тем, что стоял на иностранной земле и у русских было иностранное окружение, — пишет в своей мемуарной книге «Пересекая границы» Елена Якобсон, еще одна из моих героинь, женщина, так и не вернувшаяся в Россию, но прожившая долгую и очень интересную жизнь в США. — Русское население представляло собой странную смесь различных социальных, политических и культурных групп. Первые поселенцы приняли к себе русских беженцев от коммунизма — солдат и офицеров разгромленной Белой армии, русских аристократов и дворян, новую русскую буржуазию и интеллигенцию, то есть всех, кого в советской России называли «нежелательными элементами» и от кого стремились всеми силами избавиться».

Так все они и оказались здесь, в этом русском городе, соединившем тех, кто приехал сюда в незапамятные времена на работу; тех, кто бежал от Советской власти; тех, кто почти случайно оказался заброшенным судьбой за границы Родины.

Их делом так или иначе становилась Китайско-Восточная железная дорога, к этому времени представлявшая собой совершенно особое пространство.

Чтобы оценить сегодня значение КВЖД, обратимся к данным, которые приводит Г. В. Мелихов: «В 1923 году на КВЖД работали 18 362 служащих и рабочих — значительная часть огромной русской колонии Маньчжурии.

Сама дорога — это прежде всего 1726,51 км обустроенного железнодорожного пути с 75 станциями и 112 разъездами. Этот километраж складывался из протяженности всех трех главных линий дороги и внутреннего сообщения по Харбину…

Китайская Восточная железная дорога была крупнейшим русским предприятием в Маньчжурии; она имела также самый большой в крае речной флот и лесные концессии. О масштабах и значении ее Плавных механических мастерских в Харбине говорит наличие в них таких цехов и предприятий, как паропозосборный, котельный, механический, кузнечно-литейный, вагонно-пассажирский, вагонно-товарный, электрическая станция, лесопильный завод, испытательная станция, другие. Мастерские были в состоянии выполнять любые механические и ремонтные работы.

Земельный отдел КВЖД, руководимый Н. Л. Гондатти, имел завод сухой перегонки дерева… производил мебель, различные виды паркета. Десятки развитых агрономических учреждений отдела обеспечивали дорогу и предлагали населению семена, саженцы, всевозможные молочные продукты, располагали складами сельскохозяйственных машин и орудий, племенными рассадниками молочного скота, опытными полями и показательными фермами, несущими в массы русского и китайского населения края передовую агротехнику земледелия и выращивания ягодных и технических культур.

Дорога имела также службу телеграфа, автоматическую городскую телефонную сеть, мощную типографию, печатавшую литературу на пяти языках, метеорологическую станцию.

Вот что такое КВЖД».

Государство, чьи мощь и сила не могут вызвать никаких сомнений.

Империя, построенная если не на века, то, по крайней мере, на многие десятилетия.

Естественно, что в первые годы Советской власти ее невозможно было ни уничтожить, ни покорить, — здесь, в Харбине, может быть, более чем на других участках Китайско-Восточной дороги, сохранялась старая Россия со своими установлениями, привычками, идеалами служения Отечеству…

Но этот Вавилон неизбежно должен был разрушиться, прожив, исчерпав свою короткую, но бурную, ярчайшую историю…

Вавилон или — град Китеж Как написал в своей уже не раз упомянутой книге Г. В. Мелихов, этот «богоспасаемый» город, «которого не затронула ни одна война, который остается в памяти его бывших жителей — харбинцев и их потомков — городом их молодости, юности их отцов и дедов… исчезнувшим навсегда, история которого никогда более не повторится, — но и остающимся живым и сегодня…

Поэтому и в наши дни слово «Харбин» остается тем паролем, который при встрече раскрывает сердца самых разных, ранее незнакомых друг другу людей…».

Спустя несколько десятилетий бурный расцвет начнется и в Шанхае. И это будет не новая история, а продолжение той же, влекущей, горькой и прекрасной истории «русского» Китая, к повседневной жизни которого мы попытаемся прикоснуться на этих страницах, вслушиваясь в голоса людей, всматриваясь в их лица на фотографиях. Потому что нет ничего увлекательнее, чем пытаться сплести множество разрозненных, разделенных судеб воедино и в этом сплетении внезапно увидеть прекрасные и жестокие черты Лика Родины.

Да, это была продленная во времени и пространстве история дореволюционной России — любовно сберегаемая в душах, передающаяся в словах, легендах, песнях детям и внукам, родившимся уже здесь, в Китае. Потому что одним из невыраженных, по очень сильных чувств было то, о чем написала в 1928 году поэтесса Марианна Колосова, пострадавшая за патриотизм, за любовь к Родине во время японской оккупации. Она мечтала вернуться домой, но демонстративно отказалась от советского паспорта после того, как в советской прессе появились мерзкие статьи Анне Ахматовой и Михаиле Зощенко. Жизнь Марианны Колосовой завершилась в Чили, но в 1920-х годах, не предполагая, насколько далеко занесет ее судьба, Колосова писала:

Провели черту и сказали: граница!
А по обе стороны — живые люди.
И близким в разлуке тоскливо снится,
Что встречи не будет…
Провели черту. И стоят солдаты.
Пули в винтовке, в «нагане», в «смите»…
Отсюда кричу: «Отдайте брата!»
А с той стороны: «К сестре пустите!»
Стоят, как серые камни, молча.
Поджидают пули сестру и брата.
И над стражей чья-то жестокость волчья…

И стража не виновата.
Смертные шаги — перейти границу…
Но по обе стороны смелые люди!
Надо желать и уметь добиться…
И встреча будет!

И она состоялась. Не для всех, но для многих. Однако оказалась она, эта встреча, далеко не такой, о какой мечталось. Таким уж был Лик Родины — прекрасным и ужасающим.

Двуликий Янус — и таким увиделось лицо России…

Каждый, кто берется за перо, в конце концов, не более чем компилятор и фантазер, отвечающий на волнующие его вопросы с помощью других людей — более опытных, более мудрых. Даже если они — литературные герои.

В этой книге таких нет. Все ее герои были и есть. И это налагает особую ответственность, потому что я иду по их следам, вновь переживая их непростые судьбы. Иду, разглядывая в далекой дымке очертания Харбина, Шанхая, Тяньцзиня, вдыхая упоительные ароматы восточных курений, экзотической кухни, любуясь цветущими деревьями, кустарниками, вслушиваясь в портовый шум, забредая в узкие арочные улочки, ощущая растерянность возле огромных отелей, отдаваясь ритму бегущего вперед рикши, с азартом запоминая правила игры в маджан…

А потом… Нет! Потом придет потом, когда наступит время — отдадимся же его мерному, безучастному ходу по-детски доверчиво. Ведь только так и можно пытаться вступить в чужое прошлое, определившее твое настоящее…

Глава 2
«Руссейший облик Харбина…»

В 2002 году в Сан-Франциско в газете «Русская жизнь» была опубликована статья корреспондента газеты «Известия» Александра Кабанова «Ангел с поблекшими крыльями», посвященная сегодняшнему Харбину, «6-миллионному мегаполису с шикарными подземными дискотеками и ультрасовременными небоскребами». Рассказывая о своем путешествии по Харбину, журналист постоянно сравнивает минувшее и нынешнее. Для него город, возведенный некогда по приказу императора Николая II на маньчжурских болотах, в каком-то смысле сродни другому городу — возведенному по приказу другого императора, Петра I, на невских болотах.

«Строили город по проекту из Санкт-Петербурга, а освященный лес для первых церквей привезли аж из Вологды, — пишет А. Кабанов. — Первоначально Харбин задумывался как временное пристанище для тех, кто строил и охранял Китайскую Восточггую железную дорогу (КВЖД), но уже в 1917 году в городе постоянно проживало 100 тысяч русских — намного больше, чем китайцев. Очень скоро город стал центром всего Северо-Восточного Китая, и именно там Генри Пу И, император марионеточного государства Маньчжоу-Го, разместил свою столицу после оккупации Маньчжурии Японией».

Пестрый, шумный, яркий, многонациональный, этот город действительно в чем-то схож с Санкт-Петербургом, а местами — с Москвой или другими крупными городами Российской империи. Возникнув на месте маленького китайского селения, он как-то очень быстро вырос и приобрел важное значение для всей Маньчжурии — северо-восточной части Китая, когда-то носившей название Дунбэй, что в переводе с китайского и означало «северо-восток». Исконно эти земли принадлежали маньчжурам, и в давние времена здесь существовало государство, образованное из мелких уделов полководцем, дипломатом, выдающейся личностью своего времени Нурхаци (1559–1626). Государство, о котором английский исследователь Е. Кемп писал: «Рассказ о возвышении маньчжурской династии подобен роману». Но, наверное, и о падении мощной династии можно было бы написать фундаментальный роман, как и о всей этой земле, на которой происходило очень много событий, повлиявших не только на историю России, но и на историю других стран.

Полоса отчуждения — вот еще одно наименование этого

края, который пересекала КВЖД. Наименование, которое можно толковать географически, политически, а можно и символически — не было ли изначально предначертано этой земле стать частью русского Рассеяния и вместить в себя все те скорби и радости, что были присущи островам Рассеяния во Франции и Чехии, Германии и Соединенных Штатах Америки…

Грустим о Северной Пальмире,
Но грусть о ней не так сильна,
Когда с изгнаньем горьким мирит
Руссейший облик Харбина, —

писал журналист и поэт Михаил Шмейссер, осознавая отличие этой области Рассеяния от других и даже в поэтическом раздумии ставя ударение так, как ставят его и сегодня выходцы из «русского» Китая — из Харбин», в Харбине… И в этой особенности чувствуется, видится связь с давними и прочными корнями: спустя десятилетия после революции 1917 года русская колония продолжала хранить традиционный, дореволюционный, уклад жизни.

Есть на Земле загадочные места: то ли какая-то особая энергетика здесь сосредоточена, то ли Божий Промысел с особой пристальностью направлен именно сюда, в данную точку, но внезапный бурный расцвет этих мест не воспринимается как странность, причуда судьбы, а выглядит совершенно закономерным.

Так случилось и с маленькой китайской деревушкой, всего за несколько лет ставшей крупнейшим промышленным и культурным центром полосы отчуждения КВЖД.

В книге Георгия Васильевича Мелихова читаем: «Это полоса территории вдоль железной дороги и вокруг ее разъездов, станций и городов, на которую у Китая по-прежнему оставались все суверенные права, но которая временно, на срок эксплуатации дороги, по Контракту о постройке КВЖД поступала в полное административное управление руководства дороги.

Это было соглашение, подписанное без какого-либо принуждения, — напротив, — по обоюдному согласию правительств России и Китая, по Договору о дружбе двух стран 1896 года, содержавшему пункт о постройке русскими Китайско-Восточной железной Дороги. Все права российских граждан в Маньчжурии и Китае — их право экстерриториальности — «арапне с гражданами других европейских государств и США, право иметь свою полицию, свой суд Россия получила еще по русско-китайскому договору 1860 года, а отнюдь не по контракту

о постройке КВЖД. Далее, Китай не был в состоянии собственными силами обеспечить безопасность строителей дороги от нападений бесчисленных шаек хунхузов в Маньчжурии, и поэтому России пришлось, опять же по соглашению с Китаем, создать собственную Охранную стражу дороги, защищавшую КВЖД от подобных нападений и совершенно не вмешивавшуюся во внутренние китайские дела. И это была специально для этой цели созданная Охранная стража КВЖД, а отнюдь не регулярная русская армия, что важно отметить, ввиду сегодняшних нападок на нее некоторых китайских историков.

Таким образом, полоса отчуждения КВЖД была территорией с особым статусом, вытекающим исключительно из специфики проходившей по ней железной дороги — дороги русской на китайской земле, — территорией, по договору с Китаем, управляемой полностью администрацией этой железной дороги, что, безусловно, придавало ей особые и специфические черты — политические, экономические, культурные, да и военные тоже…

… Город Харбин занимал почти десятую (!) часть всей полосы отчуждения КВЖД».

И на этой части преимущественно селились русские, создавшие свою мощную колонию.

Впрочем, русская колония существовала уже к началу XX века, задолго до того, как хлынул в Харбин поток эмигрантов. И, кстати, одной из причин этого потока можно, наверное, считать то, что издавна на этих землях процветало православие. Может быть, для русских это не было осознанным мотивом, но подспудно это обстоятельство, разумеется, играло свою роль.

Как и близость полосы отчуждения к России, дарившая иллюзорную возможность легкого возвращения…

В 1899 году в Харбине был возведен Свято-Николаевский кафедральный собор. Он находился в центре площади, и крест, венчавший храм, притягивал взоры. Площадь, таким образом, становилась центром города, куда стремились все православные, и первые здания начали возводиться именно вокруг нее.

В 1966 году, во время «культурной революции» в Китае, Свято-Николаевский собор был разрушен хуннэйбинами. Но даже на несовершенных фотографиях хорошо видно, какой редкой красотой и гармоничностью отличалось это здание!.. Именно здесь 10 ноября 1918 года накануне 25-й годовщины со дня смерти П. И. Чайковского (она была чуть позже, 15 ноября) была отслужена панихида по великому композитору и хор собора исполнил все песнопения литургии Иоанна Златоуста (опус 41).

С этого дня, как отмечает в своей книге Г. В. Мелихов, «установилась традиция ежегоднего исполнения 25 октября

хором главного храма Харбина… этого замечательного творения русского гения».

Смотришь на фотографию и — словно некий оптический обман происходит, как будто взор проникает сквозь стены: видишь внутреннее убранство, видишь толпу молящихся, в которой отчетливо различаешь знакомые лица, слышишь звуки — мощные, пробуждающие в душе одновременно смирение и молитвенный экстаз, звуки литургии.

И чем дольше рассматриваешь Свято-Николаевский собор, тем больше изумляешься строгости, даже скупости линий, которые, в отличие от многих других православных храмов, возведенных в далеких землях, как будто и не впитали в себя ничего чуждого, экзотического. Не потому ли, что христианство пришло в Китай еще в давние времена и, испытывая мучительные гонения, все же сохранилось?

История Российской духовной миссии в Китае ведет свой отсчет с 1712 года, когда она была официально учреждена Петром I. На протяжении столетий роль и значение миссии укреплялись — хотя потомки албазинских казаков (о которых мы уже рассказывали в начале) смешивались с китайским и маньчжурским населением, они хранили православие. И именно они заложили основу дипломатических отношений с Китаем, и считается, что благодаря их «Рудам Россия и Китай никогда не воевали друг с Другом.

XX век начался для православной миссии с тяжелого испытания — священник Дионисий Поздняев подробно пишет об этом в книге «Православие в Китае»: «1900 год — переломный в исторической судьбе Китая — стал рубежом и для Российской Духовной Миссии. Этот год известен как время наиболее жестокого выступления ихэтуаней — по своей сути религиозного движения, которое в Европе по неудачному переводу англичан более известно как «боксерское восстание». Оно было направлено против иностранцев, чье влияние на жизнь Китайской империи во многом усиливалось проникновением западных миссионеров. Идеологией этого восстания было антихристианство. Сын первого китайца-священномученика Митрофания Цзичуня, убитого ихэтуанями, прот. Сергий Чан, чудом спасся и позднее так писал об ихэтуанях: «Это было сообщество, имевшее общинное устройство (общинный стол) и прельщавшее народ своим учением о сверхъестественных силах в целях возвышения Китая и уничтожения иностранцев… иностранцы именовались бесами, крещеные китайцы — исчадиями их, а некрещеные, но имевшие с ними сношение — вторыми исчадиями; на боксеров же смотрели как на воинство небесное»».

До весны 1900 года правящие круги Китая покровительствовали иностранным миссиям, но уже в начале лета императрица Цыси приказала войскам поддерживать восставших. Иностранцы из провинций бежали в Пекин, надеясь спастись в квартале, где были расположены посольства, но мало кому это удалось. Российская миссия была сожжена дотла 11 июня, 222 православных китайца были зверски замучены. Спустя год список всех их имен был представлен в Священный Синод, принявший решение построить на месте разрушенной миссии в Пекине храм в честь Всех Святых Мучеников Православной церкви и установить для китайской общины памятные дни 10 и 11 июня, в первый из которых надлежало строго поститься в память убиенных и совершать заупокойную литургию с панихидой, но второй же отправлять торжественное богослужение с крестным ходом на месте убиения православных китайцев, провозглашая им вечную память…

Небольшое, но, как представляется, необходимое отступление.

Г. В. Мелихов рассказывает поистине сенсационную историю захоронения в миссии в Пекине «алапаевских мучеников» — убитых 17 июля 1918 года в Пермской губернии великих князей Сергея Михайловича, Иоанна и Игоря Константиновичей, великой княгини Елизаветы Федоровны с монахиней Марфо-Мариинской обители Варварой Яковлевой, неотлучно находившейся при Елизавете Федоровне, великой княгини Елены Петровны, князя Владимира Павловича Палея и барона Федора Семеновича Ремиза. Их живыми сбросили в глубокую шахту Алапаевского рудника и забросали ручными гранатами и динамитом, чтобы вызвать обвал в шахте. Но по какой-то причине обвала не произошло — искалеченные люди мучительно умирали несколько дней от ран, жажды, голода…

Тремя месяцами позже в Алапаевск пришли белые войска — тела мучеников были извлечены из шахты, освидетельствованы, опознаны и временно погребены в склепе под алтарем Свято-Троицкого Алапаевского собора. Когда белая армия начала отступление, тела убитых решено было спасти от глумления — их эксгумировали и повезли в безопасное место.

Но можно ли было найти в то время в России безопасное место?!

Г. В. Мелихов приводит доклад игумена Серафимо-Алексеевского скита Пермской епархии отца Серафима: «От Алапаевска до Тюмени ехал в одном вагоне с гробами 10 дней, сохраняя свое инкогнито, и никто не знал в эшелоне, что я везу 8 гробов. Это было самое трудное, ибо я ехал без всяких

документов на право проезда, и предъявлять уполномочия было нельзя, ибо тогда бы меня задержали местные большевики, которые, как черви, кишели по линии железной дороги. Когда я прибыл в Ишим, где была Ставка Главнокомандующего (им был в то время генерал-лейтенант М. К. Дитерихс), то он не поверил мне, что удалось спасти тела, пока своими глазами не убедился, глядя в вагоне на гробы. Он прославил Бога и был рад, ибо ему самому лично жаль было оставлять их на поругание нечестивых. Здесь он дал мне на вагон открытый лист, как на груз военного назначения, с которым мне было уже легче ехать и сохранять свое инкогнито. Предстояла еще опасность в Омске, где осматривали все вагоны. Но Бог и здесь пронес нас, ибо наш вагон, вопреки правил, прошел без осмотра. Много было и других разных опасностей в пути, но всюду за молитвы великой княгини Бог хранил и помог благополучно добраться до Читы, куда прибыл 16/29 августа 1919 года. Здесь тоже злоумышленниками было устроено крушение, но наш вагон спасся по милости Божией. В Чите, при содействии атамана Семенова и японских военных властей, гробы в глубокой тайне перевезены в Покровский женский монастырь, где почивали 6 месяцев в келье под полом, в которой я в это время жил…

Ввиду предстоящей опасности при содействии Главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины генерал-лейтенанта Григория Михайловича Семенова все 8 гробов из Читы мною вывезены 20 февраля/5 марта 1920 г. Генерал Дитерихс дал мне новое официальное уполномочие хранить гробы, найти им место временного покоя и, при благоприятном условии, в свое время вернуться с ними в Россию».

Далее отец Серафим со своим грузом проследовал по КВЖД. В Хайларе большевики вскрыли один из гробов и попытались надругаться над останками — святой отец обратился за помощью к китайскому командованию, вагону дали китайских охранников. После перехода на станции Куаньчэнцзы на японскую Южно-Маньчжурскую линию к китайской охране прибавилась еще и японская. Так поезд прибыл в Пекин, где был встречен 3/16 апреля 1920 года крестным ходом Православной духовной миссии в Китае.

Архиепископ Иннокентий получил телеграмму от архиепископа Мефодия, в которой сообщалось, что останки «алапаевских мучеников» следуют из Харбина в Пекин. Телеграмма была вручена послу Кудашеву, который не только не преисполнился благодати, но был возмущен тем, что этот «щекотливый вопрос» не согласовали с ним. По свидетельству

архиепископа Иннокентия, Кудашев высказался против захоронения останков в Пекине и отдал распоряжение задержать вагон в Мукдене, где есть вполне пригодная для захоронения часовня, — подержав там некоторое время гробы для безопасности, по мнению посла, их следовало бы затем вывезти в Европу или иное безопасное место.

«Миссия в Пекине, — пишет Г. В. Мелихов, — была гордостью православного мира, одной из самых больших христианских миссий в Китае… Миссия не вела активной миссионерской работы, сконцентрировав свое внимание на потомках албазинцев в Китае… и на культурно-благотворительной деятельности. Здесь в ее типографии, в частности, стал издаваться с 1920 г. первый в Китае «толстый» общественно-литературный журнал «Русское обозрение»».

Но предать тела этой земле (русской, так как «Бэйгуань», место расположения миссии, еще в начале XVIII века было навечно подарено императором Канси России!) оказалось невозможно — существовал закон, по которому мертвые тела нельзя было вносить в Пекин. Тем более что категорически против был официальный представитель Российского посольства Кудашев. После торжественной встречи, в которой ни посол, ни кто бы то ни было из его приближенных не участвовал, гробы были поставлены в церкви Серафима Саровского на Русском кладбище. Позже отец Серафим отвез два гроба с прахом Елизаветы Федоровны и Варвары Яковлевой в Иерусалим, в Гефсиманскую Марфо-Мариинскую обитель, а шесть гробов остались в склепе.

В 1938 году было получемо разрешение перенести прах на территорию миссии, в церковь Всех Святых Мучеников, воздвигнутую после восстания ихэтуаней.

Казалось бы, наконец-то «алапаевские мученики» обрели вечный покой. Но в 1954 году Русская духовная миссия была закрыта китайскими властями, а спустя два года территория была передана новому комплексу посольства СССР. Пока все обустраивалось, в церкви еще шли службы. Последняя Пасхальная прошла в 1963 году — в начале 1964-го все завершилось. Гробы с прахом великих князей вернулись на Русское кладбище. Но ненадолго.

Во время «культурной революции» хунвэйбины разгромили и Китайское, и Русское кладбища — по свидетельству потомков албазинцев, они раскапывали могилы, сбрасывали кости в находящееся неподалеку озеро.

А в 1987 году китайское правительство объявило, что на территории Пекина не должно быть вообще никаких захоронений,

и на месте полуразрушенного Русского кладбища был создан Парк Молодежного озера. Под искусственным водоемом оказалась большая часть кладбища…

«Витает в воздухе красивая легенда, — завершает свой рассказ Г. В. Мелихов, — подтверждаемая одними и резко отрицаемая другими, что при создании парка или даже раньше склеп под разрушенной церковью во избежание дальнейших глумлений над прахом был залит бетоном и остался или даже был намеренно перемещен на дно этого искусственного паркового озера и находится там под толщей воды.

Однако никаких документальных подтверждений этому, естественно, нет.

Остается очень много вопросов. И остается надежда.

А пока до сих пор многострадальный прах российских великих князей остается в древней земле Китая…»

В бесчинствах хунвэйбинов могилы великих князей пострадали, скорее всего, почти случайно, вряд ли у воинствующих националистов была цель надругаться именно над этими останками — они пытались в первую очередь истребить память о китайских православных мучениках, а потом уже и память об иностранцах, захороненных на святой земле близ Пекина. Символично в этой истории то, что снова — в какой уже раз! — в жернова истории попали представители царской фамилии и близкие к ним люди. В 1987 году, когда перестройка была уже на пороге, когда вот-вот должны были наступить в России новые времена, — можно и нужно было дать наконец долгожданное и вечное успокоение останкам «алапаевских мучеников» в родной земле…

Но этого так и не произошло.

И, позволю себе поспорить с Георгием Васильевичем Мелиховым, не произойдет, вероятно, никогда. А может быть — кто знает? — благодаря тому, что в Китае, так далеко и так близко от России, покоятся эти останки, и не ослабевает глубокая внутренняя связь с этим островом Рассеяния? Как не ослабевает и с другими островами, где нашли вечный покой русские мученики, писатели, философы, художники, композиторы, артисты, просто — люди. Известные всем и безвестные…

В продолжение этой истории стоит сказать, что летом 2004 года на 10 дней были привезены в Москву святые мощи Елизаветы Федоровны — ей одной из всех «алапаевских мучеников» суждено было хотя бы на короткое время вернуться на далекую, столь сурово обошедшуюся с ней Родину. Толпы поклонились мощам той, что создала некогда в Замоскворечье Марфо-Мариинскую обитель и приняла мученичество.

Но вернемся к истории Русской миссии.

Среди прихожан православной церкви в Пекине жили люди разных национальностей, по прихожанами храмов, выстроенных в полосе отчуждения — в аких городах, как Харбин, Далянь, Порт-Артур, — были в основном русские. Эти храмы строились на средства КВЖД, и каждый храм имел свою историю, жил своей жизнью. Тот, с которого мы начали рассказ, Свято-Николаевский кафедральный собор, был поначалу простым бараком из циновок, сооруженный наспех в Старом Харбине. Почти год спустя церковь перенесли в специально оборудованное помещение, а в марте 1899 года освятили. Именно это здание и изображено на старой фотографии.

Настоятелем храма, посвященного Николаю Чудотворцу, стал отец Александр Журавский. А в следующие пять лет храмы появились в Новом Харбине, в Хайларе, на станциях Бухэду, Маньчжурия, Эрцэндзяньцзы, Имяньпо, Пограничная, Ханьдаохэцзы, в городах Цицикар, Шуаньченпу, Далянь, Телие, Ляоянь, Вафадянь, Инкоу, Гунчжулинь…

Кто-то удачно пошутил, что Харбин строился как ударная комсомольская стройка. Действительно, все происходило с какой-то невероятной скоростью: строилась дорога, возводился город, подобно грибам после дождя, росли дома, кварталы. И обживался Харбин на удивление быстро.

…Рассматриваю фотографии начала XX века: отрезок КВЖД, Хинганская петля — вдали сопки, покрытые лесом, растительность по краям дороги… Очень похоже на Россию, на сибирский ландшафт.

Соборная площадь с Московскими торговыми рядами — словно в каком-нибудь большом провинциальном российском городе. Гостиница «Ориант» с вывесками в первом и втором этажах: «Фурор иллюзий», «Паровая и колбасная фабрика Гурченко и Кислое», «Специальный парфюмерный магазин», «Французская парикмахерская».

Товарищество «Сунгарийские мельницы» — на первом плане люди с мешками, переброшенными за спину, почти деревенский плетень, на заднем — здание, поражающее своими размерами, за неказистым забором.

Цирк Боровского на Пристани.

Китайская улица (угол Биржевой), где красовалось помпезное здание художественного театра К. Г. Ягджегло «Декаданс».

Кафе «Пляж» на Сунгари — о нем вспоминает харбинец Б. Козловский: «С утра до позднего вечера кафе… было переполнено. Тихо подплывали лодки; тяжело будоража воду, подходили переполненные катера или лихо подлетали моторные

лодки, выбрасывая на берег все новых и новых посетителей. Особенно хороши были «подвесные ложи» кафе. Из них открывался роскошный вид на реку, город, окрестности. А самое главное, уют и прохлада!

Отличная кухня ресторана удовлетворяла самый изысканный вкус, хотя цены прейскуранта были ниже, чем в другом подобном кафе. По вечерам в кафе играл оркестр-джаз, и любители танцев с наслаждением танцевали на свежем воздухе. Вряд ли в Харбине можно было встретить человека, который хотя бы раз не побывал в кафе «Пляж»».

Кафе было перестроено после наводнения 1932 года. На фотографии, по всей вероятности, запечатлено здание до реконструкции — во всяком случае, на ней не увидишь ни подвесных лож, ни кружевной веранды в стиле ампир, ни лонгшезов на крыше. Но видны вдали очертания большого города, заводские трубы, а на первом плане женщины в легких платьях, в туфлях на каблучках, над одной из женщин раскрыт китайский зонтик. Они идут от реки, но неужто в те времена на пляж ходили в таких платьях и туфлях? Или, может быть, они, оказавшись неподалеку, просто заходили в кафе? Здесь, как сообщают вывески, можно купить молоко, сливки, напитки, пиво.

На другой фотографии железнодорожный мост КВЖД через Сунгари — ажурный, красивый. Два парохода, на одном из которых, судя по одежде, китайцы.

На третьей сани «толкай-толкай» на замерзшей реке Сунгари — зимний ландшафт, тоже напоминающий Россию. Г. В. Мелихов вспоминает: «Зимой, когда реку прочно скует лед, достопримечательностью Харбина и Сунгари становился особый, «специфический», имевшийся только в Харбине зимний вид транспорта… Это были широкие деревянные сани на металлических полозьях, с высоким сиденьем-скамейкой, рассчитанным на двух пассажиров. Вы садитесь на эту покрытую меховой полостью скамейку, лицом к движению; саночник укрывает вас еще одной меховой полостью, расстегивает ее, а сам становится на запятки сапей. И, отталкиваясь длинным шестом-багром от ледяной поверхности реки, начинает все быстрее и быстрее подталкивать санки вперед. Движение осуществлялось по заранее расчищенным на льду дорожкам, ведшим к различным пунктам «того берега»… Китайцы-саночники «толкай-толкай» были подлинными виртуозами своего дела — никаких толчков, рывков при движении не ощущалось, сани неслись вперед плавно, с большой скоростью, просто летели по льду. И это упоительное ощущение стремительного движения вперед, в уютном тепле, в ясный солнечный день, какие обычно бывают в Харбине зимой, на

ослепительно белом снегу, при морозе в 35–40 градусов, свежем воздухе, несущемся в лицо, — невозможно забыть!»

Очень торжественно отмечалось на берегу Сунгари православное Крещение. К этому времени, по воспоминаниям Лидии Владимировны Вертинской, река глубоко промерзала, во льду выдалбливали крестообразную прорубь, над которой устанавливали вырубленный из льда красивый большой крест. «Священник и диакон вели церковную службу, и мы, русские, горячо молились, восхищаясь смельчаками, которые окунались в прорубь с освященной водой. Народу приходило много, китайцы тоже с интересом наблюдали за происходящим обрядом».

По воспоминаниям Г. В. Мелихова, впервые праздник Крещения Господня отмечался на Сунгари в 1921 году. До этого Иордани сооружались во всех харбинских храмах, там же происходило и водосвятие. А после 1921 года и до середины 1950-х Крещение отмечалось все более и более торжественно. «Крещенский день был самым «Русским днем Харбина». В этот день на центральных улицах появлялись люди, которые в другие дни здесь никогда не бывали, — писала русская газета «Шанхайская заря» в 1940 году. — … Клетчатые шали, пуховые платки, сибирские бело-розовые «пряничные» валенки, полушубки и шубы, а то и тулупы, вязаные и причудливо расшитые кожаные варежки и рукавицы — таково одеяние этих русских людей. Лица многих как бы сошли с нестеровских или суриковских полотен — кудлатые и длинные, совсем патриаршие бороды, обветренная кожа, крупные черты лица, волосы в скобку.

А речь — настоящая русская «окающая» или «екающая», но круглая, слегка нараспев, с забытыми уже нами речевыми народными живописными частицами.

Россия без всяких псевдоприкрас шла в Харбине в крестном многотысячном ходе в день Крещения…»

И это 1940 год!.. Читаешь словно о другом веке, о другой реальности. Как же все сохранилось, как сберегалось в этом городе с «руссейшим обликом»…

И еще фотографии…

Здание вокзала, построенного в 1903 году. Первое большое здание Харбина. К нему ведет прямая, как луч, дорога от Свято-Николаевского собора.

Японский храм в Харбине.

Китайский храм в Харбине.

Это уже экзотика — такие храмовые сооружения можно до сих пор видеть в городах Японии и Китая.

Японская высшая начальная школа — здание величественное, построенное углом, который венчает своеобразная башня с

круглой крышей. Это, скорее, европейская архитектура, нежели традиционно восточная. Впрочем, кое-какие элементы Востока ощущаются.

Старое Харбинское кладбище с братскими могилами русских воинов, у одной из могил — скорбные лица близких.

Лица, лица, лица: мужчины, женщины, дети; люди, Родившиеся здесь, на полосе отчуждения или приехавшие сюда строить новый город — такой русский по своему укладу, с такими привычными зданиями, вывесками на русском языке.

«Хоть похоже на Россию, только все же не Россия», — спустя много десятилетий сложит песню совсем не об этих краях известный бард.

Смотришь на фотографии и — вспоминаются, как-то особенно остро ощущаются эти слова: «…только все же не Россия». И с годами все сильнее крепло это ощущение. Особенно у тех, кто оказался в Харбине в эмиграции. Они не строили, не совершенствовали этот город, они не работали на КВЖД, прокладывая новые пути для прогресса, цивилизации. Их занесло сюда смерчем русской революции и Гражданской войны — думалось, ненадолго. Оказалось — на десятилетия…

И надо было вживаться не просто в иную реальность, как пришлось это тем, кого занесло во Францию, Чехию, Германию, Америку, а — что гораздо труднее! — в обманчиво-привычную, иллюзорную.

В реальность полосы отчуждения.

Совсем другим по сравнению с Россией был и климат Маньчжурии — очень морозные, почти бесснежные зимы и жаркое лето. Весной из пустыни Гоби ветер приносил горячий песок: он проникал в дома, покрывая полы и мебель желтоватым ровным слоем. Порой приходилось убирать квартиру по нескольку раз в день — ветер все нес и нес горячий пустынный песок…

И небо было не таким, а тоже каким-то иллюзорным. «Над Желтой рекою незрячее белое небо», — как писал в стихотворении «Китай» Александр Вертинский. Оно и было бледно-голубым или иногда молочного оттенка. Непривычно…

И все же, все же именно здесь строился новый русский город, маленький кусочек старой России, которую привозили с собой сюда в багаже и в душе приезжавшие на строительство.

Здесь созидался новый мир, прокладывалась важнейшая железнодорожная магистраль; рассеянные по всему Китаю русские тянулись поближе к строительству; из России приезжали специалисты и рабочая сила. Дело здесь находилось всем, потому что КВЖД была не просто железной дорогой, но неким особым космосом, цивилизацией, взрастающей, словно на дрожжах, на

границе, в приграничье, в полосе отчуждения, в Китае. Все эти понятия связаны, тесно сцеплены между собой, отсюда и ощущение космоса.

Это было, если вдуматься, смешение нескольких миров. Не случайно в руководстве КВЖД были и русские, и китайцы, как не случайно и то, что названия станций были и русскими, и китайскими — вперемежку: Затон, Касинов, Петля, Дровяной, Нагорный, Яблоня, Лукашево, Самохвалово и — Модаоши, Мулинь, Эрдахэйцзы, Гаолиньцзы, Цаган, Ваньгун…

Поначалу типичными были застройки как в Харбине, так и на станциях линии: небольшие каменные дома под серой китайской черепицей с хозяйственными постройками, окруженными садиками. Клубы, школы, столовые…

Кстати, о столовых. Отец Г. В. Мелихова оставил свидетельство о гастрономических чудесах, которыми славились станционные буфеты КВЖД: «Дело в том, что пассажирские поезда долгое время не имели вагонов-ресторанов, поэтому любителям вкусно поесть было хорошо известно, что на Западной линии в буфете станции Дуйциньшань продавались необыкновенно вкусные блинчатые пирожки, на станции Аньда — чудесные молочные продукты; Цицикар славился летом и осенью своими арбузами, Чжаланьтунь — великолепными борщами и т. д. Южная линия снабжала фруктами, а, например, станция Яомынь давала неисчислимое количество кур, гусей, уток и, думается, тысячи мешков птичьих потрохов. Восточная линия была известна своими ягодными плантациями, виноделием и отличным пивом. Конечно, все это было только лишь небольшой частью огромных разнообразных богатств Маньчжурии, но важно было то, что они были освоены и развиты русскими».

А позже появились пункты питания под названием «Домашние обеды» и в самом Харбине. Как вспоминал десятилетия спустя бывший харбииец Б. Козловский, «отпускались эти обеды и ужины прямо в частных домах или квартирах, где жили предприниматели. В большинстве случаев для этой цели предоставлялась пара комнат, 2 или 3 маленьких столика и один большой обеденный стол.

И обеды эти действительно были домашними! Простые, ничего хитрого, но вкусные и питательные, из свежих продуктов… Можно было, например, за 10–15 центов получить тарелку густого борща со сметаной, с куском вареного мяса и есть с белым сытным хлебом, за который не надо было платить и который можно было съесть в каком угодно количестве. Не надо было больше никакого второго блюда. Ну а уж если аппетит разыгрался, то заказывалось второе блюдо. Приносились какие-

нибудь там пара котлет с гарниром, а котлеты были такого гигантского размера, что в тот день не надо было больше ничего есть. И все удовольствие стоило что-то вроде 40 центов. Туг же можно было заказать стопку водки или даже полбутылки».

Не считая окраины, заселенной исключительно китайцами и носившей название Фуцзядань, город Харбин делился на три части: Пристань, Новый Город и Модягоу. Название Пристань было связано с близостью к реке Сунгари, в этой части города находился порт, были сосредоточены лавки, магазины, конторы, гостиницы. Новый Город — центральный район, где располагались Управление и Правление КВЖД, здесь были широкие проспекты, живописные скверы, здание Железнодорожного собрания, окруженное парком, в котором летом играл оркестр. На главной площади — Свято-Николаевский собор, от которого шла вниз, с холма, широкая улица, упиравшаяся в здание Харбинского вокзала.

Третья часть города — Модягоу — была самым зеленым районом, напоминавшим пригород своими одноэтажными застройками, окруженными палисадниками. Наталия Ильина вспоминала в книге «Судьбы»: «Тут были скамейки за оградами… для отдыха, бесед и щелканья семечек, попадались и дома с завалинками и резными наличниками окон… Некоторые жители держали коров, они паслись на зеленом пустыре, и вечерами улицы оглашались мычанием — коровы шли домой. И еще доносились мерные удары колокола из монастыря, чья стена белела где-то там, за пустырем…»

Это воспоминание окрашено в поэтические тона, между тем в «Энциклопедии Харбина» о Модягоу в шутливой форме сообщалось: «Очень благоприятный, чистенький поселок. Даже в дождливое время грязь не выше колен. Славится разведением свиней».

Вот и задумаешься о разности восприятия! Но именно в таких сопоставлениях и вычерчивается истинный облик одного из харбинских районов — вроде бы предместье, но и город. Как много таких уголков и сегодня в России!..

По данным переписи населения за 1913 год, только на Пристани проживали люди 22 национальностей. Из общего числа 30 730 человек больше всего было русских — 45,03 %! За ними следовали евреи, японцы, поляки, немцы, татары, украинцы, грузины, осетины, корейцы, чехи, армяне, латыши, греки, литовцы, болгары, датчане, французы, англичане, итальянцы.

Вавилон, да и только!..

Подавляющее число русских обитало и в других районах города. По сведениям той же переписи населения, в Харбине

(учитывая несколько пригородных деревень) их проживало 36 528.

И был еще один район в Харбине — пожалуй, самый экзотический: Зеленый Базар. Разбегались в разные стороны узкие извилистые улочки, плотно застроенные разнокалиберными домишками, где ютилась в ужасающей тесноте харбинская бедность. Бок о бок здесь жили русские и китайцы, смешивались языки, привычки, быт, и, по свидетельству современников, уже в 1914 году Зеленый Базар резко выделялся своей экзотикой на фоне других районов Харбина. Тем более что начинался он сразу за красивым, фешенебельным зданием Железнодорожного собрания.

«Каждый его свободный клочок земли застраивался чрезвычайно быстро и хаотично, — пишет Г. В. Мелихов. — … Городские и железнодорожные власти всегда косо смотрели на это невообразимое скопление построек среди чистенького Нового Города, и на заседаниях Собрания уполномоченных не раз поднимался и дискутировался вопрос о сносе Зеленого Базара. Но всегда выдвигались серьезные аргументы против: Зеленый Базар — это и рынок для тысяч горожан, это связующее звено между Новым Городом и Корпусным и Госпитальным городками, это как-никак, а город с 8 тысячами жителей; им, конечно, скверно живется, но все-таки живется… И нельзя лишать их собственных жилищ».

Беженцы и эмигранты добавили Зеленому Базару колорита: самая малообеспеченная их часть оседала именно здесь, пытаясь встроить собственный домишко из любого материала в почти не существующие пустоты. Постройки Зеленого Базара напоминали ласточкины гнезда, поэтому во время пожаров часто выгорали целые кварталы. Неизменной частью пейзажа были натянутые поперек узких улочек веревки, на которых сушилось белье, да веселая, чумазая, разноязыкая детвора, резвившаяся посреди этих улиц, прямо под ногами прохожих…

В выходные дни состоятельные горожане ездили на берег Сунгари, устраивали пикники. Левобережный район Харбина — Затон — был любимым местом отдыха и зимой, и летом. Русские или китайские лодочники с ранней весны до поздней осени переправляли желающих на другой берег: брали по пятачку с человека. Постепенно русские лодочники уступили место китайским. «Они зазывали пассажиров еще издали, — вспоминает Г. В. Мелихов, — приглашали, тянули за рукав в свои лодки. А когда вы спускались по лестнице вниз к реке, какие же оглушительные возгласы-приглашения вы слышали!..»

А как ласкали слух имена этих лодок: «Москва», «Казань»,

«Рязань», «Наташа», «Красотка», «Любимая», «Дорогая», «Шутишь»!.. Можно было взять лодку напрокат и хоть с утра до вечера бороздить Сунгари, любуясь живописными берегами…

В 1923 году был торжественно открыт Яхт-клуб. Фланирующие на лодках харбинцы могли теперь любоваться с воды великолепным белоснежным зданием.

Купались в Сунгари с наслаждением, в промежутках между купаниями обмазывались сунгарийским илом, который славился своими лечебными свойствами. После плавания можно было посетить один из ресторанчиков, коих здесь было множество: «Привал трех бродяг», «Яша свой человек», «Зайди сюда», «Ноев ковчег», «Наумчик»…

Особую роль в жизни Харбина играла станция Лаошаогоу (Сунгари Вторая), где располагался курорт. По воспоминаниям Г. В. Мелихова, «летние дачи здесь были чрезвычайно популярны и распределялись между дачниками задолго до открытия дачного сезона. Это был также рай для палеонтологов, так как на обрывистом берегу Сунгари, а также в многочисленных местных оврагах в результате размывов время от времени появлялись крупные кости вымерших доисторических животных — бесценный дар для ученых всех рангов и возрастов. Славилась Сунгари II и дешевизной — особенно продуктов птицеводства, которые в большом количестве поступали сюда (и в Харбин) из соседней Яомыни».

Что же касается зимних развлечений на Сунгари, их темпераментно воспел в своем стихотворении «Толкай-толкай» харбинский поэт Василий Логинов.

Синь льда, блеск солнца, свежесть снега,
Кует морозный воздух сталь.
От санок радостного бега
В душе крутится чувств спираль.
Так хорошо. Река — как чудо!
В душе поет осенний хор:
Аквамариновую груду
Разрубит солнечный топор.
Пока же шестик беспощадный
Лёд режет, точно каравай,
Питая резкий воздух жадно,
Китаец мчит «толкай-толкай».
Мне чудится: «толкай» наш скромный
Стал «времени машиной» вдруг,
И он помчал меня в огромный
Вселенский планетарный круг.

И я лечу в мирах нездешних
Сквозь дождь блистающих комет
Туда, где юный, вечно вешний,
Немеркнущего Бога свет.
Да, гордая победа рельса
И самолета торжество
Не свергли иго чрез Уэльса,
Фантазий огненных его.
Вот почему в морозный воздух,
Когда блестит во льду река.
Лететь звездой, мечтать о звездах
Так славно на «толкай-толкай»!

А еще были крутые ледяные горки — с них спускались на рулевых санках…

Все — как в провинциальном российском городе; у Харбина был действительно «руссейший облик» и — удивительная судьба, он словно и не ощущал своей оторванности от России.

Старой, уже не существующей России…

Пройдет несколько десятилетий, и советский комендант Харбина генерал-майор Скворцов напишет: «Когда я 20 августа 1945 года попал в Харбин, у меня было впечатление, что я внезапно оказался в прошлом. По улицам раскатывали бородатые извозчики в поддевках, пробегали стайки смешливых гимназисток, господа приподнимали котелки, здороваясь друг с другом, а попы в черных рясах степенно крестились на купола церквей».

Это отмечали многие: эмигранты находили в Харбине то, что они навсегда потеряли в старой России, поэтому этот утолок Маньчжурии воспринимался как вновь обретенный рай. Здесь все оставалось таким, каким было давным-давно дома, на Родине, в дореволюционном устоявшемся быте… Удаленность — да, конечно, но при российских расстояниях это не пугало, люди привыкли «отмерять вёрсты» в поисках лучшей доли, старались и на новом месте обустроиться привычно, наладить быт по старинке. Но постепенно город разрастался, изменялся и уклад жизни — районы Харбина стали связывать трамвайные пути, начали строиться дома в четыре-пять этажей (это было уже в конце 1920-х — начале 1930-х годов). Правда, инженеры и чиновники по-прежнему предпочитали жить в красивых особняках и виллах, окруженных садами. А мелкие служащие КВЖД жили в домиках на две-три семьи.

В Харбине все говорили по-русски, включая китайцев.

Большинство русских семей держали китайскую прислугу — поваров, садовников, горничных, пянь. Это было значительно дешевле. Многие выходцы из «русского» Китая сохранили самые нежные воспоминания о нянях («ама» — так это звучит на китайском). В «Семейных хрониках» Бородиных едва ли не самый трогательный очерк Елены Бородиной (Митаревской) так и называется — «Амочка». Рассказывается в нем о немолодой китайской женщине, настолько сильно привязавшейся к своим русским питомцам, что в час отъезда Митаревских на родину по морщинистому лицу ее все бежали и бежали дорожки слез…

«Иногда они с мамой готовят китайский обед — свинина в кисло-сладком соусе, «yellow fish», пельмени на пару. Об этом объявлялось за несколько дней. Приготовления серьезные, компонентов насчитывалось десятки.

Раз в год она уезжает в отпуск, домой, в деревню.

Я жду ее возвращения с персиками. Она всегда привозит высокую круглую плетеную корзину с плетеной крышкой, ей помогает сын, он сразу уезжает. Каждый персик одет в тонкий бумажный мешочек, который помещают на будущий плод сразу после цветения».

К слову сказать, по мнению многих иностранцев (не только русских), у китайцев к еде совершенно особое, эстетическое отношение, в этом тоже проявляется самобытность их культуры. Но совершенно особый разговор — о китайском базаре.

Еще в середине XIX столетия И. А. Гончаров, прибывший в Китай на фрегате «Паллада», запечатлел яркие картинки шанхайского базара, где смешалось все, где трудно различить, кто и что продает: «Знаете ли, чем поражен был мой первый взгляд? какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке или на ярмарке губернского города, вдалеке от Петербурга, где еще не завелись ни широкие улицы, ни магазины; где в одном месте и торгуют, и готовят кушанье, где продают шелковый товар в лавочке, между кипящим огромным самоваром и кучей кренделей, где рядом помещаются лавка с фруктами и лавка с лаптями или хомутами. Разница в подробностях: у нас деготь и лыко — здесь шелк и чай; у нас груды деревянной и фаянсовой посуды — здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, видом, вонью и затейливостью перещеголяла нашу. Чего тут нет? Жаль, что нельзя разглядеть всего… Море, реки, земля, воздух — спорят здесь, кто больше принес в дар человеку, — и всё это бросается в глаза… это бы еще не беда, а то и в нос.

Длинные, бесконечные, крытые переулки, или, лучше сказать,

коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это всё домы, выстроенные сплошь, с жильем вверху, с лавками внизу. Навесы крыш едва не касаются с обеих сторон друг друга, и оттого там постоянно господствует полумрак. В этом-то лабиринте вращается огромная толпа. От одних купцов теснота, а с продавцами, кажется бы, и прохода не должно быть. Между тем тут постоянно прилив и отлив народа. Тут с удивительною ловкостью пробираются носильщики с самыми громоздкими ношами, с ящиками чая, с тюками шелка, с охапкой хлопчатой бумаги, чуть не со стог сена. А вон пронесли двое покойника, не на плечах, как у нас, а на руках; там бежит кули с письмом, здесь тащат корзину с курами. И все бегут, с криками, с напевами, чтоб посторонились. Этот колотит палочкой в дощечку: значит, продает полотно; тот несет живых диких уток и мертвых, висящих чрез плечо, фазанов, или наоборот. Разносчики кричат, как и у нас. Вы только отсторопились от одного, а другой слегка трогает за плечо, вы пятитесь, но вам торопливо кричиттретий — вы отскакиваете, потому что у него в обеих руках какие-то кишки или длинная, волочащаяся по земле рыба. «Куда нам деться? две коровы идут», — сказал барон Крюднер, и мы кинулись в лавочку, а коровы прошли дальше. В лавочках, у открытых дверей, расположены припасы напоказ: рыбы разных сортов и видов — вяленая, соленая, сушеная, свежая, одна в виде сабли, так и называется саблей, другая с раздвоенной головой, там круглая, здесь плоская, далее раки, шримсы, морские плоды. Дичи неимоверное множество, особенно фазанов и уток; они висят на дверях, лежат кучами на полу.

Отдохнешь у лавки с плодами: тут и для глаз, и для носа хорошо. С удивлением взглянете вы на исполинские лимоны — апельсины, которые англичане называют памппь-мусс. Они величиной с голову шести-семилетнего ребенка; кожа в полтора пальца толщины. Их подают к десерту, но не знаю зачем: есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится: ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь неспелые, что, созревши, кожа делается тоньше и плод тогда сладок: разве так. Потом целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, мандарины, род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу со всеми волокнами, и вы получаете плод облупленный, как яйцо, сочный, почти прозрачный. Тут был и еще плод овальный, похожий на померанец, поменьше грецкого ореха; я забыл его название. Я взял попробовать, раскусил и выбросил: еще хуже памппль-мусса. Китайцы засмеялись вокруг, и недаром,

как я узнал после. Были еще так называемые жужубы, мелкие, сухие фиги с одной маленькой косточкой внутри. Они сладки — про них больше нечего сказать; разве еще, что они напоминают собой немного вкус фиников: та же приторная, бесхарактерная сладость, так же вязнет в зубах. Орехов множество: грецких, миндальных, фисташковых и других. Зелень превосходная; особенно свежи зеленые продолговатые кочни капусты, еще длинная и красная морковь, крупный лук и т. п.».

Но это — давние времена, а вот описание китайского базара середины XX века, принадлежащее перу Виктора Смольникова.

«Если вы придете на базар рано утром, то увидите, как тщательно торговцы подготавливают свои продукты к продаже. Простой крестьянин, принесший в двух корзинах зелень со своего огорода, раскладывает ее на лотке в отдельные пучки и кучки. Рядом стоит ведерко с водой, и он маленьким веником все время опрыскивает зелень, чтобы она выглядела свежей и привлекательной для покупателя. На китайском базаре вы никогда не увидите грязной картошки, с налипшими на нее засохшими комьями земли, или куриных яиц, выпачканных пометом. Все вымыто и разложено… Корявых от червоточины яблок покупатель на лотках не увидит. Они лежат отдельно, позади прилавка, и продаются значительно дешевле, *потому что не радуют глаз.*

…В Китае много яблок разных сортов, среди которых, естественно, есть такие, которые неизвестны в нашей стране, например, так называемые ватные яблоки, с очень сладкой мякотью, напоминающей вату, или «банановые» яблоки, твердые, но тоже очень сладкие и ароматные. Еще один сорт яблок интересен тем, что по мере созревания плод меняет цвет. Китайские садоводы на каждое яблоко, пока оно зеленое или белое, наклеивают вырезанный из бумаги иероглиф, означающий или радость, или счастье, или благоденствие. Когда яблоко поспевает, оно наливается и краснеет. Его снимают с дерева, бумажку аккуратно отрывают, и на красном фоне остается белый иероглиф, который должен обеспечить покупателю то, что он означает (курсив мой. — Н. С.)»

Можно дать волю воображению и предсгавить себе — с каким же наслаждением, с какой потаенной надеждой надкусывал русский покупатель круглое красное яблоко с белым иероглифом «счастье» или «благоденствие»!.. И вместе с вкусным, сладким кусочком впитывал совершенно новую эстетику восприятия пищи, отношения к ней. Может быть, поначалу и неосознанно, но постепенно… постепенно это отношение к еде, напиткам, фруктам — таким привычным, как яблоки, или таким

экзотическим, как бананы (они продавались прямо на ветви, порою превышающей человеческий рост!), грейпфруты, ша; щоки, — входило в повседневный быт, становясь иео гьемлемой частью гастрономических пристрастии «русского» Китая. Орехи, зеленый чай, молодые побеги бамбука, китайские пельмени из нескольких сортов мяса с зеленью, приготовленные на пару китайские супы…

И это необходимое условие — «радовать глаз» — соблюдалось во всем: в цветовом сочетании посуды и разложенной на ней готовой еды; в соответствии формы, например, корзинки или коробки, в которую уложены аккуратно, с любовью, фрукты и овощи, форме этих фруктов и овощей…

Б. Козловский вспоминает, что не только рынки, но и гастрономы в Харбине были замечательными, там тоже все радовало глаз и вызывало аппетит. Чего только не было в магазинах Церцвадзе, Гурченко, Тарасснко, Дзомелидзе, Клестова, Микатадзе, Кутузова, Опица!.. «Помимо всевозможных консервных товаров со всего света были всевозможные окорока, чайные колбасы с чесноком и без него колбасной фабрики Лейтлова, польские, краковские, сельтисоны, ливерные, московские, итальянская-испанская и много других. Колбасы были свежие — концы их обрезались, предлагался самый лучший товар, «со слезой».

Продавались также заранее приготовленные салаты-винегреты, баклажанья икра, холодцы, фаршированный перец, форшмаки, заливные блюда.

Из рыбных изделий предлагались покупателям Невозможные сорта копченой рыбы: семга, балыки, угри, сельди… А разве можно забыть ряд огромных бочек, стоявших на полу и наполненных разного сорта красной икрой.

«Дайте, пожалуйста, фунта полтора вон той первосортной икры», — попросишь приказчика. И он ловко зачерпывает одной рукой икру из бочки деревянной лопаточкой, кладет на пергаментный лист в другой руке и ловко шлепает на весы. Редко, когда ошибется».

В 1930 году в Харбине проживало уже около полутора миллиона русских и полмиллиона китайцев. В соседнем СССР царил голод, раскулачивали «врагов народа», полным ходом шла коллективизация, устраивались показательные процессы, а в Харбине тем временем отвешивали «фунта полтора вон той первосортной икры», у Чурина даже зимой торговали свежей клубникой.

Все было здесь, как в старой, довоенной, дореволюционной России. Но так уж устроен человек, что готов к экспериментам и,

заброшенный судьбой в другую реальность, хочет приобщиться к ней всеми способами — в том числе и гастрономическим. Поэтому, любя свое, привыкали ценить чужое…

Сегодня, когда восточная кухня завоевала Россию, мы можем отведать и по достоинству оценить те блюда, которые на заре XX века принимал или отвергал «русский» Китай. Виктор Смольников вспоминает своих бабушку и дедушку, которые считали, что китайские овощи никуда не годятся в сравнении с русскими. «Русский огурец! — ностальгически восклицали они. — Только в комнату войдешь, уже чувствуешь».

Но, как гласит народная мудрость, «на вкус и цвет товарищей нет» — и кто-то с наслаждением вдыхал ароматы китайских овощей и еще долго вспоминал о них, вернувшись в Россию…

Воспринимаемая поначалу как экзотика в чистом виде, китайская кухня пришлась русским по вкусу, и они с удовольствием стали ее осваивать. Дешевая рабочая сила, повара-китайцы служили не только в семьях с высоким достатком, но и в тех, где достаток был средним. Конечно, хозяева учили своих поваров секретам русской кухни, но, думается, с помощью различных приправ и соусов мастера совершенствовали традиционные русские рецепты, в чем-то приближая их вкус к национальным китайским. Вернее, не приближая — изобретательно сочетая.

Ольга Ильина-Лаиль в книге «Восточная нить» вспоминает о том, как отправилась в Пекин к своей подруге, и мать дала ей письмо к давнишней знакомой, Нине Владимировне. В отличие от Ильиных Нина Владимировна попала в Китай еще до Первой мировой войны. Она приехала в Пекин навестить своего брата, атташе русского посольства, по вскоре разразилась война, потом революция, за ней Гражданская война в России — Нина Владимировна осталась у брата. Она вышла замуж за доктора Судакова, служившего в русском посольстве.

Вот у нее-то в гостях и оценила юная Ольга сочетание русской и китайской кулинарии. Китайский повар, служивший прежде в русском посольстве, хорошо знал русскую кухню — тем более что и новые его хозяева, Судаковы, предпочитали национальные блюда, но с какими удивительными специями, как необычно готовились мясо, рыба, овощи!..

Конечно, зачастую русские с некоторой опаской и недоверием относились к экзотическим блюдам, долго привыкали к соусам и приправам. Но самые любознательные гастрономы не могли удержаться, чтобы не отведать знаменитую утку по-пекински, каких-нибудь жуков, личинок или гнилые яйца под пеплом. При этом продолжали любить, ценить свое — благо в Харбине можно

было отведать все, что душе угодно.

Например, в молочных кафе Ражева, Стрельникова, Воронцова можно было полакомиться сливками, чаренцом, кефиром, обратом, творогом и сметаной, а можно было и купить все эти продукты навынос. Изобилием поражали кондитерские Пулковника, Зазупова, Азадовского, Аспетяна, Васильева, Замятина… Что же касается хлеба, то, пожалуй, лучше, чем Б.Козловский, ассортимент харбинских пекарен не описал никто: «Харбинские пекарни! Подходя к таковой, уже за несколько кварталов можно было учуять запах только что испеченного хлеба. И какой приятный был этот запах! Войдешь, бывало, в пекарню, глаза разбегаются, не знаешь, что и купить, Тут круглые ситные хлеба и ржаные круглые, сайки французские с хрустящей корочкой и идущим вдоль разрезом, жулики, разные витушки, московские калачи, баранки, бублики, связки сушек и т. д. Всего и не вспомнишь!»

Так постепенно складывалась в «русском» Китае та особая кухня — можно назвать ее наднациональной, — которую понесли с собою по свету те, кто покидал Китай и отправлялся в Россию, в Австралию, в Канаду, в Соединенные Штаты Америки, во Францию.

Они уносили с собой вкус, аромат своей юности…

В 1920-е годы между Россией и Китаем граница была еще фактически открыта. Из России люди легально уезжали в Маньчжурию, а беженцы могли возвратиться на Родину. Кто-то отправлялся в далекие страны. Между белыми и красными не было острых конфликтов. Пробольшевистски настроенные праздновали каждую годовщшгу Октября, а белые офицеры формировали добровольческие отряды для борьбы с красными в Приморье…

Каждый жил своим, по-своему, открытых конфликтов почти не бывало.

В Харбине выходило множество периодических изданий на русском языке. Китайский исследователь Чжан Хуйцзюнь собрал сведения о том, что читал «русский» Китай на протяжении полувека. Цифры получились впечатляющие.

Уже в середине августа 1901 года, до пуска КВЖД, начала выходить в свет газета «Харбинский листок ежедневных телеграмм и объявлений». Издателем был П. В. Ровенский, представитель Харбинской партии эсеров. Газета то закрывалась, то вновь открывалась, но просуществовала до ноября 1905 года. После закрытия «Листка» Ровенский выпускал газеты «Маньчжурия» и «Молодая Россия».

Накануне введения КВЖД в эксплуатацию, в июне 1903 года,

вышел первый номер печатного органа Управления дороги «Харбинский вестник» и на протяжении 17 лет эта газета, чрезвычайно популярная, распространялась едва ли не по всему Китаю, оказав значительное влияние на русскую журналистику. Позже она была переименована в газету «Железнодорожник» и существовала до 1920 года.

Появлялись и исчезали такие издания, как газеты «Харбин», «Девятый вал», «Новая жизнь», еженедельник «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке»…

Особенно бурно журналистика и издательское дело развивались во время Октябрьской революции и Гражданской войны. Чжан Хуйцзюнь сообщает, что в 1920 году в Харбине появилось 25 новых периодических изданий и с каждым годом число их возрастало. Так, в 1901–1926 годах в Харбине издавалось 102 газеты и 141 журнал, не считая значительного количества таких временных изданий, как экстренные выпуски, бюллетени, рекламные листовки.

Понятно, что журналистика однородной и бесконфликтной быть не может, поэтому существовали и антибольшевистские эмигрантские издания («Русский голос», «Русское слово», «Русская трибуна», «Луч Азии», «Свет» и другие), и газеты, в которых большевики призывали всех объединиться для свержения буржуазии. Считается, что именно газета «Голос труда» способствовала проникновению ленинских идей в Китай. На протяжении короткого времени, но большими тиражами выходили газеты «Коммунист», «Борьба», «Рабочая мысль», «Вперед».

В начале 1920-х годов появилась и специализированная периодика: «Экономический вестник Маньчжурии», «Торговый бюллетень Харбинской биржи», «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке» (последний журнал был особенно популярен, так как в нем публиковались исторические очерки и местные Новости). Среди газет и журналов религиозной направленности выделялись роскошное иллюстрированное издание «Хлеб небесный», журнал «Сеятель», еженедельник «Путь Христов»…

В 1926 году начал выходить еженедельный журнал «Рубеж», который на протяжении двух десятилетий пользовался неизменной популярностью. Редакция находилась в Харбине, но печатался «Рубеж» одновременно в Шанхае и Тяньцзине, имел аккредитованных корреспондентов не только в Китае, но в Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки. Русские писатели-эмигранты постоянно посылали в журнал свои произведения из разных концов мира и, разумеется, харбинские поэты и писатели печатались в нем из номера в номер.

Было много изданий для юношества, юмористических журналов и газет, массовой периодики. В общем, Харбин жил насыщенной жизнью и, в отличие от других островов Рассеяния, имел не только свои «голоса» (очень разные, несхожие!), по и обширную аудиторию, которая все читала, обсуждала, могла высказывать свое мнение на страницах прессы…

Культурная жизнь Харбина была на редкость разнообразной. Приезжали на концерты и спектакли известные гастролеры, в том числе и из новой России. Так, летом 1924 года в Харбине гастролировала труппа Малого театра. Мастера русской сцены выступали с интервью в газетах и журналах, рассказывали о русском искусстве недавнего прошлого и дня сегодняшнего…

А в 1934 году студент Харбинского политехнического института Олег Лундстрем основал джаз-оркестр…

Спустя 67 лет, в августе 2001 года, он, «живая легенда русского джаза», приехал в город своей юности, где снимался фильм о начале его творческого пути. В те дни Олег Леонидович дал обстоятельное интервью Ларисе Черниковой, журналистке, члену шанхайского «Русского клуба».

Семья Лундстремов приехала в Харбин в 1921 году совершенно легально, по советским паспортам. Отец Олега Леонидовича получил приглашение преподавать в одном из высших учебных заведений при КВЖД (он был профессором-физиком) и решил, что за те несколько лет, что он пробудет с семьей в Маньчжурии, все как-то успокоится на Родине. Но несколько лет растянулись на четверть века…

Вот фрагменты рассказа Олега Лундстрема о рождении джаза в Харбине.

«В 1932 годуя поступил на электромеханический факультет харбинского Политехнического института… Я тогда всерьез увлекался новинками эстрады, часто заходил в музыкальный магазин, чтобы прикупить стопку новых пластинок. Вот так впервые в магазине услышал ошеломляюще новое звучание, отличный ритм оркестра Дюка Эллингтона. Тогда это имя было никому не известно. Благодаря великому американцу я «заболел» джазом на всю жизнь. Мы с друзьями прослушали эту пластинку, наверное, сотни раз. Я сам написал несколько аранжировок популярных пьес, все на слух. Показал брату и приятелям. И мы решили организовать молодежный биг-бэнд. Это было 1 октября 1934 года. Мы выступали на Розовом балу в ХСМЛ с небывалым успехом… Набор инструментов был стандартным для начала 1930-х годов: три саксофона (А. Онопюк, Вл. Серебряков, И. Лундстрем), две трубы (Викт. Серебряков, А. Котяков), тромбон (А. Миненков) и ритм-группа (А. Гравис) — контрабас, банджо, И.

Уманец — ударные и О. Лундстрем (рояль). Всего 9 человек… В том первом составе оркестр просуществовал несколько десятилетий.

В СССР в феврале 1935 года вернулся наш отец, а мы были музыкой увлечены. Мы быстро стали популярными, нам нужно было контракт выполнить, который уже был подписан, да и институт нужно было закончить. Поэтому было решено, что на Родину вернутся отец с матерью, а мы — вслед за ними. В 1932 году в Маньчжурии было образовано государство Маньчжоу-Го… Хотя японцы первое время нас побаивались, все же они не любили русских, особенно советских. Они говорили, что с китайцами разберутся, а потом и за нас возьмутся. Началось тихое вытеснение русских с КВЖД и даже выселение из домов (эти Дома занимали японцы). Появились слухи о том, что Русских парней будут призывать на японскую службу… Поэтому многие тогда бежали от японцев в Шанхай, Циндао и другие города. Нам с братом закончить Политехнический институт не удалось: в 1935 году СССР вынужден был продать свой пай КВЖД марионеточной власти в Маньчжурии… Были введены новые порядки, жизнь в Харбине осложнилась. Одни возвращались в СССР, другие переезжали в Шанхай. Мать не захотела оставлять нас одних, и в Шанхай мы приехали уже без отца: к тому времени он уже был в Союзе».

Отца Олега Леонидовича давно тянуло в Россию, он не верил в то, что в СССР людей сажают в тюрьму просто так. Перемены на КВЖД ускорили принятие окончательного решения — Леонид Лундстрем был приглашен в Ростов-на-Дону доцентом Института физики. В письме он сообщил, что с работой все устроилось, осталось найти жилье — тогда семья соединится. Больше писем от него не было. Лишь в середине 1950-х годов братья Лундстремы узнали, что в 1937 году их отец был арестован и отправлен в лагерь, где погиб в 1944 году…

Итак, братья с матерью оказались в Шанхае. Сначала несколько джазистов отправились на разведку и обнаружили, что дело им в этом городе найдется, музыкантов здесь было немного. Перебирались поодиночке: у кого-то не хватало денег, надо было собрать необходимую сумму на дорогу и квартиру в Шанхае. Так или иначе к середине 1936 года все девять джазистов собрались в Шанхае.

«Мы в свое время тут нашумели! — вспоминает Олег Лундстрем. — Приехали в Шанхай… мальчишками, были жуткими энтузиастами. Мне было 20 лет! А через четыре года мы стали лучшим биг-бэндом в Шанхае… Ребята по одному, по двое работали в кафе, в небольших отелях, в кинотеатрах, ездили на

халтуры в Пекин, Гонконг, Циндао. Но вот нам повезло. После целого ряда попыток мне удалось раздобыть скромный контракт с «Yangtze Hotel», где мы должны были играть «пятичасовые танцы», которые начинались в 17.00. Конечно, на ночных танцах мы заработали бы больше. Но даже этот контракт обеспечил нам вполне приличный доход. Его хватало на еду и комнату во Французской концессии».

Вскоре биг-бэид стал широко популярен, о русской «девятке» писала английская, французская, китайская и, конечно, русская пресса. Приглашения сыпались со всех сторон, вскоре пришло и приглашение в самый популярный «боллрум» Шанхая «Мажестик», и лундстремовцы отработали там два с половиной года. Исполняли в основном американские мелодии, но когда «Совэкспортфильм» завез в Китай фильмы «Дети капитана Гранта» и «Веселые ребята», — Олег Лундстрем сделал аранжировку песен и мелодий из советских картин, которые пользовались огромным успехом!.. В то же время Лундстрем начал аранжировать в стиле фокстрота китайские мелодии — это привело в залы огромное число поклонников из числа коренных шанхайцев.

«В Шанхае нам жилось безбедно, мы буквально купались в лучах славы, — продолжает Олег Лундстрем. — Но все равно тянуло на Родину… Родители стремились в Россию всегда. Для нас не существовало выбора. Родина одна. Мы многое знали по рассказам родителей, учились в советской школе, читали советские газеты. Мы знали: Родина одна».

Но, читая книги, газеты, слушая рассказы родителей, братья Лундстрем, как и другие жители «русского» Китая, в те времена не различали такие понятия, как Россия и Советский Союз…

«Руссейший облик Харбина» — метафора емкая, но… уязвимая, если вдуматься. На протяжении первых двух десятилетий существования города, бурно Развивающегося (учитывая китайское влияние на Все стороны жизни), здесь царило удивительное ощущение удаленности от «большой политики». Конечно, многое определялось событиями в самом Китае — они не могли не отражаться на образе жизни полосы отчуждения. Но все равно жизнь здесь текла относительно ровно и спокойно до той поры, пока в оссии не грянула революция. Этот момент и стал, по словам уже цитировавшейся на этих страницах Наталии Ильиной, одним из первых толчков, потрясших основы налаженной, устоявшейся жизни Харбина. Однако еще несколько лет все шло по-прежнему.

«Наша жизнь шла по старому, по возможности, дореволюционному руслу, — писала харбинка Е. Ширинекая,

переехавшая впоследствии в Сидней. — Мы жили своими традициями и воспитывались в национальном, патриотическом духе. Наши родители жили мечтой, что большевики падут и Россия воспрянет вновь.

В беседке дома, где я жила ребенком, собирались седовласые генералы, которые с любовью вспоминали о России, о своей армейской жизни и с горечью и болью о почти достигнутой победе и затем революции и гражданской войне. На этих воспоминаниях мы выросли, и они глубоко запали в наши сердца. Мы учились по русским дореволюционным учебникам, и для нас Россия была величайшая, могущественнейшая держава в мире».

Здесь история Харбина да и «русского» Китая удивительным образом становится схожей с историей прочих островов Рассеяния — потомки беженцев, остатки белой армии, удачливые российские предприниматели, которым в новой Советской России не оставалось ни дела, ни места…

Почему они устремились именно сюда, на Восток, в Харбин, а не во Францию, Германию, Чехию, Америку? Многие — по причинам географическим. Из Сибири, с Дальнего Востока ближе и безопаснее было перебираться именно сюда. Белогвардейцы, до последнего верившие в возможность противостоять большевизму, надеялись еще нанести сокрушительный удар, тщательно приготовившись к нему здесь, в полосе отчуждения, на ближайших границах. У многих из них в Харбине были родные и близкие, которые могли приютить, помочь на первых порах…

Все это и позволило, по мнению Елены Якобсон, строить в Харбине жизнь примерно так, как и в Париже, «где русская интеллигенция образовала собственное культурное государство в государстве». Здесь выходили русские журналы, газеты, работали библиотеки, высшие учебные заведения, частные школы, исследовательский институт этнической культуры, при котором существовал музей.

Жизнь казалась раз и навсегда налаженной, и потрясения, происходившие рядом, в Китае, или вдали, на родине, воспринимались поначалу остраненно. Так продолжалось до тех пор, пока в Харбине не начали хозяйничать японцы и постепенно выдавливать русское население в Шанхай, Пекин или за границу Китая.

Февральскую революцию 1917 года харбинцы восприняли, по мнению Г. В. Мелихова, весьма одобрительно: довольно быстро оформились полномочные органы революционной демократии, стали создаваться различные политические партии, а затем развернулась борьба за власть между умеренными социал-демократами и экстремистски настроенными большевиками.

«В ходе всех перипетий этой борьбы Харбин очень быстро прошел путь от революционного энтузиазма к успокоению, охлаждению и отторжению крайностей и эксцессов, инспирируемых харбинскими большевиками», — отмечает Г. В. Мелихов и далее пишет о том, что события, произошедшие в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 года, «еще более подхлестнули харбинских большевиков, которые, получив директиву самого Ленина о необходимости немедленной победы советской власти в полосе отчуждения КВЖД, предприняли авантюрную попытку установить здесь свой контроль, т. е. Распространить «власть советов» и на часть территории суверенного Китая.

Естественно, что в условиях международного города эта попытка была безнадежной и провалилась».

Отметим, что это сказано не обо всей полосе отчуждения, а о Харбине — в каком-то смысле городе особой судьбы: во-первых, самом большом городе с самой высокой концентрацией русского населения; во-вторых, экономическом, промышленном и культурном центре русской колонии в Маньчжурии, в которой преобладала интеллигенция, представлявшая собой типичный «средний класс», чуждый каких бы то ни было политических экстрем. Конечно, так или иначе, мощный приток эмигрантов, тревожные слухи из России влияли на политическую жизнь Харбина, по все же не так сильно, как собственно китайские события и (позже) японская оккупация.

Между тем Е. Ширинская имела на этот счет несколько иное мнение. «Первый период жизни Харбина закончился в 1917 году, — писала она в статье «Коль негде жить, так есть Харбин», — а с 1920 г., с падением Омского правительства и Колчака, Харбин потерял права экстерриториальности, и русские потеряли свое положение. С этого момента начинается новая жизнь г. Харбина, насыщенная политическими интригами, в которых было много участников: китайские политические партии, советская власть, японская военщина и среди всего этого — русское население: сначала основное русское население, а с 20-х годов русская эмиграция, которая состояла из бывших военных, их семей и людей, бегущих от коммунистического террора и преследователей разного рода.

Мои родители принадлежали к этой категории, и жизнь в Китае они начинали с ничего».

Да, все эти «категории» русских, постепенно смешиваясь, создавали особый мир, особый космос. Однако политика в то время все же не имела первостепенного значения для этого мира. Культурная жизнь была для острова Рассеяния более важной,

особенно в революционные годы: гастроли известных оперных певцов, драматических артистов, выставки, концерты, кинематограф, балы, музыкальные и поэтические вечера, кабаре и прочие увеселительные мероприятия…

Вот какими сообщениями пестрели газеты и афиши начала 1920-х годов:

«Успех кинофильмы «Былая слава России» сопровождался скандалом в «Декадансе», — сообщала 15 мая 1924 года популярная газета «Заря». — 50 молодых людей стали свистеть и посыпать присутствующих в зале голландской сажей. Вызванная полиция арестовала 6 человек 17–19 лег».

«Модерн. С четверга 28 февраля будут демонстрироваться киносъемки с натуры, на которых присутствовало более миллиона человек: похороны в Москве В. И. Ленина. Фильма, снятая сообща всеми государственными кино, дает полную картину похорон Ленина» (газета «Заря»).

«Ввиду получения целого ряда дорогостоющих картин, администрация театров МОДЕРН и АРС пришла к соглашению демонстрировать эти картины одновременно в своих театрах, как на Пристани, так и в Новом городе. При одновременном демонстрировании, цены не только не будут повышены, что обычно принято при постановках дорогостоющих картин, а наоборот, благодаря большому количеству мест, имеющихся в распоряжении администрации этих театров, существующие цены будут ПОНИЖЕНЫ, что даст возможность широкой массе увидеть эти картины при минимальной затрате и без ущерба для администрации указанных театров».

«Первый раз в Харбине. «Царь Николай II Самодержец Всероссийский». Народная трагедия в 5 частях. Крупнейший боевик, выпущенный Скобелевским Комитетом. Во время показа фильмы зрители вставали с мест, пели гимн «Боже, Царя храни»» (газета «Заря»).

Кинематограф был тогда необычайно популярен, ведь это было новое искусство. Кстати, именно в Харбине был снят фильм, который мы сегодня назвали бы хитом проката. Георгий Васильевич Мелихов рассказывает эту поистине поразительную историю.

«Иван Корнилов в 1914 году закончил Харбинское коммерческое училище, стал студентом Петроградского университета. А потом выбрал другую судьбу: грабил харбинских коммерсантов, убивал, Загоняя страх на весь город. Кто-то считал его харбинским Робин Гудом, кто-то — отъявленным негодяем. С помощью своего сообщника Ломаковского и его жены Корнилов бежал прямо из зала суда, будучи приговоренным к пожизненной

каторге. В течение двух месяцев он прятался, предположительно в районе Модягоу. Однако прятался не особенно усердно — его нередко замечали на улицах, но он всегда умел ускользнуть. Этой предприимчивой шайке настолько нужны были средства, чтобы скрыться из Харбина, что Корнилов и Ломаковский сами предложили одному американскому режиссеру снять фильм о себе.

Корнилов явился к американскому кинорежиссеру, — пишет Мелихов, — предложил свои услуги, договорился о гонораре, получил аванс в 1000 (местных) долларов (остальные три тысячи он должен был получить 17 июня, но не успел), заключил контракт на участие в съемках — свое и Ломаковского. Кролей (режиссер. — Н. С.) возил их обоих по городу в автомашине, производил съемки по своему заранее разработанному сценарию, в нужных ему местах. Один раз Корнилов даже снимался вместе со случайно встретившимся ему полицейским…

Картина была снята с чисто американской предприимчивостью и размахом и действительно являлась сенсацией».

Действительно — сенсация. Человек в розыске, за ним охотятся не только по Харбину, но и чуть ли не по всему Китаю, а он спокойно разъезжает по городу в машине и снимается в кино!..

17 июня Корнилов и Ломаковский были схвачены в Модягоу, в Глебовском переулке. На следующее утро умер раненный при захвате Ломаковский, а несколькими часами спустя и его жена. 30-летний Иван Корнилов один предстал перед судом. Он раскаивался, говорил о своей мечте уехать в Германию, чтобы завершить образование. У него была отличная память, он быстро усваивал иностранные языки, хорошо знал китайский. Его жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. Но — судьба…

В октябре 1923 года президент Китайской Республики издал указ о том, что смертная казнь распространяется и на иностранцев, которые теперь лишались права экстерриториальности в Китае. К тому времени русские уже были этого права лишены. Приговор над Корниловым был приведен в исполнение: его казнили путем медленного удушения.

Но съемки фильма были завершены, и еще за несколько месяцев до приговора суда, 23 июня 1923 года, во всех харбинских газетах был опубликован анонс:

«В субботу 23 и воскресенье 24 июня
Корнилов и Ломаковский
на свободе в жизни после побега.
Только эта есть настоящая правдивая картина.

Снята и воспроизведена Пауль С. Кролей.

2000 футов захватывающих интересных похождений легендарных бандитов. Смотрите, как они улыбаются и смеются. Как Ломаковский приготовляется к убийству, его различные методы и приемы в обращении с оружием. Картина полна жуткими моментами с начала и до конца и иллюстрирует агентов сыска, участвующих в поимке бандитов во главе с Кирста, Волковым и полковником Сун.

В театре «Весь мир» картина будет сопровождаться также сеансами Театра Миниатюр «Водевиль».

Дирекция П. С. Кролей».

Это была подлинная сенсация. Народ ломился на просмотр картины, спустя непродолжительное время демонстрации не прекратились, а наоборот, шли все шире. Вскоре в газетах было опубликовано еще одно объявление:

«Сегодня и завтра одновременно в двух иллюзионах — на Пристани в саду «Луна-парк» (Комсоб) и в Новом Городе в «Новом Мире» демонстрируется сенсационная картина — «Корнилов и Ломаковский на свободе после побега» — снята Кролейем.

Фильма полна захватывающими моментами. Преступники оказались прекрасными кинематографическими артистами и с большим самообладанием провели свои роли. Они демонстрируют методы и приемы в обращении с бомбами и оружием, они подготовляют нападение и готовы к встрече с преследователями.

Фильма Кролейя интересна тем, что снята с натуры.

Предстоит посмотреть тех легальных лиц, имена коих вот уже долгие месяцы не сходят с уст харбинских жителей».

А немного времени спустя в харбинских газетах замелькало другое объявление:

««Арест Корнилова и его сподвижников. Корнилов в кандалах» — фильм С. С. Машина о Корнилове.

Исключительная уголовная хроника. Настоящий Корнилов только у нас! Не давайте себя обманывать! Смотрите только нашу фильму!»

Первое время в театре «Модерн», где демонстрировалась картина, был аншлаг, но зрители покидали зал разочарованными: сцены поимки преступников не было, Корнилова снимали уже в тюрьме, недоставало, по мнению рецензентов, «интригующих действий», а кроме того, в фильме С. Машина было слишком много рекламы: «…например, труп Ломаковского и призыв «Курите папиросы Лопато», — пишет Мелихов, — снова какая-то сцена, и новая реклама, «совершенно затушевывающая впечатление самой фильмы»».

Поэтому интерес к этой картине быстро угас, в то время как фильм Кролейя пользовался все большим успехом…

Помимо кинематографа харбипцы имели и другие пристрастия. Еще в 1904 году, к Пасхе, в городе открыли сразу два цирка — цирк Боровского и цирк товарищества Дорес. Первый славился дрессированными лошадьми, а второй — музыкально-эксцентрическим квартетом американских негров.

По мере развития Харбина в различных районах города стали появляться зрительные залы, сценические площадки. Возникали музыкальные, драматические, литературные, художественные студии, кружки, объединения.

Отец Г. В. Мелихова оставил воспоминания о музыкальной жизни Харбина. Страстный меломан, поклонник оперного искусства и оперетты, еще будучи учеником харбинских коммерческих училищ, Василий Мелихов ухитрился посмотреть за сезон 1919/20 года 31 оперетту (это при том, что учащимся средних учебных заведений запрещалось посещать оперетту и в театр всякий раз приходилось проникать тайком, озираться вокруг во время антрактов!). В зале Железнодорожного собрания собирался едва ли не весь Харбин, влюбленный в искусство оперетты. 1918 год провожали 31 декабря «пикантной опереттой» «Ночь в Мулен-Руж». А уже в первые дни наступившего 1919-го в помещении театра «Модерн» принимали гостей из Владивостока — «Столичную оперетту» под руководством Л. Я. Патушинского и А. И. Кречетова, где блистали известные артисты Н. Глориа и Н. Бравин.

«Веселая вдова», «Цыганская любовь», «Мадемуазель Нитуш», «Ночь любви», «Принцесса долларов», «Граф Люксембург», «Король веселится», «Жрица огня», «Добродетельная грешница», «В волнах страстей»…

Харбин ликует, аплодирует, кричит «браво!», еще и еще раз приникая к представителям искусства отнюдь не элитарного, способного увлечь и зажечь любого!.. А совсем рядом продолжается жестокая, истребительная Гражданская война, и новые потоки беженцев вливаются в русский город,

расположенный за пределами России…

«Хоть похоже на Россию, только все же не Россия…»

Звезда немого кинематографа Иван Мозжухин вспоминал: «Харбин я хорошо знаю, я там был в 17-м году. В самый разгар революции, перед началом большевизма.

Ездил туда на гастроли с драматической труппой. В России уже голодали, товары исчезали. Приехали в Харбин, там все по-старому, словно и революции в России не произошло. И дешевка на все страшная. Помню, купил тогда одних ботинок 40 пар. Двадцать мудов муки в Россию вывез…»

В 1934 году известная драматическая актриса Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова в интервью рассказывала: «Мечтаю об артистическом турне по Дальнему Востоку. В 1916 году я была в Харбине, там гастролировала. И с тех пор Харбин мне дорог, — о нем сохранились у меня неизгладимые приятные воспоминания. Я люблю Харбин и я хочу в Харбин…»

Да, в Харбине еще долго все оставалось как будто по-старому.

В 1920— 1930-х годах культурная жизнь в городе буквально била ключом. Здесь гастролировали артисты и музыканты с мировыми именами: скрипачи Я. Хейфиц и Е. Цимбалист, пианисты Л. Сирота и Л. Крейцер. В 1927 году в Харбин приезжал с оперной труппой Сергей Лемешев, выступали Неаполитанская опера, зарубежный казачий хор имени атамана Платова.

В городе были свои симфонический оркестр, опера, оперетта, драматический театр, балет, которым руководили артисты Императорского московского балета, питомцы школы Мариинского театра. «Руссейший облик Харбина» впитал в себя все богатство и величие русской культуры.

А еще харбинцы очень любили балы. Их часто устраивали, например, художники, которых в Харбине было достаточно много. Они группировались вокруг студии «Лотос», где регулярно проводились выставки. Каталог Передвижной выставки 1924 года включал в себя 161 работу!.. Среди участников можно было встретить имена Н. Вьюнова, П. Поговского, Ф. Соболева, М. Кичигина, Я. Лихоноса, И. Сверкунова, С. Бирнбаума, М. Горева, М. Аветова, П. Доброгаева и многих других…

Г. Мелихов описал бал, устроенный на Масленой неделе 15 февраля 1923 года в Коммерческом собрании. «Главная площадка бала — зрительный зал и сцена были превращены в знойно-синюю «тропическую ночь» Южной Африки… В фойе нижнего этажа (красивейшее место собрания!) была устроена «Галерея Трианон». В верхнем фойе — «Альгамбра» — павильон в мавританском стиле — и бар; в подвальном помещении Комсоба,

куда для доступа публики на этот вечер даже специально пробили ход в полу вестибюля, были устроены «Кабачок Смерти» и «Комната ужасов», которые, по мнению рецензента, «не удались совершенно» и «напрасно пол прорубали».

Была обширная музыкально-вокальная программа. Но главным развлечением гостей были, конечно, ганцы, «королем» которых все увереннее становился подвергнутый вначале поруганию и даже запрещению, но, несмотря ни на что, постепенно «завоевывавший» Харбин… фокстрот… Как признавали все, бал был исключительным по художественному оформлению. О нем потом долго и много говорили в городе…

Харбипцы любили общаться, веселиться — с музыкой, застольными песнями, танцами. Очень любили они, конечно, и балы… — традиционные, устраивавшиеся из года в год еще со времен прежних, далеких, и отдельные, по частному поводу, посвященные какому-нибудь торжественному событию или дате.

Традицию устройства регулярных балов в харбинском Железнодорожном собрании возродил в послереволюционные годы управляющий КВЖД Б. В. Остроумов. Присутствуя на каждом таком балу в собрании, довольно-таки грозный в рабочей обстановке, управляющий всегда осведомлялся: «А где же инженер Х? Почему же сегодня я не вижу коллегу У?..» И этот интерес «начальства», определенно, являлся для старших служащих дороги стимулом для посещения балов».

25 января, в Татьянин день, устраивали балы студенты харбинских вузов — этот старинный русский обычай соблюдался неуклонно: веселились, танцевали, влюблялись, кокетничали и, конечно, избирали королеву и принцесс бала — самых красивых студенток…

Очень популярны были бал Инвалидов 8 декабря, бал Георгиевских кавалеров 9 декабря, Рождественские балы, Журбалины (так именовались балы Харбинского общества журналистов), Розовые балы, «Бал Белых косынок» (традиционные балы Мариинской общины Российского общества Красного Креста), балы польской колонии, еврейской общины, балы Общества изучения Маньчжурского края, балы железнодорожников, спортсменов, охотников, балы врачей Центральной больницы КВЖД, Школы языкознания… И часто это были не просто танцы, а настоящие маскарады.

Почти все балы без исключения были благотворительными: на них собирались немалые средства в пользу нуждающихся, будь то неимущие студенты, инвалиды, журналисты или художники…

Коль скоро речь зашла о художниках, расскажу одну историю.

В конце 1960-х годов мне довелось попасть в запасники

саратовского Художественного музея. Там на меня произвела сильное впечатление картина Николая гущина «Автопортрет (Взгляд в себя)». На темпом, мрачном фоне изображены какие-то сказочные чудовища и вполне реальные хищники, в углу картины суровое, изборожденное морщинами мужское лицо. Лицо человека, которому довелось много пережить и перестрадать…

Я пыталась что-то узнать об этом художнике, и из скупых сведений сложилась неполная мозаика жизни человека, который странствовал по миру, был талантлив и одинок, а в 1947 году приехал в Саратов, где и умер в бедности и забвении.

В книге Г. В. Мелихова есть рассказ о харбинском поэте Сергее Алымове, авторе популярных песен, среди которых «Вася-Василек» и «По долинам и по взгорьям…». Алымов перепробовал в жизни множество профессий: был артистом варьете, цирковым борцом, редактором, издателем, грузчиком, разнорабочим. Высокий, красивый, с большими татарскими темными глазами, он обладал удивительным обаянием и притягательностью.

В Харбине Сергей Яковлевич Алымов выпускал вместе с Е. С. Кауфманом газету «Рупор», с профессором Н. В. Устряловым — журнал «Окно», в 1920-е годы издал сборники стихов «Киоск нежности» и «Пьяное сердце», множество эссе, переводы стихов с китайского и японского, писал рецензии на спектакли, книги, выставки.

Но и это еще не все. Сергей Алымов создал в Харбине кафешантаны «Шантэклер», «Черная кошка», «Кабачок Богемы», в которых сам вел представления и выступал как артист — пел, танцевал… Он был первым в Харбине забиякой, скандалистом и даже дуэлянтом — в 1924 году просидел в харбинской тюрьме 20 дней за дуэль и заплатил немалый денежный штраф.

В газете «Рупор» Алымов был редактором литературной полосы. По словам Мелихова, он превратил газету «в зеркало артистической и литературной жизни Харбина». Свой «Кабачок Богемы» Сергей Яковлевич именовал «Литературно-художественным театром». «Вся богема у себя в кабачке! — возвещала реклама. — Вход бесплатный. Ресторан при театре И. Л. Хаиндрова открыт круглые сутки!»

Алымов был действительно фантастически одаренным человеком, ярчайшим представителем Серебряного века, русского модерна. В 1926 году Алымов вернулся в Россию, а спустя несколько лет харбинские газеты сообщили, что он находится в Соловецких лагерях. Однако ему удалось там уцелеть и дожить до освобождения. В апреле 1948 года Сергей Яковлевич умер в Москве.

Рассказывая об этой уникальной личности, Георгий Васильевич Мелихов пишет: «Его «Киоск нежности: Лирика женщины, изысканности и любви. Стихи» (обложка московского художника Н. Гущина). Харбин, 1920 — был встречен в Маньчжурии и Харбине восторженно. Алымов стал кумиром молодежи». Далее Мелихов пишет о том, что в 1921 году в Харбин приехал Давид Бурлюк, и продолжает: «В том же году была устроена выставка художника Н. Гущина. На выставку дал рецензию Сергей Алымов, назвав художника с присущей автору образностью «Коробейником красок»».

Упоминание о гущине вновь заставило меня пережить давнее саратовское впечатление, и я обратилась за помощью к известному искусствоведу Е. Водоносу, который любезно прислал мне фрагмент своих неопубликованных воспоминаний о Николае Михайловиче гущине.

«О жизни в Китае мне он рассказывал скупо: персональные выставки в Харбине, Шанхае, Пекине и еще где-то. Гущин прожил там до 1922 года (оказавшись в Харбине в 1919-м и уехав спустя несколько лет в Париж по паспорту, выданному Управлением КВЖД. — Н. С). Китайцев вспоминал с неизменной симпатией. Он узнал их еще в годы Первой мировой войны, когда сопровождал транспорты китайских рабочих. Одно только настораживало его: самоотверженная готовность подчинить личное общему — растворение в массе; отказа от индивидуальности он опасался всерьез. Как-то рассказал о митинге в Шанхае, где потребовалось срочно написать лозунг. Какой-то китайский юноша отрубил себе фалангу указательного пальца и кровавым обрубком нанес на белое полотно необходимые иероглифы, Гущин, и спустя десятилетия, вспоминал об этом с содроганием, словно картина эта стояла перед глазами. Одушевление толпы его, похоже, не привлекало. Он говорил о бездне фанатизма, о таком самоотречении, на которое, к счастью, неспособны уже современные европейцы…

Где-то на четвертом курсе, когда я, занимаясь Сент-Экзюпери, особенно интересовался зарубежной литературой 1920—30-х годов, в одном из журналов тех лет попалась мне на глаза статейка о сменовеховцах, о призыве историка Николая

Устрялова примириться с победой большевиков, тяготеющих к экспансии не только идеологической, но и территориальной, продолжающих тем российскую имперскую политику, осуществляющих, на его взгляд, «белые цели красными средствами». Там было сказано, что Н. В. Устрялов бывал в Харбине. На мой вопрос, что это был за человек, Гущин ответил односложно, что был такой, а распространяться о нем не стал.

Сколько я понял Николая Михайловича, Харбин жил шумно и весело, рестораны множились, как грибы после теплого дождя, из их окон лилась оркестровая музыка, пробки шампанского стреляли в потолки, а вино лилось рекой. В игорных домах и казино просаживались миллионы, и представители русской колонии, особенно беженцы и офицеры, были там и там на самых первых ролях. Кто-то, конечно, и голодал, но в основном съехались люди достаточно состоятельные, захватившие с собой драгоценности, валюту и ценные бумаги. Образовалась и какая-то культурная среда. Сам Гущин хорошо зарабатывал и преподаванием, продажей картин и заказными портретами. Во всяком случае, во Францию он поехал, по его словам, вполне состоятельным человеком».

В письме Е. Водонос пишет, что политические пристрастия Гущина для нас гадательны: «…не думаю. чтобы Николай Михайлович очень уж скорбел о низвергнутой монархии, но не уверен, что победу большевиков он встретил слишком уж восторженно… Мне он рассказывал, что в харбинском ресторане к нему подошли как-то два офицера и, удостоверившись, что он и есть тот самый Гущин, который бежал из Перми, сказали, что опоздали арестовать его там».

Какими были его полотна китайской поры — теперь уже неизвестно. В Саратовском музее сохранились работы 1940—1960-х годов… Но то, что С. Алымов в своей рецензии назвал гущина «коробейником красок», позволяет нам пофантазировать: какими же были его полотна?..

Кто знает, может быть, удастся кому-то из любознательных исследователей обнаружить более отчетливые следы Николая Михайловича Гущина в «Русском» Китае?.. А может быть, и чудом сохранившиеся его картины китайского периода.

В 1922 году приехал в Харбин Виктор Иванович Колокол ьн и ков, бывший директор тюменского частного коммерческого училища. В 1928-м он был Избрал заместителем председателя Беженского комитета, а чуть позже — председателем Торгово-промышленного союза при этом комитете. Беженский комитет являлся крупной общественной организацией, координировавшей и направлявшей деятельность многочисленных харбинских

благотворительных, политических и культурных обществ. Комитет давал изгнанникам жилье, помогал устроиться на работу, оказывал бесплатную медицинскую помощь, выдавал денежные средсгва, одежду и обувь, устраивал благотворительные обеды…

Активную роль играл Комитет и в проведениях Дня русской культуры (этот праздник был учрежден в 1924 году), который был приурочен к дню рождения А. С. Пушкина. В 1930 году в специальном выпуске газеты, посвященном этому дню, была опубликована статья Виктора Колокольникова: «Торжественное празднование этого дня вошло, если можно так сказать, в плоть и кровь эмиграции. В двадцати странах русского Рассеяния в этот день собираются русские люди вспомнить о былом и поделиться новыми мыслями о будущем, новыми русскими культурными достижениями…

Ежегодно отмечается этот день и там, за темной границей. Не будем забывать о том, что мысль об устройстве ежегодных чествований памяти Пушкина возникла впервые среди членов петербургского «Дома литераторов» в 1920 году, а первое чествование имело место в Петербурге в страшный 1921 год. Среди организаторов и участников этого первого Дня русского гения были Ахматова, Блок, Гумилев, Кони. Имя Пушкина объединяет всех русских по обе стороны черты…

Одной из памятных дат, имеющих непосредственное отношение к сегодняшнему Пушкинскому дню, является 50-летие со дня открытия Пушкинского памятника в Москве.

О, сколько видел Ты со своего высокого пьедестала!

Сколько горя, слез, крови, грязи и позора… В твоей любимой, Святой Родине — Москве! Но — видим, верим: не омрачается Твое высокое чело… Мудрый знает: истина восторжествует… Еще загудит Страстной Монастырь, еще заблаговестит Кремль торжественным и радостным пасхальным звоном Воскресения России…

Будет рассвет, будет и день! Залог тому — те звезды, которые все-таки блистают на черном российском небосклоне… В ужасную годину всенародных испытаний, когда систематически уничтожалось и вы травливалось огнем, мечом и неописуемыми пытками — и продолжает уничтожаться — все русское и все святое, русская душа не сгинула и не сломилась, только склонилась — согнулась до земли в страшном, мучительном страдании… И перестрадавшие выходят на верный путь… Они — звезды российские, ибо — страдание и подвиг — очищают…

Мудрый знает».

Эта пламенная речь, искренняя и зажигательная,

опубликована в 1930 году. Какой же удивительной верой и любовью к утраченной России надо было жить, чтобы спустя 13 лет после революции надеяться на благовест в Отечестве, которое ежедневно доказывало обратное?!

Наивность?

Нет, та неистребимая любовь к Родине, что только одна и способна внушить человеку надежду…

В своем харбинском благополучии, где, казалось, время остановилось и течет в другую сторону, к истокам, к началу, они ни на миг не забывали о горе, слезах, крови, грязи и позоре, которые стали уделом оставшихся.

«Во времена своего расцвета, — пишет Б. Козловский, — город Харбин был большим торговым культурным городом, который постоянно посещали из-за границы мировые культурные артистические силы и торговые представители разных стран мира. Также постоянно наезжали и местные промышленники, и коммерсанты, и пушнинники. Для обслуживания лиц, приезжающих в Харбин, имелся целый РЯД отелей и гостиниц, которые вполне могли соревноваться с лучшими отелями мира. Были такие, например, фешенебельные отели, как «Гранд-Отель» и «Ориант» в Новом Городе или отель «Европа». На Пристани был первоклассный отель «Модерн». Были, конечно, и обыкновенные, не отличающиеся особой роскошью, но вполне приличные гостиницы, как, например, «Новый Мир», принадлежавшая Акционерному Обществу Гостиниц».

Б. Козловский подробно рассказывает, какие кафе, шашлычные, бары и прочие заведения существовали в то время в Харбине, кого но какому поводу куда следовало приглашать.

«Если нужно было угостить кого-нибудь или устроить банкет или просто деловую встречу, не могло быть лучше места, чем ресторан «Яхт-Клуб» на правом берегу Сунгари с прекрасным видом на реку, на набережную или же ресторан «Бар Лукулл».

В летнее время за Сунгари открывалась масса разнообразных ресторанов, кафе, баров, киосков и так называемых «забегаловок», где можно было опрокинуть рюмку водки под пирожок и плотно покушать…

Было много кафе. Располагались они в бойких местах города. В этих кафе устраивались деловые встречи. Стол в них был прекрасный и недорогой. Можно было или просто выпить по чашке кофе с булочкой или пирожком, или сытно поужинать. Обычно кафе открывались в 8.30 утра и закрывались не позже 10 вечера. Много было и совсем небольших кафе, а некоторые были хорошо отделаны, с прекрасными столиками, чудной сервировкой и разнообразными меню. Обслуживали такие кафе официантки,

которые были нарядно одеты в специальные стильные формы».

Самыми популярными кафе были «Марс» и «Виктория» на Пристани, кафе Зазунова рядом с универсальным магазином И. Я. Чурина и кафе Азадовского в Новом Городе, опять-таки напротив универмага Чурина — наверное, трудно было сыскать в Харбине место более бойкое, чем торговые дома Чурина!.. Сделав покупки, люди шли в кафе перекусить или отметить удачное приобретение.

Ценители кавказской кухни посещали шашлычные на Пристани и в Новом Городе: «Новый Казбек», «Кавказ», «Иверия», «Алла-Верды», «Татос», «Рогозинский» или один из самых фешенебельных ресторанов города — «Эдем».

А для тех, кто хотел просто выпить кружечку пива, существовали в Харбине заведения более незатейливые, такие как «Бар-Хан». Еще были молочные кафе и столовые с домашними обедами…

Состоятельная публика любила посещать дорогие ночные кабаре — «Помпея», «Этна», «Фантазия», которые славились интересными развлекательными программами и отменной кухней. В «Фантазии» в свое время играл оркестр под управлением Сергея Ермолаева, позже переехавший в Сидней и снискавший там немалую популярность.

Гражданам со скромными доходами были доступны кабаре классом пониже — «Палермо», «Таверна» или «Сорренто», они процветали в основном за счет студентов, которым провести там ночь было вполне по карману. В конце концов, иногда немного разжившись деньгами, здесь можно было выпить те же прекрасные шаньдуньские вина, что и в первосортных кабаре!..

Известный русский театральный художник, историк моды и коллекционер Александр Васильев несколько лет назад писал в журнале «Театр», что в справочнике «Весь Харбин» за 1925 год он обнаружил информацию об огромном количестве русских ресторанов в Харбине.

«Ресторан «Вокзальный» принадлежал Лаврентию Филипповичу Абашидзе. Ресторан «Амур» по Диагональной улице, 17, — Екатерине Максимовне Поповой. Ресторан «Биржа» Михаила Пантелеймоновича Гидуляна расположился на Биржевой, 43, а Ресторан «Буфф» Андрея Ивановича Шевинского — на Китайской, 127. Ресторан «Буфет» содержала некто Е. В. Симбуховская, а ресторан «Гранд-отель» арендовал Густав Германович Унтербиргер… Рестораны «Дарьял» и «Кавказ», «Москва» и «Новый мир», Модерн» — с баром и бильярдом и «Общедоступный» — без оных, «Океан» Любови Львовны Спивак и Помпея» Григория Матвеевича Шварупака, «Мартьяныч» Григория

Житничепко и «Михалыч» Матвея Попова… А какие столовые и закусочные! Какие имена, какая географическая широта! «Светланка», «Андреич», «Басилашвили», «Дядя Сепя», «Николай», «Ялта», «Алтай», «Бессарабия», «Урал», «Пермь», «Рим» и даже «Зеленоград», а также «Русский буфет», «Украинский буфет», «Чайный буфет» и так далее и так далее».

Интересно, что по этим названиям можно судить о происхождении тех, кто оседал в Харбине, о их пристрастиях, за многими из названий скрывается неизбывная тоска по Родине.

Е. Ширинская вспоминает: «Мое детство было настолько русским, что я не подозревала, что живем мы в Китае. Вокруг меня были все русские люди. По улицам ходили китайские ремесленники и выкрикивали такие предложения: «Сапоги починяй», «Паяй», «Стары вещи покупай»… Эти «харбинские соловьи» обслуживали наши скромные нужды. Работали китайцы очень хорошо и относились к нам доброжелательно, всегда с улыбкой и шуткой. Соседний лавочник мог дать продукты в долг, когда в семье было туго с деньгами, в наши праздники Рождества и Пасхи наш лавочник приносил нам подарки: корзину фруктов или цветы. В гости он не ходил, но считал нас своими друзьями, да и мы тоже считали его своим верным другом, каким он и был».

14 марта 1920 года китайские войска неожиданно заняли здание русского Штаба охраны дороги и подняли над ним китайский флаг. Было объявлено, что вся власть в полосе отчуждения переходит к китайской администрации, что полоса отчуждения переименовывается в Особый район Восточных провинций (ОРВП) и Китай вводит сюда воинские части. Это означало, по сути, ликвидацию Охранной стражи дороги, русской полиции в Харбине и на всей линии КВЖД. Вскоре после этого было ликвидировано и Управление военного коменданта Харбина.

Для жителей «русского» Китая начался трудный период — разгул преступности, бесчинства хунхузов (так называли бандитские группировки, орудовавшие едва ли не по всему Китаю), неуверенность в завтрашнем дне…

В 1924 году Советский Союз заключил с Китаем договор о совместном управлении Китайско-Восточной железной дороги, в Харбин снова начали приезжать русские — теперь уже советские служащие, и население достигло двухсот тысяч. Русские чувствовали себя здесь как дома — Харбин был самым большим русским городом за пределами России, вот только расслоение было довольно ощутимым.

Елена Якобсон вспоминает: «В Харбине жили самые разные общественные группы, и город делился на кварталы, каждый из

которых имел свое собственное лицо. Как и во многих европейских городах, в Харбине были парки, широкие бульвары, солидные кирпичные дома, большие магазины, специализированные лавки, кафе и рестораны. По шумным улицам ходили трамваи, ездили такси, автобусы и русские извозчики, зимой менявшие экипаж на сани».

Рядом с домами и особняками первых русских поселенцев росли новые дома, в которых селились члены Правления КВЖД и высокие советские чиновники. Бывшие белогвардейцы поначалу ютились в жалких хибарках в кварталах Зеленого Базара и Модягоу, а встав на ноги, строили себе настоящие дома. «Они жили обособленно, — пишет Елена Якобсон, — объединенные антикоммунистическими настроениями и мечтами о будущем освобождении России».

Семья Елены Александровны Жемчужной (по мужу Якобсон) приехала в Харбин в 1925 году по советским паспортам — Александр Жемчужный, военный врач, бывший белогвардеец, узнал о том, что в Русской миссии в Китае освободилась должность медицинского работника. Он хотел вывезти семью в Европу, но это было очень сложно, поэтому Жемчужный согласился поработать два года главным врачом в Центральной больнице в Харбине. Потом он мог остаться в Китае или уехать, куда заблагорассудится, обменяв советский паспорт на свободу.

Разумеется, предлагая советским гражданам такие условия, правительство рассчитывало, что по истечении оговоренного срока все вернутся домой. Но возвращались единицы, к числу которых семья Жемчужных не принадлежала.

О них, о людях, потерявших Родину, Алексей Ачаир написал стихотворение «Эмигранты»:

Не согнула судьба нас, не выгнула.
Хоть пригнула до самой земли.
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.

— в этом было историческое и культурное назначение Рассеяния в целом и его маньчжурского острова в частности.

Случилось так, что все они, куда бы ни устремлялись, уносили, «разносили» повсюду частицы своей Родины, России. Став людьми свободного мира, они могли ненавидеть советский строй, ужасаться его жестокости, лицемерию, но не могли не хранить в душе нежность к этой земле, тоску по ней.

Вспомнив эти строки стихотворения Ачаира «Эмигранты», самое время рассказать о литературной жизни Харбина, об одной

из самых ярких ее страниц — литературном объединении «Чураевка». Оно возникло в 1926 году и стало одиим из центров русской культуры в дальневосточной диаспоре. Основателем объединения был именно Алексей Ачаир — название для «Чураевки» он позаимствовал из популярного в эмигрантской среде романа прозаика-эмигранта Г. Д. Гребенщикова «Чураевы», опубликованного в 1922 году. В романе описывалась жизнь молодых людей, обитателей деревни Чураевка, которые объединились для высоких творческих целей. Основой харбииской «Чураевки» была поэтическая студия, которой руководил Николай Александрович Щеголев. Он родился в 1910 году в Китае, на станции КВЖД Иректэ, в семье служащего железной дороги. Его отец располагал достаточными средствами для того, чтобы дать сыну хорошее образование; Николай Александрович закончил Коммерческое училище, затем Высшую музыкальную школу им. А. Ползунова, а затем колледж Христианского союза молодых людей (ХСМЛ). Дипломная работа Щеголева «Художественное мастерство В. Маяковского в поэме «Хорошо»» получила высокие оценки, она стала известна и в Советском Союзе, что было величайшим «исключением из правил»!.. Увлекшись литературой, Щеголев вскоре стал председателем поэтического объединения «Чураевка». Один из студийцев, Э. Ипдриксоп, вспоминал впоследствии: «Подтянутый, корректный, золотоволосый юноша умело руководил литературной студией «Чураевки» на многолюдных открытых «вторниках». А на закрытых «пятницах» был строг, по объективен». Щеголев публиковался в газете «Молодая Чураевка», в журнале «Рубеж», в сборниках «Семеро» и «Излучины», был высоко оценен Алексеем Ачаиром, а в 1933 году одно из его стихотворений напечатал парижский альманах «Числа». Это был триумф!

Позже Щеголев уехал в Шанхай (мы еще встретимся с Николаем Александровичем на «шанхайских страницах» этой книги), а после Второй мировой войны, подобно многим соотечественникам, захотел вернуться на Родину. Он поселился в Свердловске, счастливо избегнув репрессий, преподавал, работал лектором Свердловской филармонии, но страсть к самосовершенствованию не давала покоя, и Николай Александрович решил продолжить образование. В 1952 году он закончил Уральский университет.

По всей вероятности, в России Щеголев писать перестал.

Но вернемся к «Чураевке».

Главные мотивы творчества «чураевцев» определились в первой поэтической книге Алексея Ачаира, без особых затей

названной им «Первая» (1925). Эти мотивы — пронзительная тоска по Родине, стремление во что бы то ни стало сохранить определяющие черты русской культуры и духовности в годину тяжелых испытаний.

«Чураевка» была тесно связана с YMCA (Young Men Christian Association), международной организацией «Христианский союз молодых людей», основанной американскими миссионерами в Китае и немало сделавшей для русских эмигрантов, не только потому, что литературное объединение базировалось в здании YMCA, но и потому, что основные идеологические положения «Чураевки» полностью совпадали с идеалами Христианского союза молодых людей.

Нескольким поколениям советских людей известны издания запрещенной в СССР литературы — философской, религиозной, мемуарной и прочей, выходившей под грифом «YMCA-Press». Эти книги передавались из падежных в самые надежные руки, читались под покровом ночи, обсуждались вполголоса.

Христианский союз молодых людей, насчитывающий на сегодняшний день почти десять миллионов членов, был создан 6 июня 1844 года в Лондоне с целью развивать христианские принципы и повышать духовно-нравственный уровень молодежи.

В середине XIX столетия, после того как Европа пережила столько революций, эта проблема была очень актуальной. Первой это движение подхватила Америка — страна, лишенная древних корней, страна, куда устремлялись люди со всех континентов в поисках лучшей доли, страна, где необходимо было создать тот духовно-нравственный климат, без которого не может быть ни любви к родине, ни любви к ближнему. Первый Международный конгресс ХСМЛ состоялся в США, и это закономерно. Было бы ошибкой называть эту организацию чисто религиозной. Наверное, правильнее было бы сказать, что основные принципы ХСМЛ сформированы с христианской точки зрения, но предназначены для жизни в большом мире. В мире, который должен быть построен на гармонии. Потому символом ХСМЛ стал красный треугольник: триединство души, ума и тела.

В 1919 году отделение ХСМЛ открылось в Харбине, а 7 сентября 1920 года было торжественно освящено новое здание Культурного центра ХСМЛ на Садовой улице, в Новом Городе.

«9, 10 и 11 сентября здание было открыто для осмотра желающими «весь день», — пишет Г. В. Мелихов. — В русле главного в этот начальный период направления в работе ХСМЛ — физического развития молодежи, — первый этаж наполовину был отдан под спортивный зал, — прекрасно оборудованный, с снарядами для гимнастических упражнений и игр, с

раздевалками и душевыми комнатами. Вторая же половина первого этажа была отведена для изучения ремесел, здесь располагались разные курсы и мастерские. На втором этаже — по обе стороны входной лестницы — находились библиотека и читальные кабинеты. Туг же были и жилые помещения для служебного персонала союза. Третий этаж занимали классные комнаты, парадная приемная, кабинет секретаря. Здесь также были собраны учебные пособия и коллекции — минералогическая, ботаническая и другие.

Было объявлено, что на будущей неделе в союзе начнутся регулярные занятия; открылась запись в группы изучения английского языка, английской коммерческой бухгалтерии, во всевозможные кружки — сельскохозяйственного машиноведения, автомобильный и прочие.»

Уже в 1919–1920 гг. ХСМЛ стал разворачивать и просветительскую деятельность: открыл библиотеку и читальные залы, комнату для самостоятельных занятий, стал организовывать публичные лекции и курсы лекций по гуманитарным наукам, литературе и праву».

Роль столь разносторонней и важной в жизни «русского Харбина» организации трудно переоценить!.. Особенно если учесть, что отделение ХСМЛ появилось в Харбине в то время, когда город уже нельзя было назвать «абсолютно русским»: 23 сентября 1920 года вышел указ президента Китайской Республики о прекращении полномочий посольства бывшей Российской империи в Китае. Пекин объявил о своем непризнании русского посланника и консулов, об отмене права экстерриториальности Русских в Китае и переходе их под защиту и покровительство китайского правительства.

Читая мемуары, слушая рассказы, понимаешь, что все они, названные и неназванные персонажи этой книги, были слишком молоды в то время, чтобы осознавать, насколько же меняется их привычная, такая налаженная жизнь. Это позже многое стало очевидно, но тогда, скорее всего, чисто интуитивно они тянулись к возникшей в Харбине организации, может быть, и не отдавая себе отчета в том, что ищут в ее тесном кружке неких высоких принципов, идеалов. Большинство из них, пройдя через ХСМЛ, глубоко впитали христианские ценности.

Цель и идеалы ХСМЛ были сформулированы с обезоруживающей простотой в своеобразном девизе: «Жить в доме у дороги и быть другом человеку». А для этого необходимо было быть гармоничной личностью, поэтому система деятельности и организации ХСМЛ была досконально продумана: в помещении, где собирались люди самых разных

вероисповеданий, традиций, должна царить совершенно особая атмосфера — доверительно-располагающая. Она, эта атмосфера, призвана приобщать к культуре в самом широком смысле этого слова. Для молодежи ХСМЛ становился вторым домом, где можно было заняться спортом, найти друзей, единомышленников. Кроме гимназии и колледжа здесь были курсы машинописи, иностранных языков, автодела, радиокружок, литературный кружок, клуб естествознания и географии, свой театр, где ставились спектакли не только на русском, но и на иностранных языках…

Елена Таскина вспоминает: «Колледж ХСМЛ, помимо обучения специальным предметам, давал студентам и хорошее общее развитие, расширял кругозор, способствовал совершенствованию творческих данных, — разумеется, если они были у студента… Например, в программе литературного отделения был такой предмет, как «Ораторское искусство» (Public speaking). На практических занятиях студенты выступали перед аудиторией с чтением произведений разных жанров по памяти (выбор авторов произведений был свободным). Сначала каждый выступал с басней, затем шла лирика разных оттенков, далее — эпическое произведение, рассказ, речь и, наконец, — мелодекламация».

Эти воспоминания относятся к 1930-м годам. А вот поэт Алексей Ачаир, один из активных членов ХСМЛ, оставил очень важное для нас свидетельство об этой организации более ранних времен: «Я помню Харбинский союз весной 1923 года, с его отделами юношей и физического развития и очень скромной образовательной деятельностью, выражавшейся в курсах с.-х. машиноведения и автомобилизма, популярных лекциях, двух-трех группах английского языка и небольшой сравнительно библиотеке.

С 1923 года, именно с октября месяца, политика Христианского союза в Харбине делает определенный упор именно на развитие образовательной стороны. Поистине, Образовательный отдел союза становится с этого времени доминирующим. Для типа такой организации, как Христианский союз, подобное нарушение равновесия, пожалуй, и не вполне целесообразно. Христианский союз ставит целью гармоническое развитие человеческой личности в трех или даже четырех направлениях: духовном, умственном, физическом и общественном… С этим соотношением должна считаться и вся организация в ее целом. Однако усиление образовательной работы за эти истекшие десять лет явилось ответом на запрос общества и в то же время ярко отличило Христианский союз в

Харбине от многих и многих других ХСМЛ, которые я посетил во время моей служебной командировки в Южную Маньчжурию, Китай и на Филиппины.

В Образовательном отделе ХСМЛ возникает Школа искусств, Народный университет, Гимназия, Школа коммерческих наук и Иностранных языков и, наконец, Колледж и Сев[еро]-М[апьчжурский] Политехнический институт. Существует, кроме того, Ряд вечерних курсов профессионального характера по различным специальностям. Союз имеет одну из самых больших в городе общедоступных библиотек.

Через все образовательные учреждения союза проводится принцип: наука на службе у жизни. Жизнь выкинула с родной земли массы не только взрослых, но и молодежи и детей, и им необходимо дать образование, достойное их запросов и способностей…

«Бог, Родина и Честность» является идеологическим лозунгом школьников Христианского союза. Семья, Школа и Союз сотрудничают на этом базисе…

Христианский союз в Харбине, как я могу засвидетельствовать, никогда не был и не мог быть ни по принципам, ни по составу его руководителей — антинациональным. Христианский союз никогда не являлся и не может быть политической организацией. Но ХСМЛ никогда не был антипатриотичен. ХСМЛ никогда не был космополитичным в том понимании, которое вкладывают в это определение люди, считающие стремление к международному согласию и миру, общению и сотрудничеству — противоречащим идее национальной защиты. Христианский союз звал все время к пробуждению действительно национального чувства, патриотизма не только теоретического, показного, но и доказанного на примере своей жизни… Мы в эмиграции считаем Христианский союз одной из редких возможностей иметь независимый национальный центр культуры христианского, рыцарского русского братства. Недаром ХСМЛ закрыт на территории СССР!

Преданность Родине? — Да.

Борьба против богоборчества и религиозного безразличия? — Да.

За национальное достоинство? — Да.

За преданность Христовой вере? — Да.

За честность и правдивость, чистоту и порядочность? — Да».

Поистине рыцарское (не только христианское!) восприятие России, терпеливое ожидание будущего, которое оплачено жизнями, кровью, оторванностью от своих корней. И совсем

неслучайно именно здесь, в ХСМЛ, зародилась «Чураевка».

В 1920—1930-х годах поэтов на Дальнем Востоке (здесь имеются в виду и те, кто жил на советском Дальнем Востоке, и те, кто родился в Маньчжурии, и те, кто эмигрировал в эти края в конце 1910-х годов) было, пожалуй, больше, чем где бы то ни было в мире. Может быть, только Париж можно назвать исключением.

Андерсен и Андреева, Хаиндрова и Ачаир, Визи и Етин, Колосова и Коростовец, Крузенштерн-Петерец и Лесная, Логинов и Несмелое, Обухов и Паркау, Перелешин и Резникова, Светлов и Сергии, Тельтофт и Н. Петерец… и многие, многие другие. Когда я думаю о судьбе поэтов «русского» Китая, с болью вспоминаются строки Георгия Иванова:

Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне —
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

Ведь они до сих пор по-настоящему не вернулись, несмотря на издание нескольких солидных антологий в годы перестройки — в них имена поэтов «русского» Китая растворены в огромном количестве поэтов Рассеяния, чьи имена у нас давно на слуху: В. Ходасевич и М. Цветаева, Г. Иванов и Г. Адамович, Н. Берберова и И. Одоевцева, И. Северянин и А. Ладинский, Н. Тэффи и З. Шаховская, З. Гиппиус и Д. Мережковский, Ю. Иваск и Р. Блох… В отличие от них поэты «русского» Китая в наш культурный обиход так и не вошли. И вовсе не потому, что их поэзия слабее или менее выразительна. Просто так сложилась судьба.

Немилосердно.

Несправедливо.

Поэт Арсений Несмелое отступал с армией Колчака через Сибирь, потом некоторое время жил во Владивостоке, а в 1924 году в одиночку перешел советско-китайскую границу.

Иду. Над порослью вечернее
Пустое небо цвета льда.
И вот со вздохом облегчения:
«Прощайте, знаю: навсегда!»

Несмелов писал не только стихи, но и прозу. Свою первую поэтическую книгу он издал в Китае в 1929 году. К 1942 году он опубликовал шесть сборников стихов, печатался в «Современных

записках», в нескольких пражских изданиях, в чикагских и сан-францисских сборниках поэзии, но… так и не «вернулся стихами» к себе домой по сей день. В августе 1945 года в Харбине Арсения Несмелова схватили смершевцы. Его отправили в СССР, где он вскоре умер.

И. Пасынков, оказавшийся в то же время в тюрьме в Гродеково, вспоминает: «На моих глазах в этой камере умер на полу, без всякой медицинской помощи, талантливый дальневосточный и харбинский поэт Арсений Несмелов… Умер от кровоизлияния в мозг, промучившись три дня. Все попытки нас, его однокамерников, вызвать врача через солдат-охранников ни к чему не привели, кроме насмешек».

С судьбой Арсения Несмелова тесно связана судьба поэтессы Нины Завадской. В 1942 году двенадцатилетняя Нина Завадская, дочь известного в Харбине врача, начала изучать теорию стихосложения в кружке Несмелова и в том же году поступила в Литературно-художественный кружок имени Августейшего поэта К. Р. На собраниях кружковцы читали и обсуждали стихи, слушали доклады о творчестве поэтов Серебряного века, о культуре России. По воспоминаниям председателя кружка В. А. Морозова, юная Нина выступила с двумя очень содержательными и серьезными докладами — о поэзии Александра Блока и о символизме. Эти выступления «сделали бы честь любому взрослому. Они, конечно, не являлись самостоятельным исследованием, но обширность привлеченного материала, его умелое размещение и использование говорили о том, что докладчик может, умеет и хочет работать без всякой скидки на возраст».

Нина Завадская была натурой пытливой. На занятиях она все время что-то записывала, собирала все доклады и программы вечеров, вела протоколы встреч. Кружковцы очень полюбили эту девочку.

В 1943-м Нина Завадская умерла от странной болезни, «азиатского тифа». Дочь В. А. Морозова, Г. Логинова, пишет: «Я думаю, что большинство харбинцев знало, что такое был «азиатский тиф» — специально созданная, культивированная болезнь. В 1943—44 гг. ни один японец, да и за редким исключением кто-то из китайцев не заболел этим тифом. А русских он косил, особенно молодых и людей среднего возраста. Старики редко, но все же выживали».

Скорбящие родители Нины Завадской собрали все, что было ею написано, и издали сборник «Светлое кольцо». Большая часть тиража по желанию Завадских была подарена на память о Нине тем, кто знал девочку. В СССР эта книга не попала — по словам Г.

Логиновой, ее невозможно было привезти в страну, так как «на книги харбинского издания был строжайший запрет».

В архиве В. А. Морозова сохранилась фотография Нины, на обороте которой написано рукой ее матери стихотворение, сочиненное девочкой:

Ветер ворвался свежий.
Раздулась шторка окна.
А может быть, просто я брежу!
Я больна, я очень больна!
Лампа светит так ярко,
Что смотреть становится больно.
Мне очень душно и жарко,
Закрываю глаза невольно.
Я была счастлива тоже…
На гроб похожа кровать…
Проспи меня, грешную, Боже!
Я так не хочу умирать…

Трудно, просто невозможно представить себе, что эти стихи написаны тринадцатилетним ребенком!.. Но связь с поэтической традицией Арсения Несмелова, одного из крупнейших поэтов эмиграции, Здесь прослеживается несомненно. Каким поэтом могла бы стать Нина Завадская? В наши дни ей не было бы еще восьмидесяти лет…

В сентябре 1945 года был насильственно репатриирован в СССР и отправлен в Воркутинские лагеря и создатель «Чураевки», поэт Алексей Ачаир. Но ему повезло. Ачаир вышел из лагеря и поселился в Новосибирске. Он умер в 1960 году, в возрасте 64 лет.

Поэтесса Лидия Хаиндрова, член объединения «Чураевка», написала потрясающие своей неизбывной тоской стихи:

Россия, твой ветер привольный
Призывно и мощно поет,
И радостно сердцу и больно,
И просится сердце в полет.
Но поздно! я слишком устала…
Душа каменеет моя.
О гребень девятого вала
Моя разобьется ладья.
И я не дойду — не узнаю
Ни ласки, ни власти твоей
И вздохом тревожным растаю

Средь чуждых китайских полей.

Судьба поэтессы послужила одной из сюжетных линий романа «Отчий дом», написанного ее братом, советским писателем Леваном Хаиндравой (так звучит и настоящая фамилия поэтессы, которую ее отец несколько русифицировал). Об этой семье мы расскажем немного подробнее.

В 1905 году в Харбине было создано Грузинское общество, поставившее своей целью оказание материальной и моральной поддержки грузинам, приехавшим в Маньчжурию. Поначалу их было немного. Позже, после революции, количество грузин в Маньчжурии увеличилось — белогвардейцы, беженцы из России… Общество выдавало пособие самым бедным и неспособным к физическому труду, хоронило умерших, оплачивало лечение. В течение долгого времени председателем Общества был Иулиан (Юлиан) Хаиндров, приехавший в Харбин, вероятно, в 1910 или 1911 году. Человек деятельный, энергичный, Иулиан Леванович принимал активное участие в создании Первой Грузинской аптеки, работавшей на коммерческих началах, в приобретении для собраний Общества и обеспечения жилищем нуждающихся грузин доходного дома в районе Пристани. Но главным его детищем стала Общественная бесплатная библиотека-читальня, Грузинская библиотека, где были книги не только на грузинском, но и на русском, и на иностранных языках. В 1940-х годах библиотеке было присвоено имя Шота руставели. Она была создана еще до приезда Иулиана Левановича в Харбин. В 1917 году торжественно праздновалось ее 10-летие, но она стала едва ли не главным делом его жизни.

У Хаиндрова были сын и дочь, Леван и Лидия. Судьба их сложилась по-разному. Леван вернулся в Грузию, стал известным писателем, автором рассказов и романов, написал воспоминания о маньчжурском детстве и юности, о семье. Дети и внуки Левана Хаиндрова по сей день живут в Тбилиси.

Лидия Юлиановна жила в Харбине, потом в Шанхае, писала стихи, в 1928 году начала печататься, выпускала собственные сборники стихов, участвовала в коллективных сборниках чураевцев и шанхайских поэтов. В Харбине она служила кассиршей в ресторане и, как писал в своих воспоминаниях поэт В. Перелешин, «была своего рода магнитом. У поэтов, включая и меня, просто не было сил пройти мимо кафе и не зайти туда… Если захожий гость не торопился, то Лида рылась в сумочке и извлекала оттуда новые стихи. Писала их много и охотно, так же охотно читала их».

В СССР Лидия Хаиндрова приехала в 1947 году вместе с многими русскими, устремившимися после войны на Родину, что называется, при первой возможности, не задумываясь о том, что может их ожидать в России, хотя по примерам близких и далеких людей было уже достоверно известно, как сложится жизнь на Родине, о которой они так тосковали. Поселилась Хаиндрова в Краснодаре, где в 1976 году вышел сборник ее сгихов «Даты, даты…». Она умерла в 1986 году на 7б-м году жизни.

О Лидии Хаиндровой и Ларисе Андерсен (довольно часто встречается написание Ларисса Андерсон) вспоминает в своей книге «Пересекая границы» Елена Якобсон, встретившаяся с ними в литературном объединении «Чураевка» в начале 1930-х годов: «Царили на собраниях «Чураевки» две молодые поэтессы — Лариса Андерсен и Лидия Хаиндрова. Лариса была красивой, высокой и стройной. Ее прекрасное лицо с серо-зелеными глазами всегда имело несколько отрешенное выражение (мне кажется, она была очень близорука, а носить очки не хотела). Она сама знала, что красива, и принимала ухаживания мужчин так же естественно, как королева принимает выражения преданности от своих подданных. Лидия тоже была довольно привлекательной и имела свой круг поклонников».

Лариса Андерсен родилась в Хабаровске в 1914 году и попала в Харбин позже, чем те, о ком уже шла речь. Став членом кружка «Молодая Чураевка», печаталась в различных периодических изданиях. А еще, по воспоминаниям Ю. Крузенштерн-Петерец, «в течение пятнадцати с лишним лет она была звездой дальневосточной эстрады, танцевала в оперетте, иногда в больших балетных постановках». Позже она переехала в Шанхай, а в 1950-х годах уехала на Таити, а затем вышла замуж и отправилась во Францию, где живет до сих пор в городе Иссанжо.

Стихи Ларисы Андерсен относятся к лучшим образцам русской любовной лирики XX века.

Так старательно на могиле,
Улыбаясь, цисты цветут…
То, что мы не договорили,
Сиротливо блуждает тут.
Вот и я, улыбаясь людям,
Прохожу по земным лугам…
Хороню, что когда-то будем
Все мы в этом безмолвном — «там».
До конца никому не вверясь,
Не страдая и не любя,
Я пройду до последней двери.

Отделяющей от тебя.

Андерсен написала короткое предисловие к книге Ольги Ильиной-Лаиль «Восточная нить», и можно только догадываться, какая горькая и светлая одновременно грусть продиктовала поэтессе строки: «Обнимаю, заранее радуюсь изданию книги по-русски и желаю ему успеха».

Наверное, Господь внял молитве из ее раннего стихотворения «Огоньки… огоньки… огоньки…», заканчивающегося строками:

Научи же меня, без тоски,
Успокоенным сердцем молиться,

— и научил искренне радоваться тому, что хоть кто-то из давних времен ее юности возвращается в Россию, на Родину — стихами, прозой, воспоминаниями.

В мемуарной книге Наталии Ильиной «Дороги» читаю: «В двадцатые годы еще хранилась инерция прежней жизни. Была квартира, скромная, но как-никак трехкомнатная, с ванной, окна выходили в палисадник, и палисадник считался нашим. В квартире этой часто собирались литераторы, заброшенные эмигрантской волной в Харбин: Арсений Несмелов, Леонид Ещин, Всеволод Н. Иванов, Борис Бета… И Сергей Алымов там промелькнул, и Петров-Скиталец… Они ужинали, пили водку, читали стихи — свои и чужие. В те годы квартира моих родителей была центром харбинской литературной жизни: все пишущее, все одаренное непременно проходило через этот дом… Видимо, притягательная сила квартиры объяснялась тем, что литературу мать любила, понимала, у нее был тонкий вкус и чувство слова».

Екатерине Дмитриевне Воейковой-Ильиной харбинские поэты посвящали стихи — разные: шутливые и серьезные, лирические, но непременно такие, в которых тоска по оставленной Родине и надежда на встречу с ней занимали едва ли не самое важное место.

Вот, например, что написал в 1924 году Всеволод Н. Иванов:

Моя пленительная муза,
Вопрос к тебе тревожный есть:
Не суждена ли нам француза
Весьма сомнительная честь.
И после нашей жизни бурной.
Вдали от нам родной страны.

Быть может, будем мы фигурным,
Китайским гробом почтены?
Над нами, может быть, заскачет
Флейт, бубнов пляшущий мотив.
И тело бедное означит
Запутанный иероглиф.
Но почему при мысли этой
Невольно чувствуется страх?
Не жить нам с песней недопетой
В далеких и чужих гробах.
Ведь взор бесстрашно опуская
В татарщины тяжелый сон,
Ты слышишь, муза дорогая.
Ветров над волжских перезвон…
Былые сны тяжки и долги —
Ты настоящее прославь:
Излучины зеленой Волги,
И Кострому, и Ярославль.
О, память, память… Помоги мне…
Еще стихи, еще портрет…
Слился друг с другом в вечном гимне
Вновь повторяемый куплет…
И Византии достиженья —
В рубинах золотой узор.
Кремлевских башен изощренья,
Девичий из-под плата взор.
Лови степную кобылицу,
Поэт. В телегу запрягай.
Вернемся, знаю я, в столицу,
В наш выстраданный сердцем рай.
В страну, где спят в церквах святые,
Где по утрам синее мгла.
Когда везде поют Россию
Заутреней колокола…
Где вы увидите под гребнем.
Что в тусклом серебре виски,
И позабудете в деревне
Года изгнанья и тоски.
И тучною поэта пенье,
Насмешливый, капризный рок.
Когда под волн ночных кипенье
Сверкал вдали Владивосток.

Эти строки в эмигрантском бытии 1920-х годов, так близко — рукой подать! — от потерянной Родины, вызывали очень сильные эмоции. Строки вспыхивали от строк, подобно искрам, чтение затягивалось чуть ли не на всю ночь, потому что о слишком дорогом говорили в этом кружке.

О потерянном рае.

И, естественно, никто тогда и не мог подумать, что тот рай, о котором все они грезили в мечтах, потерян навсегда. А если кому-то и суждено вернуться, то совсем в другое место, менее всего напоминающее рай…

Кто знает, может быть, именно здесь, в этом доме с палисадником, после ужина с водкой, впервые прозвучали из уст Арсения Несмелова строки, наполнявшие душу тоской и отчаянием, которые Наталия Ильина вспоминала не раз в своей жизни:

…И здесь, на самом берегу реки,
Которой в мире нет непостоянней,
В глухом окаменении тоски
Живут стареющие россияне.
И здесь же, здесь, в соседстве бритых лам,
В селенье, исчезающем бесследно,
По воскресеньям православный храм
Растерянно подъемлет голос медный.

В мемуарах «Русская поэзия и литературная жизнь Харбина и Шанхая, 1930–1950», принадлежащих перу Валерия Перелешина, одного из самых известных поэтов «Чураевки», описана жизнь русского поэта в Харбине — молодого, талантливого и нищего. Лишенные Родины, эти молодые люди держались, как за последний бастион, за русскую культуру — они боготворили великих поэтов России и, по словам Елены Якобсон, «не сомневались в том, что они — тоже русские поэты». Поэтические собрания «Чураевки» назывались «Вечера под зеленой лампой».

А тем временем вокруг текла жизнь, полная опасностей и неожиданностей.

Сунгари нередко разливалась, случались наводнения. Лидия Вертинская вспоминает, как «в одно небольшое наводнение мы, дети, повытаскивали наши ванночки и плавали в них, как в лодке, гребя руками. Для нас это было большое развлечение».

В 1932 году, весной, Сунгари вышла из берегов и затопила улицы, серьезно нарушив жизнь горожан, особенно в районе Пристани. Были разрушены магазины, склады, конторы. Люди, лишившиеся крова, искали убежища в других районах Харбина.

Богатые китайские семьи снимали часть домов у русских, менее состоятельные русские искали приюта у знакомых, порой — и у китайцев.

К наводнению прибавились и другие ужасы.

Одним из них стали хунхузы — китайские бандиты, которые похищали людей и требовали с родных выкуп. Название «хунхузы» означало «рыжебородые» — в китайской национальной опере разбойники обычно носили рыжие бороды. В начале 1930-х годов эти бандиты особенно распоясались. Наталия Ильина в книге «Судьбы» вспоминает о похищении хунхузами своего дяди, Александра Воейкова, крупного ученого-биолога.

В августе 1932 года Воейков со своим пятнадцатилетним учеником по имени Слава бродил в окрестностях Сунгари, собирая редкие растения для коллекции. Там их схватили хунхузы и потребовали выкуп от матери мальчика и от сестры Воейкова, Екатерины Дмитриевны, матери Наталии Ильиной.

«Августовским поздним вечером, — вспоминает Ильина, — в дверь нашу постучали, затем вошел молодой китаец, очень опрятный, в голубом шелковом халате, и, сняв соломенную шляпу, поклонился, улыбнулся, протянул моей матери вчетверо сложенный грязный листок… Мать недоуменно развернула его, поднесла к близоруким глазам. И тут же громко, сердито: «Что это? Кто вы такой?» — «Мы — хунхуза», — и китаец улыбнулся скромной, но полной достоинства улыбкой. А на грязном листке карандашом, почерком дяди Шуры, нацарапано: «Катя! Слава и я у хунхузов. Держат в яме…»

…Поразило нас то, что этот молодой и не лишенный элегантности китаец спокойно признавался в своей принадлежности к хунхузской шайке и разгуливал по городу, ничего не опасаясь. А кроме того, похищали обычно людей состоятельных — харбинских коммерсантов, владельцев аптек, магазинов, — при чем же тут наш дядя, у которого ломаного гроша за душой нету?»

На этот вопрос у элегантного бандита сразу нашелся ответ: Александра Дмитриевича Воейкова приняли за кого-то другого, а когда разобрались, решили — не выпускать же его просто так, пусть хоть небольшой выкуп, но дадут! Екатерина Дмитриевна решила перехитрить бандитов и помчалась на следующее утро в японскую жандармерию «за справедливостью». Не тут-то было. Японцы объяснили сестре жертвы, что с хунхузами непременно будет покончено, но потом, а пока у императорской японской армии и так хватает забот, поэтому лучше заплатить требуемый выкуп. Ильины поверили тому, что им сказали. Понадобились годы опыта, чтобы понять: хунхузов не трогали, потому что они

находились на службе у японцев, замешана была и «Русская фашистская партия» — похищали-то в основном русских эмигрантов, бесправных и беззащитных…

Пришлось торговаться. Хунхуз, усмехаясь, снизил сумму вдвое: теперь требовалось внести за Воейкова не тысячу, а всего пятьсот гоби (или китайских даяпов, Наталия Ильина точно не помнила, какая валюта ходила в Харбине в то время), но еще купить сколько-то пар носков и сколько-то пачек сигарет. «Хунхуза подарки любит!» — объявил китаец.

«Дальнейшего память в последовательности не удержала. Видятся отдельные куски… Я покупаю хунхузам дешевые китайские сигареты, десять штук в пачке, на пачке изображение крестьянина в соломенной шляпе и закатанных выше колен синих штанах, крестьянин разбрасывает зерно, сигареты в переводе на русский назывались «Сеятель». Я покупаю носки, нарочно выбирая самые, с моей точки зрения, некрасивые, серые с розовыми полосами, и мне безумно жалко денег и одновременно весело, ибо в голове уже складывается смешной рассказ о том, как я покупала подарки хунхузам… С болью в сердце мама решила расстаться с подарком своей матери — золотое колечко и в платиновых ланках небольшой, но, кажется, хороший брильянт».

Поздней осенью, в ноябрьский день, состоялась встреча где-то за чертой города матери Ильиной и матери Славы с хунхузами — обмен прошел благополучно; пленников привели в той же одежде, в которой они летним днем собирали гербарий, но изодранной в клочья. У Александра Дмитриевича Воейкова обнаружилось воспаление легких, его руки и шея были в язвах — хунхузы, оказывается, имели привычку гасить сигареты о тех, кого они держали в заточении.

Эта история завершилась, действительно, благополучно, в сравнении с другой, о которой рассказывают в своих мемуарах и Наталия Ильина, и Елена Якобсон.

Хунхузы до такой степени обнаглели, что бесправных русских им показалось мало.

«Самым ужасным случаем стало похищение молодого пианиста Семена Каспе, учившегося во Франции и приехавшего в Харбин погостить у отца, богатого ювелира, — вспоминает Елена Якобсон. — За него у семьи потребовали огромный выкуп. Старик Каспе оттягивал, не имея в руках нужной суммы. Тогда бандиты отрезали Семену уши и в аккуратной коробочке прислали отцу, приложив записку с обещанием прислать пальцы Семена со следующей почтой. Старый Каспе имел связи по всему миру, история наделала шуму, но еще до того, как выкуп был

доставлен, местная полиция нашла изуродованный труп Семена».

По свидетельству Н. Ильиной, расследованием занялся служащий французского консульства — Каспе был гражданином Франции. Дотошный следователь выяснил, что бандиты связаны с японской жандармерией. Японцы, дабы сохранить честь мундира, стали изворачиваться, пытались обвинить во всем «Русскую фашистскую партию» — по этой версии, старый ювелир торговал царскими драгоценностями, а патриоты не смогли ему этого простить и отомстили, убив сына…

Существует и другая версия, в каком-то смысле более убедительная.

26 мая 1931 года в Харбине открылся первый съезд русских фашистов, на котором было объявлено о создании Русской фашистской партии. Председателем ее стал бывший генерал, организатор целого ряда диверсионных операций на территории СССР Владимир Косьмин, но реальная власть была сосредоточена в руках группы Константина Родзаевского, сбежавшего в 1925 году в Маньчжурию из Благовещенска. В 1928 году за Константином последовал отец, а мать и две сестры немедленно были арестованы ОГПУ.

Идеолог фашизма, Константин Родзаевский был одержим антисемитизмом и антикоммунизмом. В Харбине он нашел питательную почву — здесь было много военных семей, в которых детям с ранних лет внушали, что придет время и Россия будет нуждаться в воинстве, которое освободит ее от большевизма. Родзаевский окружил себя этими молодыми людьми, их было довольно много в Харбинском юридическом институте, куда он поступил и откуда вскоре был отчислен именно за создание фашистской организации.

«Слухи приписывали Родзаевскому личное участие в похищении людей, — пишет Антон Уткин в газете «Версия». — Говорили, что с некоторыми из заложников он расправился собственноручно. Первое такое подстроенное полицией похищение произошло 11 марта 1932 года, через десять дней после создания Маньчжоу-Го. Жертвой… стал харбинский аптекарь Кофман. За него требовали выкуп в 30 000 долларов. Жена аптекаря смогла найти только 18 000, и расчлененные останки Кофмана оказались во рву, куда сваливали неопознанные трупы, найденные на улицах Харбина.

Через некоторое время газета фашистов «Наш путь» начала травлю одного из богатейших евреев Харбина Иосифа Каспе, обвиняя его в «неправедном обогащении за счет обобранных русских страдальцев» и называя агентом Коминтерна.

На этот раз в руках бандитов оказался 24-летний сын Каспе

Семен — пианист, хорошо известный и чрезвычайно популярный в Европе, приехавший в гости к отцу из Парижа… Фашисты жаждали не денег Каспе, а его крови… И опять молва называла палачом Константина Родзаевского.

Тысячи харбинцев всех национальностей, в том числе и японцы, пришли на похороны Семена Каспе, превратив их в грандиозную демонстрацию. Мировая пресса — от «Правды» до «Нью-Йорк таймс» — осудила убийство. Все это заставило итальянского наемника на китайской службе Амлето Веспа так прокомментировать эти события: «Русские фашисты — пятно на добром имени итальянского фашизма и оскорбление всего, что он демонстрирует миру под руководством дуче».

Обстановка в Харбине становилась все более криминальной. Обращения к японцам были бессмысленны — они во всем винили китайских бандитов, существующие в Маньчжурии беспорядки. Именно под предлогом борьбы с ними японская армия все глубже и глубже проникала в Маньчжурию.

В 1932 году Маньчжурия была захвачена японцами.

Но процесс проникновения японцев в эти земли, постепенное усиление их влияния начались значительно раньше, еще в конце 1910-х годов, когда в Маньчжурию потянулись со всех сторон коммерсанты, банкиры, предприниматели. «Смешение народностей и рас, вывески на иностранных языках, иноземные банки, офисы зарубежных фирм и компаний, иностранная речь на улицах, пестрые флаги, среди которых уже терялся потускневший, утративший у иностранцев былое уважение трехцветный русский…» — пишет Г. В. Мелихов и приводит в качестве иллюстрации стихотворение поэта С. Маманди:

Везде над домами японское солнце,
Подобное клюкве ядреной.
Когда нас немного побили японцы,
Вид клюквы был более скромный.
А где пышной клюквы налет не алеет,
Там вьется штандарт полосатый:
По белому полю полоски краснеют,
По синему звездочки — штаты…
Лишь русского флага, трех цветочки милой.
Нигде над домами не видно…
Сжимается сердце от думы унылой,
Становится больно и стыдно.
На наших знаменах тьма лозунгов гордых,
Кажись бы, не выдумать краше,
Но лозунг одни надо знать бы нам твердо:

Да здравствует родина наша!»
Тогда бы и клюква скромнее алела,
И звездочки мягче мерцали,
И сердце бы русское так не болело,
И флаг бы трехцветный все знали.

Влияние японского капитала в экономике полосы отчуждения становилось все сильнее. Один за другим открывались банки — «Иокогама», «Спеши Банк», «Лункау Банк», «Чосен Банк», «ТоТаку», крупные магазины — «Восходящее Солнце», «Умэхара», «Мацуура и Ко», появлялись японские гостиницы, заводы, ломбарды, парикмахерские, швейные предприятия, прачечные. Г. В. Мелихов отмечает, что «аналогичные предприятия во Владивостоке перед Русско-японской войной служили прикрытием для агентурной работы», то же происходило и в Харбине, где японцы все увереннее внедрялись во все области повседневной жизни полосы отчуждения.

Все труднее становилось найти работу, особенно выпускникам школ, юношам и девушкам без профессии. «Молодые русские не пользуются доверием японских военных, хотя японцы пытаются их вербовать и использовать в своих целях, — писала Ольга Ильина-Лаиль. — Молодежь мечтает уехать, но и это нелегко. Не многим удается уехать, разве что в свободный Китай, но и там устроиться трудно, если нет знакомых».

Внешне все оставалось по-прежнему, жизнь казалась налаженной раз и навсегда, и на первых порах японцев воспринимали как силу, способную избавить от хунхузов (о чем свидетельствуют воспоминания не одной лишь Н. Ильиной), навести порядок в Харбине, помочь в стабилизации жизни.

Между тем город готовился к празднику.

11 — 12 июня 1923 года торжественно отмечался двойной юбилей — четверть века КВЖД и Харбина.

«В литературе, в газетных статьях было много сравнений Харбина с другими городами и столицами мира, — пишет Г. В. Мелихов. — Так что же — Харбин середины и конца 20-х годов — это маленькие Санкт-Петербург, Москва, Чикаго, Париж?

Нет! Я думаю, ему не нужны все эти сравнения. Действительно, Харбин нес в себе некоторые черты этих городов: от Петербурга у него некоторые особенности архитектуры и планировки; от Москвы он взял ее дух, характерную московскую живость, предприимчивость; от Парижа — любовь к развлечениям и модным нарядам; от Чикаго — американскую деловитость,

умение принимать верные решения, ведущие к развитию и прогрессу…

Но и в труде, и в отдыхе русский Харбин был самобытным, совершенно неповторимым городом. Он формировал в этот период свой оригинальный, присущий только ему облик. Делал себя. Создавал свой образ, формировал собственный дух — мужества, стойкости, широкой предприимчивости, знания, свою интеллигентность — все то, что позднее определило его лицо-, целостного кусочка старой императорской России, чудом уцелевшего на китайской земле еще в течение почти 28 лет после революции. Кусочка былой России, как и та, прежняя Россия, — открытого для всего мира, пользующегося всеми достижениями его прогресса и мировой цивилизации. И определило облик его жителей — харбинцев.

И этот уникальный по своей истории, по природе город вошел в историю человеческого милосердия и благотворительности, дав беспрецедентный пример оказания широчайшей гуманитарной помощи — помощи в том числе даже и стороне, с которой Харбин разделяли далеко не остывшие политические страсти и конфликты. Я имею в виду помощь белого Харбина голодающим в России — пусть России советской, но голодающим и умирающим с голода — своим соотечественникам — русским.

Таким город Харбин встречал первый юбилей…»

В этих словах Г. В. Мелихова сошлось очень многое: и восхищение городом своих предков и своей юности, и преклонение перед живой памятью, и попытки определить уникальность Харбина. Трудно не разделить пафос ученого, но хочется сделать некоторое уточнение.

Все, о чем шла речь на предыдущих страницах, как раз и подводит нас к мысли о том, что именно у этого островка Рассеяния была совершенно особая судьба. Те, кто был заброшен в Париж, Чикаго, Прагу, Берлин, приезжали в чужую страну, бежав от большевиков, и хранили не дух покинутой страны, а память о гибели прежних ценностей. В Харбине все складывалось иначе — это был маленький сколок собственного мира; город, построенный русскими очень близко от государственной границы, естественно соединившейся с Китаем с помощью КВЖД, впитывающий в себя, словно губка, духовные и интеллектуальные особенности тех, кого привели сюда извилистые пути Судьбы — людей из столиц и провинции, из Сибири и Поволжья, составлявших единое понятие «Россия»…

Не случайно в популярном фокстроте «Харбинские прелести» были такие слова:

В Европе все изжито,
Опошлено, избито,
Житье же, как во сне,
В одном лишь Харбине!

Говорят, в каждой шутке есть изрядная доля правды. Не один ли из таких случаев перед нами?..

Итак, в июне 1923 года Харбин отмечал свое 25-летие.

К торжествам готовились тщательно. Был издан первый том специального труда Е. Х. Нилуса «Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. 1896–1923», не утративший своей исторической ценности и теперь. Правда, книга вышла из печати только в самом конце июня и была подарена автором высоким чиновникам КВЖД. Был установлен памятник первому председателю КВЖД, Сюй Цзинчэну, казненному во время восстания ихэтуапей в 1900 году. Г. В. Мелихов приводит описание памятника: «Высота памятника (фигура Сюй Цзипчэна во весь рост) вместе с пьедесталом составляла 3,5 сажени (более 7 м). Основой служил обелиск, высеченный из крупных кусков местного серого гранита, отшлифованного, но без полировки. На обелиске установили четыре бронзовых доски, отлитых в литейном цехе Главных механических мастерских КВЖД и поражавших своей тонкой и изящной работой. Две из них — большие — были размещены с северной и южной сторон памятника; на одной высечена поэма, посвященная Сюю, на китайском языке из 300 иероглифов; на другой — надпись, русская, с перечислением отдельных моментов постройки дороги, ее участников и сотрудников Сюя. На остальных двух — маленьких — небольшие посвящения на русском и китайском языках».

Место для памятника было выбрано очень удачно: его установили поблизости от спуска с виадука со стороны Нового Города, на главной дороге, ведущей в Фуцзядянь, которая была переименована в проспект Сюя. Эта дорога тоже спешно достраивалась к празднествам.

Вечером 10 июня была отслужена панихида по умершим строителям и служащим КВЖД, а 11 июня программа юбилейных торжеств началась с молебна в большом фойе здания Железнодорожного собрания, в конце которого провозглашалась «многая лета» руководителям и служащим дороги.

Вообще, программа этих дней была чрезвычайно насыщенной и, как видно из дня сегодняшнего, этот первый серьезный для Харбина праздник фактически стал и последним — спустя всего

каких-то девять лет многое изменится в жизни этого уникального «града Китежа». А тогда, в теплые, радостные июньские дни это был праздник подлинного братства русских и китайцев, делавших на протяжении четверти века одно дело. На торжественном заседании Правления Общества КВЖД председатель Правления доктор Ван говорил о культурном значении дороги для всего края, о том позитивном в жизни и Китая, и России, что стало возможным только благодаря КВЖД. В тот же день состоялась закладка Русско-китайского училища. Вечером в Железнодорожном собрании был устроен «грандиозный раут-спектакль», состоящий из оперы «Паяцы» в постановке оперного ансамбля Харбина, фуршета и танцев (с непременным фокстротом!)…

Китайские и русские газеты тех дней писали, что современная Маньчжурия — это край, созданный объединенными усилиями двух народов, не только дружно работающих на благо одного дела, но и умеющих «сохранить в неприкосновенности свое собственное лицо». В этом китайские и русские журналисты видели залог дальнейшего развития Маньчжурии.

На следующий день в присутствии многочисленных гостей, почетного караула, китайского оркестра, учеников китайских и русских школ состоялось открытие памятника Сюю. Затем началось торжественное заседание Общества изучения Маньчжурского края, в тот же день открылась Юбилейная выставка КВЖД, которая явилась своеобразным отчетом о влиянии дороги на жизнь края — «энергией интеллекта и мужеством труда» называли эту выставку газеты Маньчжурии.

Выставка была настолько грандиозна, что не уместилась в здании Московских торговых рядов, часть ее заняла незастроенную площадку напротив: здесь установили палатку И. Я. Чурина, где можно было отведать чай, очищенный новой машиной фирмы, и купить этот чай по весу.

Однако «…центром внимания на этой площадке был не чай, — пишет Мелихов, — а два павильона водочных заводов фирм «Лоу Сюй-Панцзы» и «Бородин и Таката». В первом был устроен сложной конструкции фонтан, в котором вместо воды выбрасывалась струя самой настоящей водки; а «Бородин и Таката» соорудили для рекламы своих водочных соблазнов из собственных оригинальных бутылок миниатюрную копию Эйфелевой башни.

Комментируя экспозицию этих двух павильонов, журналист с иронией отметил, что она создает неизгладимое впечатление, но если судить только по ним, то может создаться весьма своеобразное представление о задачах и достижениях

маньчжурской промышленности…».

Вечером 12 июня в здании Коммерческого собрания состоялся праздник, посвященный собственно юбилею города. Сначала, как положено, произносились речи — о том, что расцвет Маньчжурии стал возможен благодаря совместным усилиям китайцев и русских, затем был роскошный банкет и концерт с участием лучших харбинских артистов.

Праздник на этом не завершался — на следующий день гости выехали на курорт Имяньпо, где тоже отмечался юбилей Харбина и КВЖД; через день они вернулись в город, где вновь состоялся молебен, произносились речи, был устроен завтрак, бесплатный спектакль и концерт для всех харбинцев. В газете «Русский голос» было опубликовано выступление инженера Мыслима, сказавшего, что создание КВЖД — «великое русское дело, обильно политое русским потом, русской кровью и осыпанное русским золотом». Но это русское дело «принесло ценные плоды Китаю и другим государствам, и в этом деле отразились широта души и размах русского народа».

Разумеется, говорилось все это от души, в каждом слове звучала гордость за свою страну, но… кто поручится, что подобного рода высокие, пафосные речи не провоцировали на тот внутренний разлад, который все острее и сильнее сказывался в российско-китайских отношениях и в конечном счете позволил Японии захватить Маньчжурию?..

Очень скоро стало очевидно, что той старой России, которую сохраняли в себе, в своем образе жизни и быта харбинцы, уже давно нет. Любой остров является частью суши. Любой, даже небольшой островок Рассеяния не может существовать изолированно от мира с его противоречиями, конфликтами, страстями. И тем более остров, на котором в 1923 году обитало полмиллиона жителей — в основном русских…

Прошло чуть больше года, и 2 октября 1924 года рисоводство КВЖД получило первое официальное сообщение о передаче дороги в совместное советско-китайское управление.

Переговоры об этом велись весьма продолжительное время. Никто и помыслить не мог, что все будет развиваться так стремительно. 2 октября руководство КВЖД узнало, что на следующий день, 3 октября, в Харбин прибудут китайские члены уже созданного Распорядительного комитета и в тот же день приступят к исполнению своих обязанностей. Китайцы оказались проворнее — советская сторона еще не была готова к полной смене бывшего руководства КВЖД. Здесь, в Харбине, никто не был готов к этой смене — наоборот, готовы были отстаивать прежних работников, которые, как показал опыт, блестяще

справлялись со своими обязанностями.

4 октября 1924 года вышел сенсационный номер газеты «Заря», в котором делались прогнозы на будущее. Заголовки и подзаголовки буквально кричали: «Китайская дорога в руках советско-китайского управления», «Вчера Правление и Управление Китайской дороги — арена чрезвычайных событий, носящих не только местный, но международный характер», «Дни, подобные вчерашнему, Китайская Дорога не знала за все 25 лет своего существования», «Переход дороги из банковско-китайского в советско-китайские руки», «Сложение старым составом Правления своих полномочий», «Увольнение крупнейших лиц администрации дороги и назначение новых», «Арест управляющего дорогой Остроумова и начальника Земельного отдела дороги Гондатти»…

В своей книге «Белый Харбин» Г. В. Мелихов приводит рассказ ведущих харбинских журналистов А. Арнольдова (Виктор Сербский) и М. Бибинова (М. Рокотов): «Утро 3 октября 1924 года. Свежий холод первого заморозка и червонное золото осеннего солнца. Встречают мукденских гостей. Последние распоряжения — и из парадной комнаты харбинского вокзала выходит инженер Остроумов.

Он в синем пальто-клеш, в серой поярковой шляпе, в серых гетрах, с серыми замшевыми перчатками в руке.

В этот момент скромно проходит в буфет первого класса его будущий преемник Иванов.

Подходит поезд. Пульман первого класса, № 23. Доктор Хэ Остроумову:

«Хаудуюду?»

И вдруг внезапной толпой сбоку: главноначальствующий Чжу Циньлан, генерал Чжан Хуансян, генерал Вэн и другие.

Выходят китайские члены Распорядительного комитета. Остроумов им передает свои визитные карточки.

Каша рукопожатий, взаимных поклонов, передаваемых из рук в руки карточек.

Многие приехавшие, даже китайцы, — люди новые и не знакомы друг с другом. Затем все кучкой движутся к парадной комнате.

В эту минуту рослый и представительный Иванов подходит к ген. Ян Чжо, как к доброму своему знакомому, и дает ему две карточки:

«Для г-на Юань Цзинькая и Вам»…

Будущий «Эн» в отличном летнем пальто, в свежей светло-серой шляпе. У него открытое моложавое лицо блондина, на верхней губе подстрижены усы: облик простой, чувствуется в себе

уверенность и полное самообладание.

Все входят в парадную комнату.

На круглом столе обычное: тяжелые вазы, нагруженные фруктами, печеньем, дымится в сверкающих чистотой стаканах — горячий чай.

Все переходят с места на место, разговаривают, совещаются — никто не берет на себя инициативу пригласить к столу.

Иванов, обведя всех вопросительным взором, проходит к выходу.

Среди китайцев — Данилевский.

— В одиннадцать часов? Да, в одиннадцать…

От входа налево, в углу, у окна стоит один Б. В. Остроумов. Безучастный, замкнутый, безмолвный. Это была его привычка прежде, всех объединять, веселить, дирижировать общим настроением.

Сегодня не то.

Еще несколько минут тягостного недоумения.

Наконец, Остроумов бросает через головы Данилевскому:

— Ну что, Сергей Иванович, они не будут чай пить?

— Очевидно, нет, — глухо отвечает инженер Данилевский.

Остроумов обращается тогда к группе журналистов:

— Всего хорошего, господа! — и быстро уходит».

Тем временем в Правлении дороги готовятся к встрече. Она начинается в 11 часов 15 минут и продолжается не более пяти минут, в течение которых прежнее Правление распускается и формируется новое. Впрочем, его не надо формировать — в зачитанной на совещании телеграмме маршала Чжан Цзолиня (путем сложных интриг этот маршал пришел к власти в 1917 году, затем его права потеснило коалиционное правительство, но с первой половины 1920-х годов и до 1928-го, когда японцы организовали покушение на Чжан Цзолиня, он участвовал во всех событиях и военных действиях на территории Маньчжурии) все фамилии названы. Из прежнего высшего административного состава КВЖД в Распорядительном комитете остаются Данилевский, Юань Цзинькай и генерал Ян Чжо. Через несколько минут прибывает новый вице-консул СССР в Харбине господин Дяткович, начинается заседание нового Распорядительного комитета, на котором зачитывается тронная речь нового председателя Баогуйцина:

> «Сегодня день открытия функций Распорядительного комитета и ревизионного комитета Китайской Восточной железной дороги. Произошли реорганизация и перемена в деловой обстановке. Я назначен председателем

Распорядительного комитета, но казенные дела временно задержали меня в Мукдене. Весьма сожалею, что лишен возможности лично присутствовать в день открытия функций Распорядительного и ревизионного комитетов. Председательствование за меня поручаю члену Распорядительного комитета Юань Дзинькаю. Состоявшееся подписание дружественного соглашения открывает совместную дружественную работу на бесконечное счастье Китайской Восточной железной дороги. Приветствуя в этот день Распорядительный и ревизионный комитеты железной дороги двух правительств, я желаю многолетней упешной работы.

Председатель Распорядительного комитета, совмещающий должность главноуправляющего делами Общества Китайской Восточной железной дороги (дубань)

Бао Гуйцин».

В это же время Остроумов расстается с должностью Управляющего КВЖД в здании Управления на Большом проспекте. Он тоже произносит речь, воспроизведенную не только в газете «Заря»:

«Ну что ж, друзья мои, около четырех лет мы боролись за Китайскую дорогу, и эту работу я направлял. В то время дорога была оторвана от России.

Теперь Россия пришла. Вы знаете, что в Пекине и Мукдене состоялось по этому поводу соглашение, а сегодня в 12 часов дня первое заседание Распорядительного комитета, которое заканчивается к вечеру, и во главе дороги будут поставлены новые лица.

Я рад, что вы собрались здесь, и, не будучи в состоянии долее руководить вами, я могу поблагодарить вас за ту колоссальную работу, которую мы вместе с вами произвели.

Перед тем как мне приехать сюда, я наметил план работы и должен сознаться, что с вами мне удалось осуществить его гораздо легче, чем я думал.

Мы работали с вами в самый острый период после тяжкой войны и революции, в период партийной, политической борьбы, и я с гордостью могу сказать, что мы в целости донесли достояние России и Китая до сегодняшнего дня.

Мы сберегли то богатство, которое приобретено великим соглашением графа Витте с Ли Хунчжаном, и Китайская дорога по заключению всех специалистов является далеко не худшим звеном Великого Сибирского пути. Но самой главной ценностью

Китайской дороги является ее личный состав.

Когда я принимал дорогу, я потребовал, чтобы мне было положено на стол 3 миллиона и заключен 20-миллионный заем.

Однако ни копейки дано не было.

И все же свыше 20 тысяч служащих и рабочих имели на дороге свой кусок хлеба. Вы знаете, какое количество самых разнообразных учреждений содержалось за счет Китайской дороги. Во всей той работе, которая сделана, в вашем лице я видел честных и энергичных сотрудников. Может быть, за время нашей совместной работы и были некоторые несправедливые требования, особенно в начале, но вы сами понимаете, что чрезвычайные обстоятельства влекут за собой и чрезвычайные меры. Я сам поражался той выносливостью, с какой вы несли эту работу, выполняя все мои требования.

Вы служили не мне, а своим родинам, России и Китаю, и горжусь, что в этом деле служения России я был во главе вас.

При моих переговорах с местными представителями советской власти, теперь уж это дело прошлого, я всегда указывал им на ваши заслуги и просил беречь личный состав Китайской дороги как главное ее богатство.

Сегодня я расстаюсь с вами. Кто знает, быть может, судьба еще столкнет нас. И где бы и когда бы это ни произошло, я буду рад отнестись к каждому из вас от мала до велика, как к другу, и в трудную минуту протянуть руку дружеской помощи.

Теперь такой же плодотворной работы от вас ожидает новая Россия. Передавая ей вас, я передаю ей то, что ей так необходимо.

Желаю вам полного успеха в работе и благополучия в жизни.

Большое, большое спасибо!»

На эту речь присутствующие ответили долгими аплодисментами. А позади Остроумова уже стояли китайские полицейские. Н. Гондатти проводил их в кабинет Остроумова, чтобы тот мог спокойно завершить свою речь, потом Гондатти вежливо предложили спуститься в свой кабинет, где его уже ждали другие полицейские. Борис Васильевич Остроумов и Николай Львович Гондатти, верные служители старой России, были арестованы и увезены в полицейское управление.

Так новая Россия «принимала дела» у России старой…

5 октября в здании советского Генерального консульства, открывшегося в Харбине, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага СССР.

О судьбе арестованных Гондатти и Остроумова ничего точно известно не было. Позже Чжан Цзолинь признался, что арест был осуществлен под давлением советских дипломатов. 11 месяцев ни

в чем не повинных людей продержали в заключении, безуспешно пытаясь найти на них какой-нибудь компромат. Все дела КВЖД были в образцовом порядке, ничего криминального вменить Остроумову и Гондатти не удалось, и они были освобождены.

За время, проведенное этими людьми в заключении, в Харбине изменилось буквально все. Было введено военное положение, хотя китайские власти всячески пытались подчеркнуть, что сделано это вне какой бы то ни было связи с происходящими на КВЖД событиями; советские чиновники стали искусственно развивать конкуренцию с японцами. Это привело к осложнению отношений и к тому, что, начав строить соперничающие с КВЖД линии, японцы фактически заблокировали Китайско-Восточную дорогу и впоследствии заставили СССР уступить свою долю прав правительстну марионеточного государства Маньчжоу-Го.

Харбин. Новый город. Гарнизонная церковь.

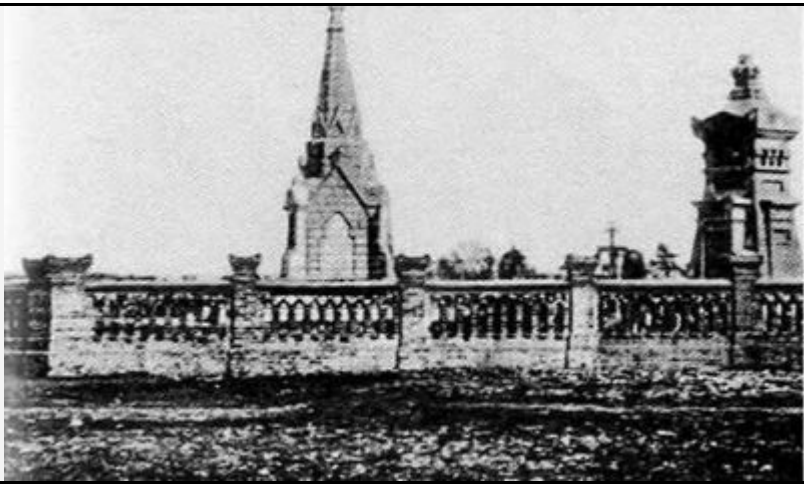
Александр Андреевич Бородин. Харбин.

Пелагея Ефимовна Бородина с сыном Володей. Харбин.

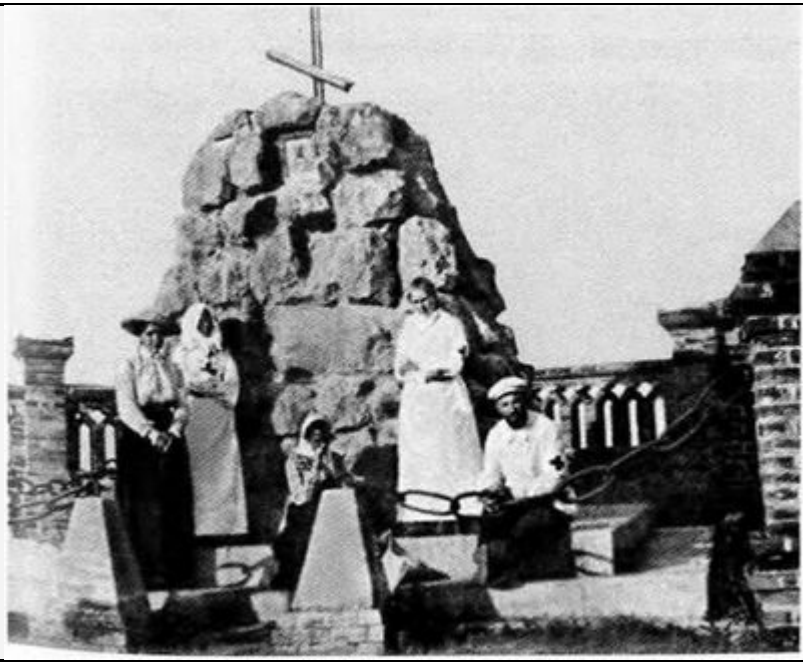
Илья и Яков Бородины. 1917 г.

Семья Меньшиковых. 1914 г.

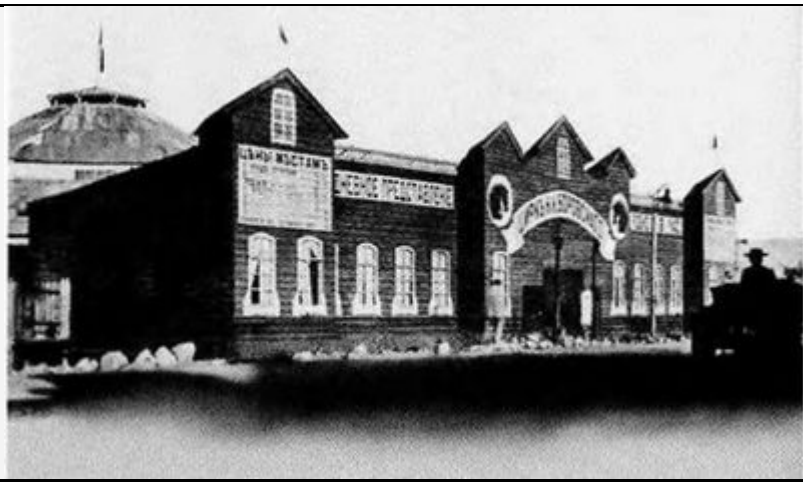
Наталия Гурбатова. Маньчжурия. 1915 г.



Харбинское кладбище с братскими могилами.

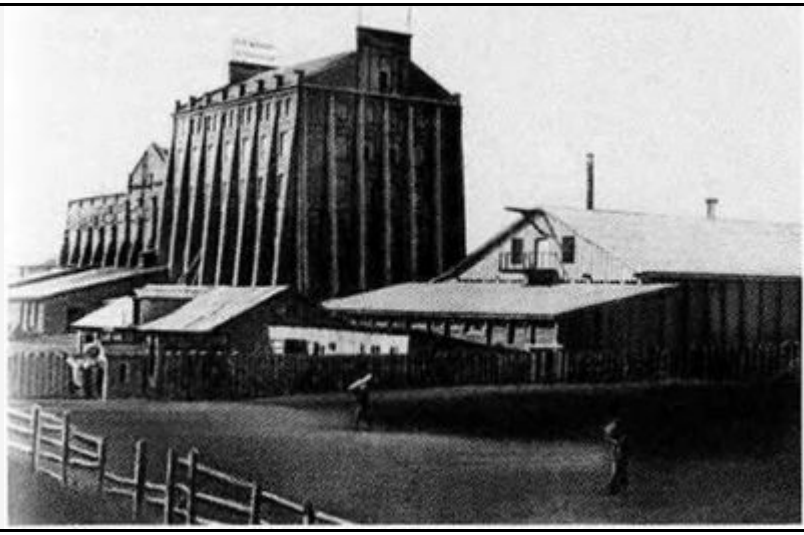


Памятник на братской могиле.

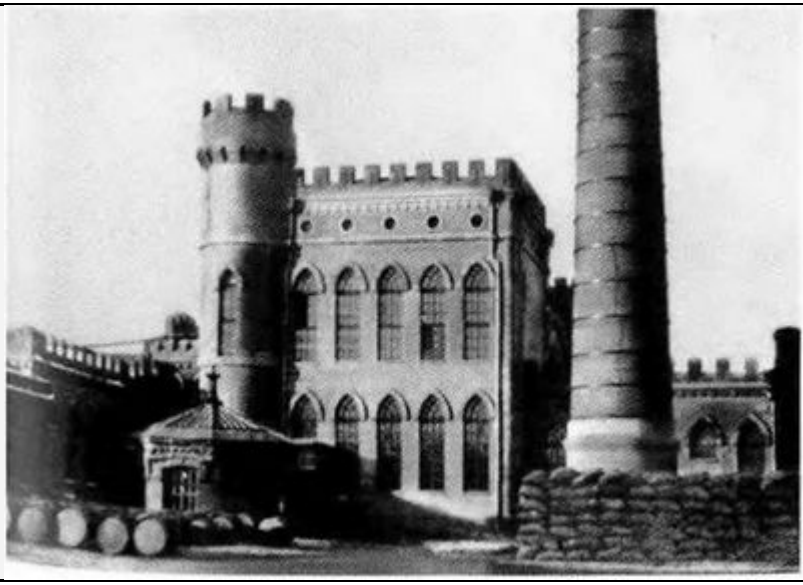


Харбин. Цирк Боровскою.

Харбин. Китайская улица, угол Биржевой.



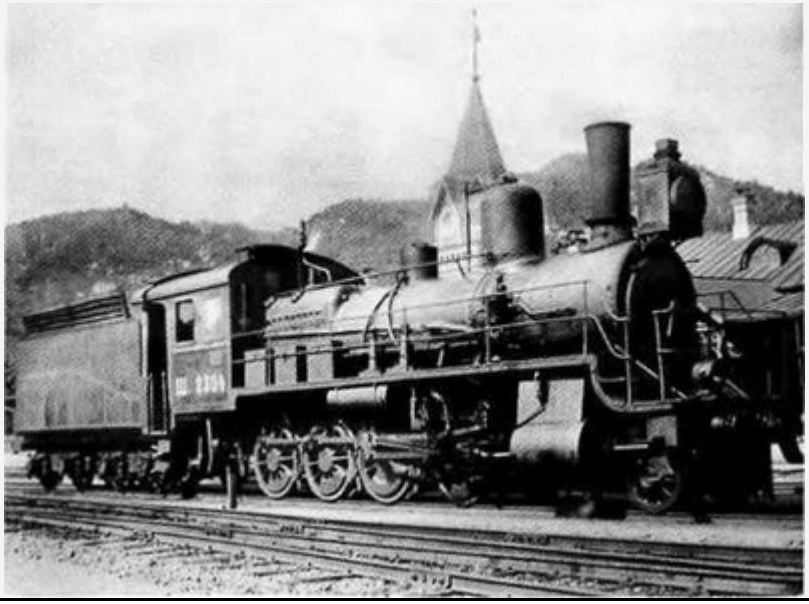
Харбин. Товарищество «Сунгарийские мельницы».



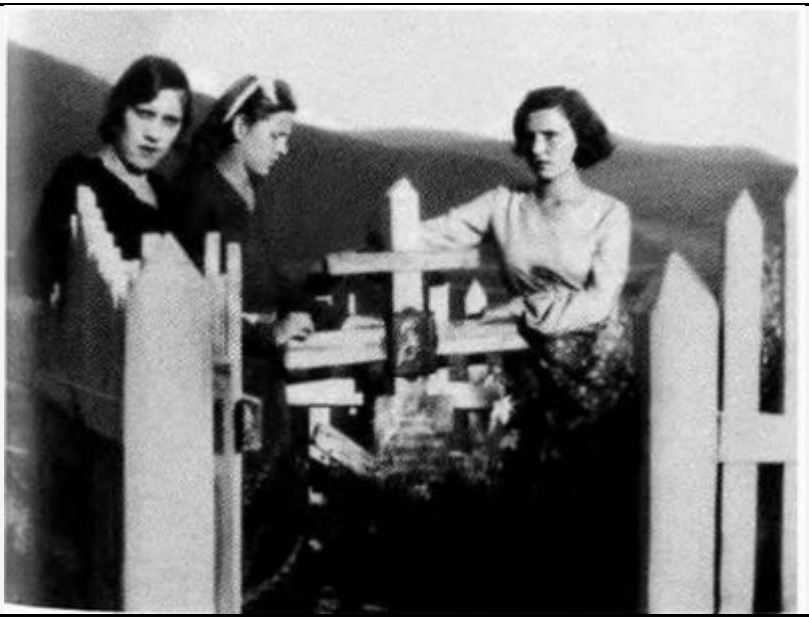
Миртовой завод М. А. Бородина в Харбине.

Зинаида Бланкман (Бородина) перед отъездом в Харбин.

КВЖД. Станция Бухэду. 1930 г.



Юлия и Зинаида Бланкман.



Сёстры Бланкман на могиле отца.

Ханьдаохэньцзы. 1932 г.

Китайский торговец.

Харбин. Сапожная мастерская.

Харбин. Китайская улица. Наводнение. 1932 г.

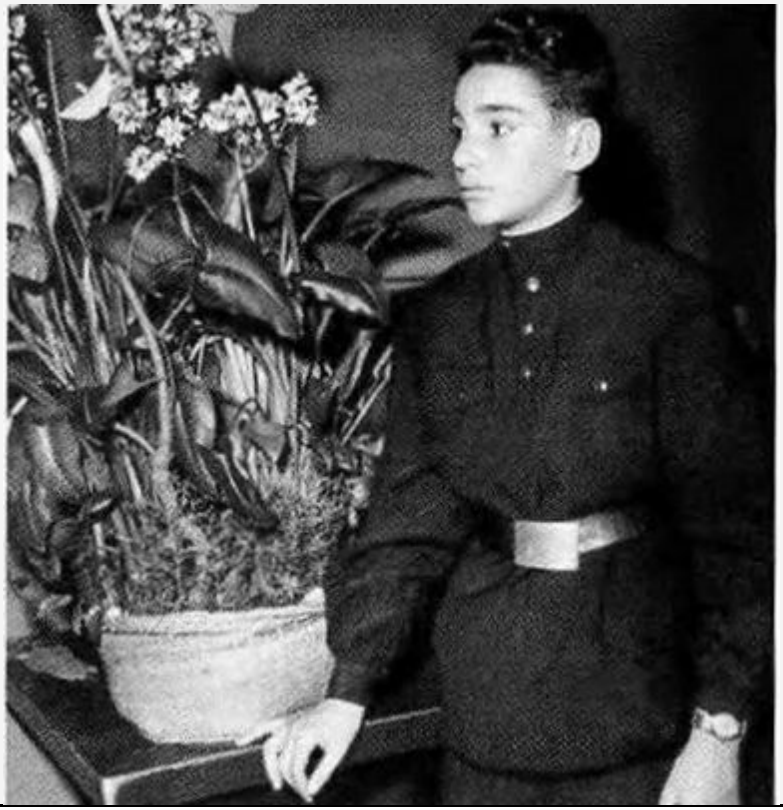
Харбинский фотограф.

Харбин. Пляж на Сунгари.

Свято-Николаевский храм (Кафедральный собор) в Харбине.

Благовещенский собор в Харбине

Свадьба родителей Григория Гоберника Якова Григорьевича и Раисы Абрамовны. 1941 г.



Григорий Гоберник, выпускник харбинской школы.

1961 г.

Учителя и девятиклассники.

1960 г.

Русская Пасха в Харбине.

Рождество в Харбине. 1960 г.

Остроумову предложили работу в Америке, но он «предпочел остаться в Китае, где, по его мнению, поле деятельности грандиозно, — пишет Г. В. Мелихов. — Он принял предложение У Цзиньшэня возглавить постройку железной дороги от Харбина на Хуланьчэн-Бэйтунлинцзы-Хайлун, успешно построил ее, стал советником по путям сообщения у мукденских властей, сделал еще много полезного для Китая.

Ему одному из первых китайская часть Правления КВЖД выплатила полагавшееся жалованье и заштатные, задержанные советской стороной, в сумме более 11 тысяч золотых рублей…

Наступало время больших перемен, коснувшееся не только судеб всей эмиграции, но и каждого россиянина в Китае…».

Так всего через несколько дней харбинское население оказалось в принципиально иных условиях: социальных, психологических, а многие — и общественно-политических.

Рушился налаженный быт, рушилось ощущение стабильного существования русского города в ближнем зарубежье. Это еще не был конец русского Харбина, но было тревожное предвестие времен, когда жизнь переместится в Шанхай…

В 1928 году маршал Чжан Цзолинь попытался вернуть права на железную дорогу, которые он признал D 1924 году за Советской Россией. Это привело к столкновениям на советско-маньчжурской границе, а вскоре Чжан Цзолинь был убит взрывом бомбы. Этот террористический акт был явно совершен японцами, — растущая власть маршала доставляла им немало проблем. После смерти маршала Чжан Цзолиня властелином Маньчжурии стал его сын, Чжан Сюэлян, восстановивший права Советской россии на КВЖД. Инциденты на границе продолжались, и японцы не могли не воспользоваться этим.

Советский востоковед профессор Д. Позднеев оставил воспоминания об отце и сыне, из которых со всей очевидностью следует, что Чжан Цзолинь, хотя и окружал себя иностранными советниками и военными специалистами, среди которых было немало русских эмигрантов, не поддавался западному влиянию и строго соблюдал традиционные китайские обычаи. Сын старого маршала (по определению ученого, «крон-принц Маньчжурии») вел себя прямо противоположно. Чжан Сюэлян увлекался лаун-теннисом, скачками, играл в бридж и покер, любил танцы и даже был удостоен первой премии на конкурсе европейских танцев в Тяньцзине. Судя по воспоминаниям, таким было в подавляющем большинстве молодое поколение китайской элиты — последний император Китая Генри Пу И постоянно жил в Тяньцзине, не пропускал новых фильмов в кинематографе, занимался велосипедным спортом, вместе с женой и наложницей непременно принимал участие в танцевальных вечерах.

Повседневная жизнь менялась стремительно; не только жизнь «русского» Китая, но древней страны вообще — все большую роль играли иностранные концессии, все ближе становились отношения с русскими эмигрантами. И им было что терять.

Вновь терять, после того, как слишком многое было потеряно вместе со старой Россией…

Г. В. Мелихов пишет, что «к началу 1925 г. у российских владельцев в одном Харбине, благодаря их трудолюбию, настойчивости и предприимчивости, уже имелось: 5 коммерческих банков, 4 тепловые электростанции, 8 паровых мельниц, 66 заводов и фабрик (в том числе 10 водочных), более 260 различных мастерских, 12 транспортно-страховых компаний, 25 предприятий оптовой торговли, 44 торговых склада (в том числе 11 лесных), около 100 промтоварных и 180

продовольственных магазинов, более 150 предприятий общественного питания, 3 театра, 8 кинотеатров, 25 типографий и издательств, 32 гостиницы, 66 аптек, 34 книжных и писчебумажных магазина, около 165 предприятий различных коммунальных услуг и пр., и пр. — всего более 1200 производственных, торговых и финансовых предприятий, культурных и иных учреждений, принадлежавших российскому капиталу.

Цифры, которые можно было бы назвать фантастическими, не будь они, повторюсь, совершенно реальными!»

Речь идет лишь о Харбине. Но никто не подсчитал, сколько же было создано эмигрантами на всей лилии КВЖД, в таких крупных городах, как Гирин, Чанчунь, Тяньцзинь, Мукден, Дайрен, Порт-Артур… А еще есть вещи, которые невозможно сосчитать, взвесить, упорядочи ть в некую схему: энергия и мужество людей, которых советская Россия выдавила за свои границы, чтобы они погибли в безвестности, а они, собрав силы и начав с нуля, добились фантастических результатов. И не только энергия и мужество — воля к жизни, устремленность к созиданию. Ведь не только ради собственного материального блага трудились эти люди — очевидно из воспоминаний: все они, такие разные, верили в то, что придет время и Россия вспомнит о них.

Вспомнит и — раскается в содеянном…

Потому и строили так усердно и так страстно маленький кусочек России в далеком от нее и таком близком городе Харбине.

В 1929 году на КВЖД возник советско-китайский конфликт из-за управления дорогой. В каком-то смысле он был спровоцирован японцами, все больше внедрявшимися в Маньчжурию, но было достаточно и внутренних разногласий.

Советское правительство потребовало, чтобы все граждане СССР, работавшие на дороге, начали забастовку. Штрейкбрехерство определялось как антисоветский поступок.

«Я жила в своем мире и не замечала того, что происходит вокруг, не заметила и начала тех событий, которые позже изменили мою жизнь, — вспоминала Елена Якобсон, и, думается, то же самое могли бы сказать многие из ее сверстников. — … Мирная жизнь в Харбине нарушилась, семьи разделились по политическим убеждениям. В одной и той же семье муж мог бастовать, в то время как жена продолжала работать. Школьники тоже должны были участвовать в забастовке: нам не велено было ходить в школу. Некоторые оставались дома, другие шли в классы. Многие работники железной дороги не имели советских

паспортов, и советское правительство призывало всех получить советское гражданство. Кто-то соглашался на это, другие же предпочитали оставаться «эмигрантами». Мой отец отказался участвовать в забастовке. Как врач он считал невозможным оставить больницу и пациентов. Я продолжала посещать уроки, а мама заменяла у нас в школе учительницу биологии.

После того как конфликт был улажен, советское правительство отомстило тем, кто оказался «нелояльным». На смену всем, кто отказался получить советский паспорт, из Советского Союза привезли новых рабочих… Для города начались новые времена — безработица, неуверенность, горечь и даже отчаяние».

Но, наверное, главным из тех разнообразных чувств, что испытывали в то время харбинцы, была все-таки растерянность: ведь они надеялись, что здесь, в городе с «руссейшим обликом», все останется прежним. Суверенный островок старой, дореволюционной России сохранится в неприкосновенности, какие бы ветры ни бушевали в Советском Союзе — стране совершенно новой, незнакомой, опасной. Здесь, в Харбине, жили другими опасениями — боялись хунхузов, пытались худо-бедно примириться с все возрастающим японским влиянием, отдавали себе отчет в том, что так или иначе жизнь будет меняться, но не думали, что именно так.

Не верили, что «рука Москвы» дотянется до этих отдаленных мести многим в буквальном смысле слова сожмет горло до судорог…

Елена Якобсон вспоминает, что очень резко изменилась в эти дни атмосфера в школе: постепенно возвращались дети, чьи родители бастовали, их встречали на уроках как героев, тех же, кто продолжал учиться в тревожное время, считали предателями. В считапые дни школа стала совершенно советской по духу — «на нас давили и пытались заставить «заклеймить» своих родителей, если они не участвовали в забастовке. Классными старостами выбирались молодые коммунисты… Они утверждали, что мы предали свою страну и, следовательно, потеряли все свои права… Некоторые учителя тоже вели себя по отношению к нам злобно и презрительно».

Особенно отличались этим новые учителя, приехавшие из Советского Союза взамен уволенных небастовавших. Постепенно произошли изменения и в школьной программе: предметы стали преподавать в свете марксистско-ленинского учения, с точки зрения классовых интересов, классовой борьбы. Любимые литературные герои «пересматривались» и переоценивались, русская история корректировалась в соответствии с

революционными завоеваниями…

Как уже говорилось, в 1925 году в Харбине возникла фашистская группировка Константина Родзаевского. На первых порах она была довольно слабой, совершала антисемитские вылазки, провоцировала уличные драки и мелкие беспорядки, 7 ноября и 1 мая регулярно устраивая демонстрации у советского консульства. Но события, происходившие на КВЖД, позволили этой группе усилиться. Японцы предложили Родзаевскому свою финансовую и политическую помощь: русским фашистам выдали форму, сапоги, теперь они открыто маршировали по улицам Харбина, приветствуя друг друга фашистским взмахом. Популярность группы Константина родэаевского возрастала — какое-никакое, а это было реальное противостояние коммунизму.

Родзаевский составил программу Русской фашистской партии, которая предрекала неминуемую гибель советского режима и обосновывала глубоко национальную природу фашизма — среди предшественников называли московского князя Ивана Калиту, а также шефа московской полиции начала XX века Сергея Зубатова.

По версии Антона Уткипа, японские спецслужбы связались с Родзаевским незадолго до оккупации Харбина. Русские фашисты понадобились не столько для шпионажа и диверсий в СССР, сколько для более насущных пока дел — распространения наркомании, проституции, для вымогательства денег. «То, что начиналось как политическое движение, — пишет Уткин, — стало постепенно вырождаться в организованно преступность, а РПФ становилась частью контролируемой японцами маньчжурской мафии».

К середине 1936 года фашистская партия заметно окрепла. Численность ее возросла, у нее появились свои издания, она вела пропаганду в школах. В Цицикаре у нее была своя радиостанция, вещавшая на СССР. Русскими фашистами начали интересоваться в Риме и Берлине. Готовились к «боевому крещению», и оно не заставило себя долго ждать.

В начале ноября 1936 года группа русских фашистов, прошедшая ускоренный курс обучения диверсионной работе, переплыла Амур в районе Благовещенска и начала нападать на людей, другая такая же группа перешла границу в районе разъезда 86 (будущей станции Отпор) и прошла по шпалам 400 километров до Читы. Здесь 7 ноября, смешавшись с демонстрантами, фашисты начали разбрасывать листовки, в которых обличались преступления Сталина. По иронии судьбы арестованы были демонстранты, у которых в руках оказались эти листовки, а харбипскпе фашисты благополучно скрылись…

В книге Владимира Варшавского «Незамеченное поколение» рассказывается, в частности, о том, как примерно в это же время молодежь русского происхождения формировала во Франции фашистскую партию. Чем же так привлекала к себе молодежь фашистская идеология?

«В любом политическом движении, созданном эмигрантскими сыновьями, мы находим в том или ином сочетании идеи «нового средневековья», евразийства и национал-максимализма, — пишет В. Варшавский. — Но, конечно, еще сильнее влиял «дух времени» — могучее притяжение фашистской революции. Как когда-то социализм увлекал их отцов, фашизм увлекал «потерянные поколения» европейских молодых людей обещанием возможности принять участие в огромном и творческом деле политического и социального преображения».

Идея преображения своей далекой Родины была самой привлекательной и казалась абсолютно реальной. Японцы сразу же разглядели в русских фашистах одержимость и готовность к борьбе, которые были им необходимы в тот исторический момент.

Японские власти в Маньчжурии нередко использовали русских фашистов в своих интересах, тем более что организация росла, к ней примыкали не только молодые, но и взрослые люди, часть университетских профессоров гоже прониклась фашистской идеологией. Между тем некоторые преподаватели высших учебных заведений Харбина совершенно серьезно полагали, что революция поможет «вымести и очистить мир». В частности, так считал известный в Харбине юрист Н. В. Устрялов, преподаватель на юридическом факультете, где училась Елена Якобсон.

«Этот красноречивый, обладающий даром убеждения оратор возглавлял политическое движение «сменовеховцев», пересматривавшее октябрьский переворот в новом свете и призывавшее к объединению «старой» и «новой» России», — вспоминает Елена Якобсон лекции и острые полемические статьи профессора в эмигрантской печати. А потом комментирует: «… Устрялов разделил судьбу многих своих современников: он и его семья исчезли в одном из советских концлагерей».

Положение семей «предателей», не поддержавших призыв советского правительства бастовать, резко изменилось — ухудшилось. Кое-кто из них, подобно отцу Елены Якобсон, решил, что наступило время расставить все точки над i — отослал паспорта в консульство и отказался от советского гражданства. Таким образом, люди выбывали из советской общины Харбина и — оказывались изолированными. А потом — естественно — стали сбиваться в группки.

На едином некогда острове Рассеяния началось расслоение: разрыв с советской общиной отнюдь не означал мгновенного приятия эмигрантскими кругами. К «бывшим советским» эмигранты относились с подозрением и осторожностью — боялись провокаций, не доверяли…

В сущности, именно это разделение и обозначило начало конца «русского Харбина».

Обитатели «руссейшего» города вдруг осознали, что старая Россия, суверенным островом которой они себя ощущали, уже не существует, а той новой России, что возникла на обломках старой, они просто-напросто не знают. Ностальгическое чувство, цементировавшее их жизнь здесь, в Харбине, начало давать трещины. Из писем от родных и друзей из Москвы, Ленинграда, российской провинции они с ужасом узнавали о новых порядках, о новом образе жизни: об очередях абсолютно за всем, о переполненных трамваях, о неубранном снеге на улицах, о перелицованной одежде, о страхе, который поселился в сердцах людей. И эти две России никак не соприкасались друг с другом, воспринимались как две совершенно разные страны.

Однако кого-то еще грели воспоминания о новой России. Среди них была русская актриса Катерина Ивановна Корнакова. Судьба этой женщины в каком-то смысле явилась абсолютно знаковой для эмиграции вообще и для Харбина в частности.

В Харбине находилась известная на весь мир транспортная фирма «Бриннер и К». Семья Бриннеров, образовавшаяся в результате брака швейцарца и русской, была состоятельной: три брата и сестра владели концессией в Тетюхе под Владивостоком, а после отмены концессий все Бриннеры покшгули Советскую Россию. Два брата и сестра с семьями оказались в Харбине, один из братьев в Дайрене. Борис Юльевич Бриннер вскоре оставил семью, жену Марию Дмитриевну и детей — сына Юлия и дочь Веру, и женился на актрисе Московского Художественного театра Катерине Ивановне Корнаковой. Они жили поначалу в Москве, затем в Лондоне, а потом приехали в Харбин.

Вот и еще раз задумаешься над причудливыми играми судьбы!..

Катерина Корнакова, бывшая жена Алексея Дикого, в 1920-е годы была любимицей театральной Москвы, блистала в спектаклях Первой и Второй студий МХТ. Она играла с Михаилом Чеховым, Иваном Берсеневым, Софьей Гиацинтовой. А умерла Катерина Ивановна в полной безвестности, всеми забытая и покинутая.

Сын Бориса Юльевича от первого брака, Юлий, стал голливудской звездой, знаменитым артистом Юлом Бриннером.

Может быть, еще кто-то помнит старинные русские романсы в его исполнении. Их записывали на магнитофонные бобины, потрескивающие и не всегда передающие чистоту звука…

Н. Бахтина, жившая в Дайрене, вспоминает, как однажды летом приехали из Харбина к своему дяде Феликсу Юльевичу Бриннеру дети Бориса Юльевича. ««Юлька» — представился мальчик… Юлька — так все его и звали, будущую звезду Голливуда, ставшего всемирно известным после фильма «Великолепная семерка», где Юлиан сыграл главную роль. Так этот Юлька был на два-три года старше меня, но во всех наших играх принимал самое горячее участие. Сестра больше сидела дома, рисовала, лепила… А когда мы всей компанией ездили в Хашигаура, он восхищал нас умением, стоя в «душегубке» (байдарке) и Управляя одним двухлопастным веслом, долго удерживать равновесие, падая, он ловко подныривал под лодку, переворачивал ее вниз дном и опять забирался..»

Но речь сейчас о Катерине Ивановне. О ней рассказывает в своей книге «Судьбы» Наталия Ильина.

«Совсем недавно она покинула Москву, театр, друзей, все, чем была наполнена ее жизнь… Приехав в Харбин, Бриннеры поселились в трехкомнатной квартире на Садовой улице Нового Города, недалеко от здания ХСМЛ… Всеми хозяйственными хлопотами ведал Борис Юльевич… а Катерина Ивановна была в своем доме гостьей. Превратить дворницкую в веселое, уютное помещение, быть элегантной, имея две юбки и одно платье, — это она умела, горазда была на всякие выдумки. А когда в ее распоряжении оказались большие деньги, возможность купить все, что ей заблагорассудится, то ей становилось скучно, она отступала на задний план… Здешний русский язык был так же чужд Катерине Ивановне, как английский… Вероятно, она могла бы повторить вслед за Цветаевой: «Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным…» А кто тут ее понимал? Кто знал ее?»

Для Корнаковой трудные послереволюционные годы были годами счастливой театральной юности. Весь мир сужен был для нее до размеров театра, в котором бурлила настоящая, невымышленная жизнь. Ничего иного в Советской России она просто не видела, не замечала. Но годы шли… Потом был Лондон, где она оказалась просто чужой для всех. А потом они с мужем переехали в Харбин, чей «руссейший облик» поманил и… обманул. А было Катерине Ивановне в ту пору уже 38 лет.

Борис Юльевич, человек умный и проницательный, понимал, что без конкретного дела его обожаемая жена просто физически не сможет существовать. Но где найти это дело? И вот —

счастливая случайность! Спектакль в школе ХСМЛ, который Корнакова должна была поставить. Здесь и свела их судьба с Наталией Ильиной, ученицей школы.

На первую репетицию явилось человек семь-восемь. Преподаватель истории, энтузиаст театра, Иосиф Александрович Пуцято представил каждого «женщине в сером меховом пальто, сидевшей в глубине комнаты, у окна, лицом к входу… — вспоминает Н. Ильина. — Светлые пряди волос выбивались из-под неглубокой меховой шапочки, женщина кивала нам, улыбка ее казалась вымученной, неестественной, поза скованной, напряженной… У нее были зеленые глаза узкого разреза, высокий лоб, немного «вдернутый, с топкими ноздрями нос, короткая верхняя губа — лицо это не казалось мне ни красивым, ни некрасивым… Понадобилось время, чтобы я узнала тайну этого изменчивого лица, умевшего в иные минуты чуть не ослеплять красотой, а в иные быть тусклым, как бы смазанным…».

Она была глубоко несчастна, эта немолодая уже по меркам школьников женщина. У Катерины Ивановны Корнаковой было все, по это все не могло заменить счастливой мхатовской поры, полуголодного существования в послереволюционной Москве. Здесь, в Харбине, ей было плохо и одиноко. Катерина Ивановна сблизилась с юной Наташей Ильиной, сделав девочку поверенной в своих делах, мечтах, возвращениях в прошлое.

Страницы книги Ильиной, на которых повествуется о Корнаковой, написаны удивительно живо, эмоционально, с сочувствием этой нелегкой судьбе, с искренней болью. Их недолгая близость оставила неизгладимый след в жизни Ильиной — первое прикосновение к театру, школьный спектакль; потом уроки английского, которые давала Корнаковой Ильина, затем пережитая Бриннерами трагедия, смерть новорожденного ребенка и страшная депрессия Катерины Ивановны; позже — создание театральной студии, когда они увлеченно репетировали «Сверчка на печи» Ч. Диккенса.

«Сверчок на печи» был поставлен на сцене Коммерческого собрания поздней осенью 1935 года, выдержал четыре спектакля при полных сборах — очень неплохо для Харбина, — пишет Н. Ильина. — Теперь когда в книге А. Дикого «Повесть о театральной юности» я увидела фотографии постановки «Свечка» 1-й студией МХАТ, я убедилась в том, о чем тогда лишь догадывалась: наша постановка была точной копией той постановки. Речь, разумеется, идёт лишь о декорациях и мизансценах. Ни Чехова, и Вахтангова, ни Дурасовой среди нас не было. Калеба, Тэклтона, Малютку и остальных диккенсовских персонажей играли молодые любители, актерами никогда не

ставшие. Катерина Ивановна обучила нас — насколько хватило ее сил и памяти и насколько позволяла наша восприимчивость — интонациям и жестам тех прославленных актеров».

Об успехе постановки свидетельствовала, например, такая рецензия:

> «…Нас зовет к себе кинематограф. Нам, оглушенным грохочущим разлетом колес жизни, нужен примитив, простота красок, белое и черное, без полутонов и нюансов. Кому, думалось, понадобится в Харбине тонкая лирика диккенсовской пьесы, ее высокая человечность, ее тонкая фабульность? Затея? Покушение с негодными средствами?.. И все-таки «Сверчок на печи» начал свою песенку. Песенка эта была услышана. Больше того — стала событием нашей театральной жизни. Тихое слово, сказанное людьми, влюбленными в большое искусство, вдруг оказалось сильнее всех могущественных шумов харбинского дня! Как это знаменательно, как показательно это! Жизнь могла так откликнуться на творчество лишь потому, что сама алкала по такому искусству!.. Студийцы г-жи Корнаковой-Бриннер показали, что при наличии правильных художественных устремлений и большой бескорыстной любви к искусству можно творить и в нашей бестеатральной обстановке!»

Разумеется, слова рецензента о бестеатральной обстановке не следует воспринимать всерьез. Разве может это относиться к городу, где был большой оперный театр и прекрасный оркестр, куда на гастроли приезжали знаменитые артисты из Европы и СССР?

Следующим спектаклем стала гоголевская «Ночь перед Рождеством», позже Катерина Ивановна пригласила в студию эстрадную певицу Софью Александровну Реджи и стала своеобразно инсценировать ее песни.

Вероятно, в истории театра это следовало бы отметить как один из первых режиссерских опытов инсценировки нссни, которые позже получили широкое распространение. Однако описанное Наталией Ильиной представляет особый интерес:

«Первая сцена спектакля: Реджи поет «Шумит ночной Марсель в притоне «Трех бродяг»…», а мы, студийцы, изображаем женщин и мужчин, выпивающих в притоне. Входят «в перчатках черных дама, а с нею незнакомец в цилиндре и во фраке…» Появляется апаш. Танцует с дамой танго. Кто-то кого-то закалывает. Тут наши роли были бессловесны. Вторая сцена: тот же кабак, является матрос и обнаруживает среди женщин свою

родную сестру — инсценировка мопассановского рассказа «В порту» (в переводе «Франсуаза»)… Туг были роли со словами и без пения Реджи. Третья сцена шла в других декорациях — летний ресторан в саду, за столиками посетители. Сюда являются шарманщик и цыганка. Опять бессловесные роли, снова пение Реджи…»

В студии Катерины Ивановны занимался и Юрий Хорош, будущий театральный режиссер. Он был так увлечен драматическим искусством, что не пропускал ни одной харбинской премьеры, всеми доступными способами пытался пробраться в театр на репетицию и мог, затаившись в темном зале, часами наблюдать за рождением спектакля. В начале 1940-х годов актриса Давыдова по просьбе Хороша и нескольких его соучеников создала в Харбине «Юную драматическую труппу». Репертуар был чрезвычайно интересным: ставили пушкинских «Цыган», «Романтиков» Э. Ростана, «Медведя» и «Предложение» А.П. Чехова… А в середине 1940-х Юрий Хорош играл уже в известной труппе В. Томского. В 1946 году он возглавил КРСИ — Коллектив работников сценического искусства, который дебютировал 1 октября же года спектаклем «Звезда экрана» А. Раскина и М. Слободского. Эта труппа просуществовала до 955 года, до отъезда всех ее участников в СССР. По воспоминаниям Е. Таскиной, участницы этого любительского коллектива, за годы существования театр выпустил 115 премьер, показав всего 325 спектаклей. Играли и пьесы современных советских авторов — В. Катаева, К. Симонова, В. Гусева, И. Штока, Л. Шейнина, и мировую классику: Ч. Диккенса, О. Уайльда, Мольера…

В 1951 году труппа объединилась с профессиональной труппой В. Томского и оркестром под управлением А. Бибикова — театр КРСИ вышел на совершенно новый уровень. А 28 мая 1955 года был дан последний спектакль, после которого коллектив почти в полном составе уехал на Родину.

Юрию Хорошу повезло — ему не пришлось работать в совхозе, он попал в театр, в маленький сибирский город Минусинск, хранящий память о сосланных туда декабристах и петрашевцах. Но Хорош проработал там недолго, он уехал в Мурманск, где служил в областном театре, а затем в Петрозаводск, где сначала работал в театре, а потом его увлекла работа на телевидении.

О работе Хороша в Петрозаводске вспоминал А. Цунский: «Юрия Львовича многое удивляло у нас… Однажды он ставил спектакль, где один из актеров должен был носить фрак, и был очень удивлен и расстроен, когда выяснилось, что ни один человек из запятых в спектакле понятия не имеет, как носить

фрак, как в нем себя держать, двигаться. А мы, действительно, не имели об этом никакого понятия, как и о множестве других вещей — женских вечерних нарядах, перчатках, веерах, светских манерах. Ему приходилось всему этому всех нас учить, он стал для нас носителем неведомой культуры…»

В 1935 году в Харбине давал концерт Александр Вертинский. Задолго до этого события появились афиши: «Концерт Вертинского в зале Железнодорожного собрания!» Попасть на концерт было трудно: билеты стоили слишком дорого — далеко не всем харбинцам по карману.

Вертинский являлся для харбинской молодежи фигурой культовой — детство и юность их проходили под знаком романтики Вертинского, Петра Лещенко, Саши Черного, Дона Амипадо… Было в городе несколько кабаре, где выступали русские певцы, подражавшие Вертинскому (особенно удачно делали это Кармелинский и Андреев-Моложатов), с концертами «Песни тоски по Родине» и «Песни улицы» выступали Мария Садовская и Софья Реджи. Это был совершенно особый мир, в котором формировались молодые, оторванные от своей страны русские, — мир ностальгических переживаний, тревожных сигналов словно из другой галактики.

И. Пасынков вспоминает: «Мне посчастливилось побывать на его концертах. Обычно концерт состоял из двух частей: первая часть — песенки Пьеро…

Итак, первая часть. Темный зал, тускло освещенная огнями рампы сцена, красочный занавес. Тихо приоткрывается складка занавеса в центре его, и появляется тонкая высокая фигура Пьеро. Зал взрывается аплодисментами… С опущенной головой, тихим голосом, порой переходящим в речитатив, певец рисует перед слушателями иной, вычурный мир далеких стран, своих впечатлений от встреч с иными народами, мирами…

Второе отделение. Ярко освещенная сцена, черный рояль, высокая стройная фигура певца в черном фраке или смокинге, сверкающий белизной платок в наружном боковом кармане… На рояле — черная вазочка с белыми гвоздиками. Певец вынимает платок из кармана и кладет его на рояль. Вот эта игра черного и белого создает какое-то особое настроение у зала, переносит в мир «черно-белой красоты».

Музыкальные критики отмечали «грациозный дар Вертинского». И это впечатление, именно грации, сразу же захватывает восторженный зал. Все отмечали длинные красивые пальцы певца, выразительность его рук, и те, кто увидел его на сцене, понимали, как он помогает жестами, едва уловимыми нюансами движений рук дополнять свои песенки…»

Наталия Ильина попала на концерт Вертинского благодаря Катерине Ивановне Корнаковой. «Мы сидели в первом ряду амфитеатра, напротив сцены, — вспоминала она. — Под нами рокотал партер, белый Зал ярко освещен огромной люстрой, все пришли в своих лучших платьях, обстановка торжественная, я взволнована… Люстра медленно гаснет, но освещается эстрада, из-за кулис выходит высокая, элегантная, во фраке фигура, утихший было зал взрывается хлопками и вновь затихает при звуках рояля… Звучит знакомый по пластинкам голос: «Рождество в стране моей родной, детский праздник, а когда-то — мой!..», «Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина…» После каждой песни буря аплодисментов…

Какой он большой, широкоплечий, а в походке, в манере кланяться что-то развинченное, капризное, чуть ли не женственное, но это идет ему, это в стиле его песенок, он — прекрасен. И зал считал, что — прекрасен! Эта элегантная фигура, прибывшая к нам из парижских ресторанов и притонов Сан-Франциско, не вписывалась в провинциальность Харбина, она чудом появилась на его подмостках, Харбин это чувствовал, был признателен, исходил аплодисментами…»

Да, Вертинский был блистательным актером — это ощущали все. И не воспоминание ли об Александре Николаевиче и его концерте вдохновило Катерину Корнакову на ее спектакль по песням?..

Кто знает…

Но это тоже был голос, звавший на далекую Родину, в Россию. Люди расходились после концерта взволнованные, потрясенные, со слезами на глазах. Они шли по улицам города, который вдруг стал казаться чужим, враждебным, несмотря на то, что построен был их отцами и дедами.

Но он таким не был.

Этот город просто завершал свою блистательную эпоху.

В марте 1936 года в Харбине произошло еще одно знаменательное событие — на гастроли приехал Федор Иванович Шаляпин.

«Ликование населения, притом не только русского, захватило Харбин, — пишет в своих воспоминаниях И. Пасынков. — На вокзале певца забросали цветами, а в лучший отель города «Модерн» он ехал в сопровождении десяти лимузинов, договоренность была о трех концертах в самом большом кинотеатре города «Американ». Для того чтобы достать билеты, люди с вечера занимали очередь, греясь у костров».

Федор Иванович Шаляпин остановился в отеле Модерн» на Китайской улице, в роскошном трехэтажном здании, построенном

в начале века, украшенном лепкой, с вращающейся дверью, плюшевыми портьерами, ковровыми дорожками, закрепленными, как это было принято, медными прутьями.

Публика с трепетом ждала кумира. Зрительный зал был переполнен. Здесь было много иностранцев, представителей китайских и японских властей.

Программа концерта заранее не объявлялась. Федор Иванович выходил на сцену, держа в руках большую папку, наподобие адресной, и сам объявлял, что будет петь.

И. Пасынков вспоминает: «Первое отделение концерта состояло из оперных арий на итальянском и французском языках. Спел Шаляпин и знаменитую «Элегию» Масснэ. Запомнилось мне, что в это время мы… пристроились на одной из лож, стоя, и в бинокль сбоку любовались великим певцом. Запомнилась стройная мощная фигура, благородный красивый его профиль, редкие седые волосы… Голос звучал мощно, «бархатисто», с огромным диапазоном нот. Как говорили старшие, что слушали его ранее, в России, а затем пластинки, он остался прежним Федором Ивановичем Шаляпиным, голос его почти не ослабел, а «эффект присутствия» великого артиста на сцене впечатлял гораздо больше, чем записи на пластинках.

Второе отделение Федор Иванович начал так (и это запомнилось на всю жизнь): «А теперь, господа, я спою вам наши русские песни». Зал рукоплещет, все встают. Спел он «Дубинушку», «Эй, ухнем!», «Вдоль по Питерской», «Вниз по матушке по Волге», «Из-за острова на стрежень», а также знаменитую «Блоху», несколько других песен. По окончании концерта — бурные овации стоя, и цветы, цветы…»

Каким же счастьем были для русских эти концерты великого земляка!.. Но одновременно невероятная мощь голоса, артистизм Федора Ивановича пробудили в людях страшную, горькую тоску по Родине, воспоминания о пережитом там, в этой близкой и далекой стране, пережитом и оставшемся в душе навсегда…

Пойти на концерт Шаляпина — было не просто светским мероприятием, а душевной необходимостью. Надо было прикоснуться к этому голосу, к этим звукам, чтобы услышать в них зов русской культуры и ответить на этот зов всеми струнами сердца.

«Что мать продала, что заложила, какими способами добыла деньги, чтобы пойти в концерт самой и нас с сестрой повести, сейчас уже не вспомню, — пишет Н. Ильина. — Явление Шаляпина в Харбине и матери казалось чудом. Ей в голову не могло прийти, что Шаляпин будет петь в трех кварталах от Конной улицы, а мы по бедности останемся дома…

Концертов было всего три. Мы попали на второй. Одна, без матери и сестры, я ухитрилась попасть и на третий. Вертелась около кинотеатра, снятого под концерты, воспользовалась возникшей в дверях пробкой, проникла внутрь, затем в зал… Китаец-билетер меня заметил, пытался вывести, но я так его умоляла, что он махнул рукой… Зал, переполненный бедно одетыми эмигрантами, теми, кто ни в театры, ни в концерты годами не ходили, зал этот вел себя неистово, истерически… Выкрики: «Вы наш, Федор Иваныч! Вы русский!» Рыданья. Стены и пол сотрясались от хлопков. Вышедший поклониться в последний раз Шаляпин ступал по сцене, сплошь усыпанной белыми и розовыми гвоздиками, — не помню, откуда взялись они… И вот занавес задернулся, и какие-то люди, и я в их числе, в состоянии безумия кинулись на сцену подбирать растоптанные Шаляпиным гвоздики, а затем долго ждали, толпясь в каком-то заднем коридоре кинотеатра…

Всю дорогу домой я плакала, вытирая глаза перчаткой, ощупывая в кармане смятую гвоздику. Плакала и бормотала: «Нельзя так больше, нельзя!» Видимо, после того, что я пережила и перечувствовала, моя жизнь показалась мне особенно серой и унылой, и я считала, что менять ее надо немедленно…»

Эти мысли посетили Наталию Ильину не впервые. Под влиянием Катерины Ивановны Корнаковой она теперь все чаще думала о том, что что-то не так в ее жизни, что надо что-то менять, кардинально менять…

Можно только догадываться, скольких харбинцев голос Шаляпина позвал на родину. Никакой пропаганды, никаких политических лозунгов… А уникальный талант, уникальный, завораживающий голос, в котором слышалась мощь и нежность покинутой Родины.

«Во время пребывания Шаляпина в Харбине произошел один эпизод, давший повод поднять целую дискуссию на страницах харбинской русской прессы, — рассказывает И. Пасынков. — В Харбине было много благотворительных организаций, нуждавшихся в средствах. Они обратились к Шаляпину с просьбой дать благотворительный концерт «в пользу бедных», на что, якобы, он ответил, что «бесплатно поют только птички Божии». Такой ответ вызвал бурю среди русской эмиграции, и она разделилась на две группы: за и против Шаляпина. Мы, гимназисты, также приняли горячее участие в дискуссии, направили свои статьи в газету «Харбинское время» (самая распространенная официальная газета), и все мы, четверо, были на стороне великого певца. А один из нас даже озаглавил свою статью «Певец и чернь». И, нужно сказать, все статьи печатались

без сокращений, у меня же в статье были такие аргументы: к гениям нельзя применять наши обычные мерки оценок; своим искусством Шаляпин принес России гораздо больше добра и славы, чем разные благотворительные организации, как бы ли были гуманны их цели. После долговременной дискуссии на страницах газеты, уже после отъезда из Харбина И. Шаляпина, была «итоговая редакционная статья», которая старалась примирить обе точки зрения: рациональные зерна есть в обоих противоположных суждениях, и, может, так оно и есть? Но при всем при том, подобные дискуссии никак не умаляют славы великого певца, которым гордилась и всегда будет гордиться Россия».

Однажды в гостиницу «Модерн», где Шаляпин жил затворником, допуская к себе лишь Корнакову, с которой был близко знаком по Москве, прорвались члены Российской фашистской партии. Они стали требовать, чтобы выручка от одного из трех концертов полностью пошла в фонд партии. Грозились в случае несогласия Федора Ивановича сорвать концерты. Шаляпин разозлился, накричал на них и выгнал из номера, швырнув вслед молодчикам мраморное пресс-папье. Не попал, конечно, промахнулся…

Свободное время Федор Иванович любил проводить с Катюшей Корнаковой, как он ее называл. Во время чаепитий они вспоминали былое, обменивались впечатлениями, делились новостями… и, по словам Наталии Ильиной, «забывали о том, что рядом улица, именуемая Китайской, и бегают рикши, и вывески с иероглифами, и весь вообще этот странный маньчжурский, русскими построенный, японцами оккупированный город» простирается вокруг них…

18 сентября 1931 года японская армия оккупировала Мукден, а затем и другие города южной Маньчжурии. Предлогом послужило то, что китайцы взорвали мост над железной дорогой. Через несколько месяцев японцы вошли в Харбин и заняли всю Маньчжурию. Было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го, во главе которого поставили последнего императора Китая, Генри Пу И, свергнутого с престола в 1911 году в возрасте пяти лет. Администрация Чжан Сюэляна была заменена администрацией Маньчжоу-Го, в которой находилось немало «японских советников». В 1932 году правительство Нанкина обратилось в Лигу Наций с жалобой, но результатом явился выход Японии из Лиги Наций и создание другого марионеточного правительства, теперь уже на северо-востоке Китая, находящегося полностью под контролем японцев.

«Итак, жребий был брошен, и 1932 год стал поворотным в

истории Маньчжурии, а также Китая и всего мира», — пишет Ольга Ильина-Лаиль.

Новое государство Маньчжоу-Го уже не было той благословенной, спасительной для многих русских эмигрантов Маньчжурией. Японская оккупация все сильнее давала о себе знать, русским становилось жить все труднее, и они уезжали в Шанхай, который казался им раем, — именно там были иностранные концессии, филиалы всемирно известных пароходных, нефтяных фирм, банков, а значит, была возможность устроиться на работу.

Та возможность, которая катастрофически таяла здесь, в Харбине, городе с «руссейшим обликом».

Мы с тобой врагами не добиты,
Но в тупик глухой заведены,
Дня обломка королевской свиты
Короля трагической страны.
Подвиг — это миг самозабвенья,
Огненный полет в ночную высь.
Клятву долголетнего терпенья
Мы с тобою выполнить взялись.
Жизнь диктует новые законы,
Вожаки кричат: «Не отставай!»
Но перед отцовскою иконой
Огонек зажечь не забывай.
Никому нас не переупрямить,
Жизнь борьбой неравною полна.
В эти дни сожжем о прошлом память,
Чтоб не помешала нам она!
Чтоб душа слезой не растекалась,
В мусорную яму сволоку
Нашу эмигрантскую усталость,
Нашу эмигрантскую тоску.

Это стихотворение написано в 1931 году поэтессой-харбинкой Марианной Колосовой. Дочь алтайского священника, убитого воинствующими атеистами, она была тесно связана с «Чураевкой», сочиняла патриотические стихи и удостоилась негласного титула «барда Белой Армии».

Вот еще одно ее стихотворение. Оно датировано 1932 годом.

Во вражский лагерь не каждый пойдет.
Не каждый рискнет головой.
Не знает он — встретит ли солнца восход

И будет ли завтра живой.
Орлиную душу свою он унес
На крыльях отваги в борьбу.
Ушел он в страну громыхающих гроз
Испытывать жизнь и судьбу.
А если вернется, то скоро опять
На подвиг отправится он.
А женское дело — молиться и ждать.
Склоняясь над шелком знамен.
Скрипят под иглою тугие шелка.
Три буквы и крест на шелках.
Пусть будет винтовка верна и легка
В его молодецких руках.
За карие очи, что смотрят во тьму,
За руки, которые мстят.
Молюсь я. Дай, Боже, удачи ему,

И пусть он вернется назад!

Ю. Крузенштерн-Петерец вспоминала о М. Колосовой: «Ёе отталкивали вообще все «левые», и поэтому свои политические симпатии она перенесла на русских фашистов… на крошечную горсточку, оставшуюся около А. Покровского, первого «зачинателя» русского фашизма в Харбине». (А. Покровский был мужем М. Колосовой. — Н. С.) В период японской оккупации Марианна Колосова была выселена из Харбина в Шанхай. Зарабатывала на жизнь тем, что вместе с А. Покровским содержала платную русскую библиотеку. После войны она на Родину не вернулась — слишком жива была в ней память о страданиях отца. Колосова уехала на Филиппины, а оттуда в Чили, где и умерла в 1964 году.

О чем и о ком написаны приведенные выше стихи — гадать сложно, по мы можем предположить, что, по крайней мере, одно из них имеет отношение к тому периоду в истории борьбы «русского» Харбина, который получил название «хождения под проволоку» и был тесно связан с идеологией фашизма, противостоявшего большевизму. Однако оба стихотворения пронизаны любовью к покшгутой Родине, тревогой о ее судьбе и страстным желанием помочь, преодолеть эту судьбу поруганной, раздавленной России.

Сжечь свою память Марианна Колосова так и не смогла.

Как не смогли этого и многие, многие другие…

Атмосфера в Харбине менялась день ото дня. На улицах, в магазинах все чаще слышалась японская речь, одна за другой

открывались японские фирмы, филиалы крупных японских банков. Японцы принимали на работу молодых русских. Зачем? — частично на этот вопрос отвечает Ольга Ильина-Лаиль: «Японцы сквозь пальцы смотрели на торговлю наркотиками, и молодежь становилась легкой добычей для японских жандармов. Рассказывали, что японская жандармерия путем шантажа использует несчастных молодых людей в своих неблаговидных целях. Ходили слухи о конфетах и сигаретах с наркотиками, и родители запрещали своим детям брать конфеты из рук посторонних. Ни я, ни мои подруги никогда не курили, и поэтому нам опасность не грозила, «о сама обстановка была неприятной. Прежде доверчивые и милые, девочки становились подозрительными по отношению ко всем незнакомым».

Школьная подруга Ольги Ася с детских лет дружила с мальчиком Иваном. Он был старше, учился уже в выпускном классе, они собирались пожениться, и все иоспринимали Ивана как асиного официального жениха, но внезапно Ася узнала, что Иван работает у японцев и принимает наркотики. Все попытки помочь Жениху оказались тщетными — он стал уже настоящим наркоманом, приходил к своей невесте лишь для того, чтобы выпросить денег, а потом и вовсе исчез…

Оккупировав Маньчжурию, японцы потеряли интерес к русской фашистской партии. Щедрые финансовые вливания как-то сами по себе прекратились, а Константину Родзаевскому и его единомышленникам было предложено как-то активизироваться по части добывания денег. Вот тогда они и занялись грабежом, похищением людей, распространением наркотиков, проституции.

Жизнь становилась все более невыносимой.

В 1935 году СССР продал свою часть железной дороги японцам. Русским служащим пришлось выбирать: остаться в Маньчжурии и жить под постоянной угрозой увольнения; вернуться в новую, незнакомую, по сути, Россию; уехать в Америку или Австралию. На последнее, как правило, решались те, у кого там были родственники или знакомые — легче было получить визу, существовала хоть какая-то возможность не пропасть на первых порах, а потом «зацепиться».

Значительная часть харбинцев поддалась советской пропаганде и отправилась в СССР, не желая верить слухам о царившем там терроре. И хотя от большинства из них не пришло никаких известий, за ними последовали другие.

«В городе царила лихорадка отъезда, сопровождавшаяся скупкой товаров, и это продолжалось несколько месяцев, — пишет Ольга Ильина-Лаиль, — бывшие железнодорожные служащие готовились к массовому исходу. Потом Харбин

успокоился и стал даже слишком тихим: люди с достатком уехали, никто больше не брал уроки иностранного языка или танцев, никто не занимался торговлей. Отъезд богатых семей сразу изменил статус города: богатые уехали, а бедные стали еще беднее. Кроме того, японцы алчно вывозили богатства Маньчжурии: зерно, минералы и все, что могли, и очень быстро Харбин, некогда изобильный, обнищал».

По словам Елены Якобсон, в это время распадались многие старые браки, скоропалительно заключались новые; кто-то покидал своих родителей, а кто-то отправлял их в Россию.

Больше эти люди не встретились…

«Мы с мамой пошли проводить одного нашего друга, — пишет Е. Якобсон. — На станции не было счастливых лиц. Одни были угрюмы, другие — решительны. Некоторые тихо плакали, другие громко рыдали, обнимаясь и прощаясь, умоляя остающихся: «Пишите! Пожалуйста, пишите и не забывайте нас!» Позже мы узнали, что то, чем встретила их «родина», превзошло самые худшие их опасения. Когда поезд пересек советскую границу, его окружили отряды красноармейцев. Всем пассажирам приказали выйти, а вещи оставить в поезде. Потом их повели в сторону от станции. Кто-то оглянулся и закричал: «Смотрите! Наш поезд отходит! А наши вещи? Остановите поезд! «Люди бросились назад, но были быстро остановлены военными. Поезд так и не вернулся, а все имущество «возвращенцев» досталось советскому государству. В суматохе нескольким из них удалось бежать и спрятаться, потом они нашли приют у каких-то добрых людей. Остальные были задержаны и рассортированы по принципу «полезности» советскому государству. Большинство попало в исправительно-трудовые лагеря, из которых мало кто вышел живым. Об этом «счастливом возвращении домой» мы в Харбине узнали гораздо позже».

А потом нахлынет следующая волна: по окончании Второй мировой войны те, кто был на стороне СССР, кто с нетерпением ждал здесь, на Дальнем Востоке, своих братьев-освободителей, испытают состояние шока. Советская армия, вошедшая в Харбин, будет обращаться с этими людьми, как с врагами — начнутся массовые аресты, убийства ни в чем не повинных людей, изнасилования, грабежи… «Как пьяные, так и трезвые советские солдаты врывались в частные дома и забирали все, что им понравится» — пишет Е. Якобсон. — Для многих было бы гораздо легче страдать от иностранцев, чем от рук своих соотечественников.

Высшее советское командование отдало приказ массовой депортации оставшихся на тот момент в Харбине русских. Тех,

кто пытался обратиться за выездной визой в любую другую страну, подвергали унижениям и преследованиям, в визах им отказывали. Люди знали, что их ожидает по возвращении на родину — унижения и заключение в исправительно-трудовые лагеря. Удалось сбежать и спастись лишь нескольким харбинцам.

Сегодня уже нет Советского Союза, и я хочу надеяться, что эта черная глава в его истории — уничтожение Харбина — будет присоединена к длинному списку преступлений, совершенных советским правительством. Туристы, приезжающие сегодня в Харбин, не находят даже следа «самого большого русского города за пределами России». Ничего не осталось — ни русских церквей, ни кладбищ, ни зданий, ни людей. Мало кто из живущих там китайцев знает, что Харбин был когда-то процветающим русским городом с населением в двести тысяч человек».

В статье корреспондента «Известий» Александра Кабанова «Ангел с поблекшими крыльями» читаю: «…Мало кто знает, что 2 сентября 1945 года стало точкой отсчета в почти мгновенном исчезновении с карты мира крупнейшего центра русской диаспоры за рубежом — города Харбина…»

Кабанов рассказывает о встречах в сегодняшнем Харбине с самыми разными людьми. Так, судьба свела его с заведующим маленьким Интернет-кафе китайцем Юань Ли, поведавшим журналисту о том, что Харбин остался единственным городом в Китае, где зимой едят мороженое на улицах, а почти в каждом доме стоят на полках матрешки — по поверью, они приносят счастье. И еще о том, что до сей поры, хотя и прошло полвека с отъезда русских из Харбина, здесь строят дома так, как строили когда-то русские — без загнутых с углов традиционных китайских крыш, предназначенных для того, чтобы в них селились ласточки. И водку пьют не малоградусную рисовую, а пшеничную…

А еще журналист познакомился с Марией Мироновой — дочерью китаянки и бывшего царского офицера. Кабанов цитирует ее воспоминания о том страшном дне: «Помнится, 2 сентября советская власть устроила большой прием в честь победы над Японией: разослали приглашения, собрали всю интеллигенцию города — профессоров, ученых, инженеров, музыкантов. Прямо с этого торжественного ужина их под конвоем отправили на вокзал, затолкали в теплушки и увезли. Никто не знает, куда ушел этот поезд — то ли в Сибирь, то ли к ближайшему яру. Во «сяком случае, больше этих людей мы не видели».

Шел победный 1945 год. Отделение СМЕРШа, разместившееся в православной церкви, каждую ночь производило массовые расстрелы. По разным сведениям, за

короткое время (советская власть находилась в городе всего чуть более двух месяцев) в Харбине были ликвидированы десятки тысяч людей, но до сих пор мы не располагаем точными данными: сколько еще было обвинено в шпионаже в пользу Японии и выслано в советские лагеря?

По свидетельству очевидца событий А. Кайгородова, «репрессии начались буквально с первых же дней или даже часов появления советких войск… Были разгромлены редакции крупнейших русских газет «Харбинское время» и «Заря», журнал «Рубеж». Арестованы и интернированы в СССР были вожди белой эмиграции генералы Г. М. Семенов, Л. Ф. Власьевский, А. П. Бакшеев, руководители фашистской организации К. В. Родзаевский, Б. Н. Шепунов, Л. П. Охотин, И. А. Михайлов, И. А. Ухтомский. В конце августа 1946 года в Москве состоялся судебный процесс: Семенов был приговорен к повешению, Вллсьевский, Бакшеев, Родзаевский, Шепунов и Михаилов к расстрелу. Охотип и Ухтомский — к 20 и 15 годам лагерей, где они оба и умерли…».

Константин Родзаевский успел выбраться из Харбина в Тяньцзипь 17 августа 1945 года. Оттуда он написал, по свидетельству Антона Уткина, два письма — командующему Забайкальским фронтом маршалу Р. Малиновскому и Сталину. «Сталинизм, — писал Родзаевский, — это как раз то самое, что мы ошибочно называли российским фашизмом: это — наш российский фашизм, очищенный от крайностей, иллюзий и заблуждений».

Оба письма попали в руки сотруднику посольства Ивану Тимофеевичу Патрикееву, который пригласил Родзаевского в Пекин для личной встречи. Мудрый Патрикеев был с Родзаевским приветлив, сказал, что именно такие целеустремленные люди нужны сегодня Родине, счел, что из столь убежденного человека получится хороший журналист-агитатор… Короче говоря, Родзаевский был отправлен в Читу, оттуда в Москву, где оказался на одной скамье подсудимых со своим оппонентом атаманом Семеновым.

Семенов решил сдаться на милость победителям. В своем доме в Дайрене он приготовил угощение для гостей, провозгласил тост за победу русского оружия над фашистской Германией, заявив, что добровольно отдает себя на суд Сталину, но виновным себя не чувствует. Смершевцы, выпив с гостеприимным хозяином, отправили его в Москву. Как «злейший враг советского народа» атаман Семенов был приговорен к смертной казни через повешение…

Очень многие были вывезены в СССР насильно. А. Кайгородов

утверждает, что «по восточной и западной веткам КВЖД, а также ЮМЖД подчистую забрали всех, кто в 1935 г. отказался добровольно вернуться на родину». Этот нескончаемый поток состоял из самых разных людей, большинство из которых пострадали безвинно.

Семьи многих из тех, кого забирали, оставались в Харбине, некоторые из жен, детей, родителей все еще продолжали работать на КВЖД и лишь в середине 1950-х вернулись в СССР.

Тогда же из Харбина вывезли поэтов Алексея Ачаира, Арсения Несмелова, каким-то непостижимым чудом спасся от ареста известный далеко за пределами Дальнего Востока писатель и ученый-натуралист Н. А. Байков, уничтоживший весь свой огромный архив буквально накануне прихода советской армии в город. В середине 1950-х Байкову с семьей удалось уехать в Австралию…

Иван Давыдович Шевченко, родившийся в большой крестьянской семье в Полтавской губернии, прошел Первую мировую войну, много горького видел в жизни, прежде чем в 1927 году попал в Китай.

На Харбинском центральном базаре у него была большая мясная лапка с вывеской: «Братья Шевченко и К°».

Ксения Волкова приводит рассказ Ивана Давыдовича: «В середине августа сорок пятого года большинство русского населения в Харбине радовалось: со дня на день ожидали прибытия частей Красной Армии в город. Люди собирались, обсуждали, как лучше встретить войска победоносной армии. Решили по русскому обычаю — хлебом с солью.

О всех происходящих событиях в городе вездесущие мальчишки знали все. Они, как сорока на хвосте, и принесли новость, что «Красная Армия уже на улицах! А за ними танки идут!» и с криками «Ура! Ура!» бежали дальше. Горожане стали выходить на улицы, а китайцы, стоящие на тротуарах, махали идущим машинам и тоже кричали: «Уля! Уля!»

Солнечный день двадцать пятого августа не предвещал ничего плохого. В честь окончания Второй мировой войны, а также победы над Японией в Китае, в театре был устроен большой банкет, где собрался «весь цвет Харбина». Были приглашены предприниматели, врачи, железнодорожники, артисты и просто горожане. Присутствующий на этом торжестве генерал Белобородое, он первым вошел в Харбин с основными силами армии, подняв бокал с шампанским, сказал: «За прекрасных русских людей, живущих здесь, в Китае, которые оказали неоценимую помощь Советской Армии в победе над японцами. За цвет мужского населения Харбина! За вас, герои! Ура!»

Кончился банкет и сразу же слаженный, устойчивый мир Харбина стал распадаться. Молодые солдаты-автоматчики стали загонять в машины выходивший из театра в смокингах и во фраках «цвет мужского населения». Одних увезли в советское консульство, других — в бывшую японскую тюрьму».

Им не дали ни переодеться, ни попрощаться с Родными, которые, не веря в беду, несколько дней, накрывая на стол, ставили приборы для своих мужчин — Ивана Давыдовича, двух его сыновей и зятя, Георгия Гайдука, у которого буквально накануне банкета в театре родился сын. Они увиделись лишь тогда, когда каким-то чудом харбипцы узнали день отправки состава с арестованными в Советский Союз и потянулись на вокзал с узелками. «Состав охранялся солдатами. Они стояли цепочкой друг возле друга, — продолжает повествование К. Волкова. — Женщины старались прорваться через живое ограждение, по солдаты бесцеремонно прикладами отгоняли их. Каким-то чудом, через десятые руки, Иван Давыдович получил свой овчинный тулуп, переданный женой. И какое-то время трое друзей по несчастью (вместе с Шевченко были арестованы владелец нескольких меховых, обувных и мануфактурных магазинов Шипунин и известный в Китае конезаводчик Коренев. — Н. С.) спали на нем, но потом сопровождающий вагона отобрал его, сказав, что тулуп слишком хорош для арестанта.

Когда состав тронулся с Харбинского вокзала, вдруг одна из церквей стала звонить в колокола. Это было прощание с городом, с родными, с Китаем…»

Страшное прощание!..

Все это будет происходить десятью годами позже.

В 1935 году сомнения, колебания таяли в волнах горячего стремления на Родину, домой. Казалось, что там все будет иначе. В слухи, передаваемые, как правило, шепотом, не хотелось верить. Хотелось надеяться…

Среди служащих железной дороги, массово покидавших Харбин, были и моя учительница, Лия Ильинична Рубинштейн с мужем. Они уехали в Магнитогорск и, к счастью, выжили, устроившись работать по специальности. Лия Ильинична начала преподавать в педагогическом институте.

В их багаже приехала та самая кукла-китаянка, с рассказа о ко торой начинается эта книга.

Гостья из Маньчжурии, что живет с давних пор в моем доме.

А в ее топкой улыбке живет тайна…

Глава 3
«Желтый Вавилон»

Едва ли не первые наши знания о Шанхае почерпнуты из путевых очерков И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»», прочитанных еще в ранней юности. Вот как выглядел этот город середины XIX столетия, когда Гончаров прибыл туда в составе посольства адмирала Путятина:

«Вон и Шанхай виден. Суда и джонки, прекрасные европейские здания, раззолоченная кумирня, протестантские церкви, сады — всё это толпится еще неясной кучей, без всякой перспективы, как будто церковь стоит на воде, а корабль на улице…

Наконец, слава Богу, вошли почти в город… На зданиях развеваются флаги европейских наций, обозначая консульские дома.

Гостиница наша, «Commercial house», походила, как все дома в Шанхае, на дачу. Большой, двухэтажный каменный дом, с каменной же верандой или галереей вокруг, с большим широким крыльцом, окружен садом из тощих миртовых, кипарисных деревьев, разных кустов и т. п. Окна все с жалюзи: видно, что при постройке принимали в расчет более лето, нежели зиму. Стены тоненькие, не более как в два кирпича; окна большие; везде сквозной ветер; всё неотоплено. Дом трясется, когда один человек идет по комнате; через стенки слышен разговор. Но когда мы приехали, было холодно; мы жались к каминам, а из них так и валил черный, горький дым.

Вообще зима как-то не к лицу здешним местам, как не к лицу нашей родине лето. Небо голубое, с тропическим колоритом, так и млеет над головой; зелень свежа; многие цветы ни за что не соглашаются завянуть. И всего продолжается холод один какой-нибудь месяц, много — шесть недель. Зима не успевает воцариться и, ничего не сделав, уходит.

…Наша отель стояла на углу, на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов, только с бесконечными каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, налево — тоже, и все одинаковое. Дома все окружены дворами и большею частью красивые; архитектура у всех почти одна и та же: всё стиль загородных домов… Улицы пестрели народом. Редко встретишь европейца; они все наперечет здесь… Китайцы — живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь. Шум, суматоха, движение, крики и говор. На каждом

шагу попадаются носильщики. Они беглым и крупным шагом таскают ноши, издавая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не похож на тот, что мы видели в Гонконге и в Сингапуре: он смирен, скромен и очень опрятен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов разных меньше по улицам, нежели в Гонконге, исключая, однако ж, рынков. Несет ли, например, носильщик груду кирпичей, они лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика; рубашка или кафтан его не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит две дощечки, в виде весов, и на дощечках лежат две кучи красиво сложенных серых кирпичей. С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит мерным своим криком, и если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Всё это чисто, даже картинно: и бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его И легко надетая шапочка из серого тонкого войлока, отороченная лентой или бархатом. Заглянешь в ялик к перевозчику: любо посмотреть, тянет сесть туда.

Дерево лакировано — это бамбуковый корень; навес и лавки покрыты чистыми циновками. Если тут и есть какая-нибудь утварь, горшок с похлебкой, чашка, то около всё чисто; не боишься прикоснуться и выпачкаться.

Между прочим, я встретил целый ряд носильщиков: каждый нёс по два больших ящика с чаем. Я следил за ними. Они шли от реки: там с лодок брали ящики и несли в купеческие домы, оставляя за собой дорожку чая, как у нас, таская кули, оставляют дорожку муки. Местный колорит! В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на американские клипперы или английские суда.

Мы вышли на набережную; там толпа еще деятельнее и живописнее. Здесь сближение европейского с крайним Востоком резко. По берегу стоят великолепные европейские домы с колоннадами, балконами, аристократическими подъездами, а швейцары и дворники — в своих кофтах или халатах, в шароварах; по улице бродит такая же толпа. То идет купец, обритый донельзя, с тщательно заплетенной косой, в белой или серой, маленькой, куполообразной шляпе с загнутыми полями, в шелковом кафтане или в бараньей шубке в виде кацавейки; то чернорабочий, без шапки, обвивший, за недосугом чесаться, косу дважды около вовсе «нелилейного чела». Там их стоит целая куча, в ожидании найма или работы; они горланят на своем негармоническом языке. Тут цирюльник, с небольшим деревянным шкапчиком, где лежат инструменты его ремесла, раскжгул свою лавочку, поставил скамью, а на ней Расположился

другой китаец и сладострастно жмурится, как кот, в то время как цирюльник бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и т. п. Тут ходячая кухня, далее, у забора, лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани, вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега. Идет европеец — и толпа полегоньку сторонится, уступает место. На рейде рисуются легкие очертания военных судов, рядом стоят большие барки, недалеко и военные китайские суда, с тонкими мачтами, которые смотрят в разные стороны. Из-за стройной кормы европейского купеческого корабля выглядывает писанный рыбий глаз китайского судна. Всё копошится, сгружает, нагружает, торопится, говорит, перекликается…

…Говорят, многие места кажутся хороши, когда о них вспомнишь после. Шанхай именно принадлежит к числу таких мест, которые покажутся хороши, когда оттуда выедешь. Зевая на речку, я между тем прозевал великолепные дома многих консулов, таможню, теперь пустую, занятую постоем английских солдат с военных судов. Она была некогда кумирней и оттого резко отделяется от прочих зданий своею архитектурною пестротою. Я неприметно дошел до дома американского консула. Это последний европейский дом с этой стороны; за ним начинается китайский квартал, отделяемый от европейского узеньким каналом».

На редкость живописный рассказ! Словно видишь все своими глазами — здания, людей, занятых своими повседневными делами, суету портового города…

Да, вероятнее всего, именно таким был этот город еще до поселения здесь русских. Английская колония со своими законами, привычками, сводом правил, в которые входило и весьма пренебрежительное отношение к коренному населению.

«Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно, — отмечает Иван Александрович Гончаров. — Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним… Шанхай сам по себе ничтожное место по народонаселению; в нем всего (было до осады) до трехсот тысяч жителей: это мало для китайского города, но он служил торговым предместьем этим городам и особенно провинциям) где родится лучший шелк и чай — две самые важные статьи, которыми пока расплачивается Китай за бумажные, шерстяные и другие европейские и американские изделия. Только торговля опиумом производится

на звонкую, больше на серебряную, монету».

До расцвета «желтого Вавилона», китайского портового города Шанхая оставалось еще много десятилетий, и расцвет этот был связан в значительной степени с возникновением русской колонии. Хотя небольшая русская община существовала в Шанхае еще с XIX века.

В 1865 году здесь было открыто нештатное консульство России, в 1880-м консульство возглавил Ю. А. Рединг, бывший инструктор китайской армии. К 1914 году колония увеличилась и, как известно из «Путеводителя по Шанхаю», «достигла нескольких сот человек, но она все еще была настолько мала, а главное, так разнохарактерна по своему составу, что все еще не могла серьезно подниматься и речь о создании в Шанхае каких-либо русских общественных организаций, клуба или школы, для которых не имелось ни средств, ни людей».

Резкое увеличение численности русской общины началось с 1919 года, когда в Шанхай устремились эмигранты, но особенно много их стало после крушения белого движения в Сибири. Значительная часть перебралась затем в Харбин. Следующее пополнение русской колонии пришлось на 1922 год — большевики заняли Приморье, и многие русские уехали в Маньчжурию, а позже переселились в Шанхай.

Из Владивостока на судах флотилии контр-адмирала Г. К. Старка ушел в Шанхай Сибирский кадетский корпус.

В отличие от других китайских городов, куда массово устремились русские, в Шанхае обустройством вновь прибывших занимались дипломаты. Генеральный консул В. Ф. Гроссе принимал русских беженцев и заботился об их юридическом устройстве, но прибытие из Владивостока флотилии Старка с семьями военных стало для него большой проблемой.

А. Хисамутдипов пишет: «Хотя в Шанхае с началом Гражданской войны и ожидали русских, они стали полной неожиданностью для местных властей, вначале категорически отказавшихся дать разрешение на высадку людей на берег. Каждый приход российского корабля сопровождался длительными переговорами. Русские дипломаты путем компромиссов старались добиться от китайских властей и французского муниципалитета разрешения сойти на берег вновь прибывшим. Всего в Шанхае на берегу оказалось около 800 человек. Сопутствующей проблемой было требование китайских властей снять с кораблей вооружение. Офицеры не хотели просто так отдавать оружие и требовали компенсацию. Дипломаты успешно решили и эту задачу, представив денежный взнос не как плату за продажу корабельного вооружения, а как компенсацию

за разоружение».

Позже в Шанхае было организовано Бюро по русским делам, переформированное несколько лет спустя в Комитет защиты прав и интересов русских эмигрантов. Именно с помощью этого Комитета многие получили работу в 1925 году, когда в Шанхае вспыхнула забастовка; благодаря организаторским способностям Гроссе, русские смогли занять освободившиеся места в пароходстве, в газовых и водопроводных компаниях, на электростанциях…

Английский писатель Олдос Хаксли описал Шанхай середины 1920-х годов. Многое изменилось по сравнению с теми временами, которые запечатлел во «Фрегате «Паллада»» И. А. Гончаров.

«Я бывал в разных местах, где, пожалуй, в неменьшей степени, чем в Старом городе Шанхая, бурлила и кипела работа, но ни в одном из них скученность и деловитость не производили на меня такого потрясающего впечатления, — писал Олдос Хаксли в своем дневнике в 1926 году. — Ни в одном городе Запада или Востока я не видел такой насыщенности, такого разнообразия человеческой деятельности. Здесь столько людской активности и так четко она распределена по различным направлениям, так стремительно и с таким напором протекает, что это зрелище внушает нечто похожее на благоговейный ужас. А ведь вся эта жизнь протекала уже тогда, когда мы еще пребывали в полнейшем варварстве. Идёт она и сейчас и будет продолжаться тысячу лет спустя. Резчики по камню будут все так же выделывать печатки, мастера по слоновой кости — выпиливать и полировать свои изделия, портные — мурлыкать споим клиентам про достоинства своего кроя и материала; астрологи, водрузив на нос очки, своими предсказаниями будут, как и прежде, опустошать карманы простаков и влюбленных; работает птичий рынок, источают умопомрачительные запахи едалищ, а в аптеках все так же будут стоять на полках склянки с засушенными ящерицами, тигровыми усами, носорожьими рогами и маринованными саламандрами; по-прежнему будут терпеливо корпеть над своей тонкой работой ювелиры и вышивальщицы; магазины будут полны восхитительного фарфора, а у скорняков разнообразно окрашенные лисьи шкуры будут выкладываться в замысловатые узоры; величественные черные иероглифы будут такими же безупречно точными, как сейчас, как и тысячу лет назад, выводимые тонкой длинной рукой на красной бумаге с той обычной, почти небрежной легкостью и с тем неподдельным и неизменным мастерством, которое может быть воспитано лишь глубокими познаниями в искусстве символического письма,

каковы присущи и руке, пишущей эти строки».

Шанхаю была уготована судьба еще одного острова Рассеяния. Но английский писатель об этом не пишет, хотя русских в городе становится все больше. Его интересует «китайская» жизнь Шанхая. Впрочем, и И. А. Гончаров отмечал доброжелательность и необыкновенную работоспособность китайцев: «Китайцы, как известно, отличные резчики На дереве, камне, кости. Ни у кого другого, даже у немца, недостанет терпения так мелко и чисто выработать вещь, или это будет стоить бог знает каких денег. Здесь, по-видимому, руки человеческие и время нипочем. Если б еще этот труд и терпение тратились на что-нибудь важное или нужное, а то они тратятся такие пустяки, что не знаешь, чему удивляться: работе ли китайца или бесполезности вещи? Например, они на коре грецкого или миндального ореха вырезывают целые группы фигур в разных положениях, процессии, храмы, домы, беседки, так что вы можете различать даже лица. Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку со всеми принадлежностями, с людьми, со всем; даже вы отличите рисунок рогожки; мало этого: сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура. Каких бы, кажется, денег должно стоить это? А мы, за пять, за шесть долларов, покупали целые связки таких орехов, как баранки».

И эти, казалось бы, далекие от темы «русского» Китая наблюдения оказываются очень важными для нас — искусство китайцев, их повседневное кропотливое создание миниатюр оставляло неизгладимый след в русских душах, исподволь влияя на формирование не только вкуса, но и мировосприятия.

Расцвет «русского» Шанхая пришелся на 1930-е годы. В 1932 году в городе было зарегистрировано 16 тысяч русских, а в 1937 году их проживало здесь уже около 27 тысяч!.. Они объединялись в различные профессиональные клубы, общества, организации, комитеты, создавали издательства, редакции газет и журналов, частные и общественные больницы, школы. Специальный Организационный комитет координировал деятельность Русского общественного собрания, Русского благотворительного общества, Русского просветительского кружка и школы, Русского драматического и музыкального кружка, Русской торговой палаты и проч.…

Еще до революции в Шанхае был создан Русский клуб (в 1930-е годы он был переименован в Русское общественное собрание).

После Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860), завершившихся превращением Китая в полуколонию, Шанхай

стал открытым портом, где Англия, Франция, США и Россия получили право экстерриториальности. Впрочем, Россия этим правом пользовалась недолго — отказалась от него после Октябрьской революции. К тому времени, когда харбинцы начали переезжать в Шанхай, город был разделен на три части: Международный сетглмент (английская и американская концессии), Французская концессия и Старый город, где жили, в основном, китайцы. Русские традиционно селились на территории Французской концессии, и вскоре одну из главных улиц Шанхая, авспю Жоффр, стали называть Русской улицей — на ней располагалось большинство магазинов, ателье, мастерских, кафе, которыми владели выходцы из России. В этой же части города находился и знаменитый ресторан «Ренессанс», в котором выступал Александр Николаевич Вертинский, когда поселился в Шанхае.

История Международного сеатлмента к тому времени уже насчитывала более полувека. Он возник в Шанхае во второй половине XIX столетия, когда победившие в Опиумных войнах англичане, заставившие китайцев выращивать индийский опий на своих полях, начали ввозить в Китай хлопчатобумажные и шерстяные ткани из Ланкашира. Естественно, для этого понадобился открытый порт, и под угрозой пушек англичане этого добились. Так возник «открытый порт» Шанхай.

На берегу реки Вампу китайцы выделили большой болотистый участок, который начали заселять иностранные торговцы. Поскольку в большинстве своем они были англичанами, возникло это название — «сетглмент». А соседний кусок земли захватили французы и основали Французскую концессию.

Международный сеттлмент был в подчинении Королевства Великобритания, хотя официально управлялся консульским корпусом и имел соединенный герб: три щита, соприкасавшиеся концами, а на каждом из щитов по четыре флага. Двенадцать флагов Наций, участвовавших в образовании сеттлмепта, среди которых были и старый русский флаг, и флаг Прусского королевства, а опоясывал эти щиты латинский девиз: «Все — объединенные в одно».

В 1900 году в Петербурге была издана на русском языке книга немецкого журналиста Гессе Вартега, путешествовавшего по этим экзотическим землям в 882—1883 годах, «Китай и китайцы». Его описание Шанхая той поры любопытно сопоставить с заметками И. А. Гончарова. Эти впечатления русского писателя и немецкого журналиста разделены всего четвертью века, а как различны два облика города!..

«Шанхай называют Парижем Дальнего Востока, и он действительно таков, — пишет Гессе Вартег. — В сравнении с Шанхаем все остальные оевропеившиеся города Восточной Азии: Сингапур, Гонконг, Батавия, Манила, Йокогама, Кобе, Нагасаки — отступают на задний план. Многие из них красивее, обширнее, приятнее, но ни один из них не ведет такой огромной сухопутной и морской торговли, не отличается таким развитым, свободолюбивым и добродушно-веселым населением… Здесь не придется, конечно, любоваться какими-нибудь архитектурными или другими подобными чудесами на наш лад — нельзя забывать, что Шанхай в Китае. Но все-таки люди, переселившиеся в эту болотистую нездоровую низменность при устье Янцзы, сумели устроиться в этом европейско-китайском Вавилоне поразительно хорошо — приятно и целесообразно».

Виктор Смольников в своей книге «Записки шанхайского врача» пишет, что Международный сеттлмент в Шанхае был создан по типу независимой республики, управляемой купеческой олигархией, имевшей собственную армию и прочие атрибуты суверенного государства, а сам Шанхай напоминал своим устройством средневековую Лигу ганзейских городов.

Кто-то очень точно назвал Шанхай раем для авантюристов. Приехав в Шанхай и поселившись в гостинице, можно было назвать себя хоть Нострадамусом, хоть графом Монте-Кристо — никого не волновало, кто ты есть на самом деле, лишь бы платил за номер вовремя!.. Никакого паспортного режима, никаких официальных строгостей.

Шанхай был старше Харбина всего на четыре-пять десятилетий. Он был почти полностью построен на сваях; шестиметровые стволы забивали в почву один на другой по пять-шесть, чтобы построить обычные здания. Чтобы возвести высотное здание, надо было забить до сотни стволов.

Когда харбинцы устремились в Шанхай, там уже жило много их соотечественников. Это были приехавшие сюда в конце XIX века служащие Русско-китайского банка, консульств, чаеторговцы. Когда японцы во время Русско-японской войны захватили южную ветку КВЖД, русские отправились в Шанхай в поисках лучшей доли. Затем к ним прибавились беженцы, офицеры белой армии со своими семьями…

К началу 1919 года в Шанхае было уже около 1600 русских, а к 1925-му году — свыше 10 000! Они объединялись в различные общественные организации и мечтали о возрождении старой России.

«Эмигрантские патриотические действия, эмигрантский национальный дух в самой большой мере поддерживаются

авторитетом национальных организаций, вселяющих в эмиграцию уверенность в правоте национального движения за Возрождение России, — писал В. Д. Жиганов. — Только своевременными мерами организаций и самопожертвованием отдельных общественных руководителей, а равно и щедростью некоторых русских и иностранных резидентов Шанхая объясняется то обстоятельство, что к сегодняшнему дню русские в Шанхае представляют из себя сильную колонию с высокоморальными качествами, как раз необходимыми и для жизни на чужбине, и особенно для жизни в будущей, обновленной, после свержения большевизма, национальной России».

Они верили, свято верили в то, что наступят времена, когда их обновленная Родина, из которой совместными усилиями будут изгнаны большевики, примет своих детей в материнские объятия.

Можно ли судить их за это?..

Между тем русские, приезжавшие в Шанхай из оккупированного Харбина, из других городов и селений Маньчжурии, теперь были больше озабочены тем, как найти работу и обрести дом здесь, на земле Китая.

Так начиналась новая страница русской истории Шанхая.

И она была совсем иной в сравнении с историей Харбина. Там русские строили свой город, хранили свою культуру, свой особый мир — мир дореволюционной России. Здесь, в Шанхае, был другой мир, в который надо было войти, вписаться. Это был мир колониальный, в котором сосуществовали, более или менее успешно, устои Китая и нескольких крупнейших европейских стран.

В этом и состояла особенность.

В этом и заключалась сложность и — своеобразная прелесть существования.

Тем, кто приехал из Харбина, Шанхай показался настоящим Вавилоном. «Желтым Вавилоном», как его называли.

Интересно продолжить сравнение впечатлений И. А. Гончарова и Гессе Вартега о Шанхае.

Прошло всего четверть века после посещения города русским писателем, и вот уже немецкий журналист видит все словно другими глазами:

«Поразительно — здесь как раз подходящее выражение… Во время первой прогулки по шанхайской набережной я почувствовал себя словно на европейском курорте, в какой-то северной Ницце, — таким изящным, роскошным, аристократическим и главное европейским городом казался Шанхай со стороны реки… Торговые фирмы скорее можно было бы принять за роскошные особняки частных лиц, так они красивы

и приветливы, такие перед ними уютные садики. И нигде ни малейших признаков, неприятно отличающих обыкновенно центры оптовой торговли… Я ни разу не видел на этой удивительной улице ни единого тюка, ни одной ломовой телеги, ни одного крючника. Все идет в Шанхае так чинно, гладко. В крупных деловых конторах царит самый изысканный тон, светские изящные манеры, совершенно не похожие на то, к чему мы привыкли у себя дома… Имея дело со здешними деловыми людьми, выносишь впечатление, как будто это все очень богатые, отлично обставленные джентльмены, занимающиеся делами лишь в виде спорта. Все деловые сделки заключаются за чашкой послеобеденного чая в Шанхайском клубе. Раньше десяти утра открываются лишь немногие конторы, а в полдень к большинству из них уже подкатывают шикарные экипажи, чтобы отвезти принципалов в клуб или домой обедать; после обеда в конторах занимаются еще часика два, и деловой день закончен».

Конечно, в этой идиллической зарисовке есть несколько уязвимых мест: Вартег не видел тюков по той причине, что кули запрещено было ходить по главным улицам Шанхая со своим грузом. Тем более что склады находились прямо на берегу, рядом с портом. Полуобнаженные кули разгружали пароходы. Когда они проходили со своими мешками мимо контролера, он давал им палочку сантиметров в двадцать пять — тридцать длиной. По этим палочкам в конце рабочего дня кули получали деньги: сколько палочек — столько и мешков перенес.

Да и вообще китайским рабочим не позволялось появляться в европейской части города — до начала Тихоокеанской войны китайцам запрещено было посещать иностранные парки и гулять по аллеям, ходить в большую часгь европейских ресторанов и кафе. Как все колониальные страны и города, Шанхай того времени четко обозначал: что можно коренному населению, а чего нельзя. И нет ничего странного в том, что журналисты, писатели, люди, приезжавшие в Шанхай на непродолжительное время, видели только внешний блеск и очаровывались им.

В упоминавшихся уже «Семейных хрониках» Мария Бородина приводит фрагмент из книги Вики Бауит «Шанхай 1937»:

«Город проступает сквозь белую утреннюю дымку. Гигантский город. Жестокий город. Предприимчивый, опасный и соблазнительный Шанхай — Город-у-моря. Три с половиной миллиона спят под его крышами, в небоскребах и особняках, в роскошных отелях и в лодках, на тонких тюфяках и в удобных кроватях… И вот они проснулись, миссионеры и миллионеры, победители и побежденные, шантажисты и жертвы… Французские, русские, сикхские и китайские полицейские

наводят на улицах порядок. В укромных местах банды воров и взломщиков делят ночную добычу. В банках поднимаются жалюзи, в ночных клубах их закрывают. Моряки бредут к своим суднам. Сотни джонок разворачивают коричневые паруса… Бормочущие священники зажигают свечи и воскуряют благовония у алтарей всех религий мира… Многие пустили корни в эту чужую для них землю и уже не мыслят свою жизнь без этого жаркого, влажного и тяжелого воздуха Шанхая».

Что мог Шанхай предложить тем, кто приехал из Харбина, кроме ошеломляющего ритма жизни, кроме борьбы за выживание, кроме… Кроме надежды, что здесь окажется лучше?

Наталия Ильина вспоминает, как встревожена была ее мать, когда дочь отправилась искать лучшей доли в Шанхай: «Русские эмигранты стремились в Шанхай… Рвалась в Шанхай и я. Втроем мы ехать не могли. Не на что, да и кто-то должен был остаться в тылу. Отпускать меня одну мать долго не решалась… Наконец скрепя сердце согласие свое дала. Согласилась и на то, что я брошу, не доучившись, Ориентальный институт. Было решено, что за лето я освою английскую машинопись, а осенью поеду в Шанхай».

Как говорится, «хорошо там, где нас нет». Шанхай с расстояния воспринимался как земля обетованная. По слухам, многие из харбинских беженцев нашли там жилье и работу. Почему бы не попытать счастья? — так думали многие харбинцы.

Шанхай по сравнению с Харбином был огромным городом с причудливо смешанными западными и восточными чертами. Здесь надо было не просто жить, а бороться за выживание. Здесь надо было доказывать свое право на существование многочисленным «хозяевам жизни»: англичанам, американцам, французам, японцам — всем тем, от кого зависела возможность получить работу.

А возможность эта существовала и по сравнению с Харбином была поначалу довольно привлекательной. Ольга Ильипа-Лаиль вспоминает, как в конце 1930-х годов плыла на пароходе в Шанхай из Пекина. В Шанхае уже жила в это время ее мать, Екатерина Дмитриевна, устроилась старшая сестра, Наталия Ильина. Только Ольга была еще неспокойна за свое будущее, но рядом с матерью и сестрой надеялась обрести уверенность в завтрашнем дне.

На этом пароходе Ольга открыла для себя новый мир, «мир хорошо одетых женщин в красивых пестрых платьях, элегантно сшитых. Молодые, уверенные в себе девушки глядят свысока. Вот семья — мать, две дочери и маленький мальчик. Они из Шанхая, их отец работает в Международной концессии. Они тоже русские,

но глава семьи имеет постоянную, хорошо оплачиваемую работу, квартиру, и это вселяет в девочек чувство превосходства. Они не смешиваются с другими пассажирами, остаются с матерью и переговариваются между собой то по-английски, то по-русски. А вот еще одна группа молодых женщин, они тоже красивы и хорошо одеты, но держатся гораздо проще, они не снобы, и я легко завязываю с ними разговор. Одна из них, Наташа, особенно приветлива. Она рассказывает мне о Шанхае, дает адреса китайских портных, которые шьют ей красивые платья».

Встречавшая Ольгу в порту Екатерина Дмитриевна Ильина сразу же отметила в Наташе и ее подругах определенные черты — это были «девушки из бара», не самая низкая ступень эмигрантской жизни, но все же для Екатерины Дмитриевны совершенно неприемлемая.

Была ступень и ниже.

Часто девушки из малообеспеченных семей, приезжавшие из Харбиина в Шанхай в надежде найти работу, попадали в публичные дома. Они не могли устроиться на работу, не зная иностранных языков, машинописи и еще многого другого, что делало бы Их конкурентоспособными в условиях деловой шанхайской жизни, не могли стать и прислугами — этим Снимались китаянки за такие деньги, на которые не могла бы прожить ни одна девушка-иностранка. И Дорога оставалась одна — в публичный дом на то недолгое время, пока девушка свежа и привлекательна.

Спустя несколько лет она все равно оказывалась на улице…

«Шанхай очень своеобразен и неповторим, и именно это шокировало европейского или американского туриста, — пишет Виктор Смольников. — Отсутствие законов и правил, принятых у «себя дома», заставляло думать, что Шанхай гнездо пороков, скопище таинственных опиекурилен. Это не так. На территории международного сеттлмента было сколько угодно публичных домов (думаю, не больше, чем в Париже, Нью-Йорке или в Лондоне), но не было стриптиза. Не потому, что стриптиз считали аморальным, а потому, что это — американское изобретение, сетглмент же был практически английской колонией, а у англичан в те годы стриптиз еще не вошел в быт. Зато в частных домах играли в стрин-покер с полным раздеванием, но это никого не касалось.

Шанхай был не более аморален, чем любой другой капиталистический город… Путешественники думали найти здесь какие-то особые восточные пороки. Это чушь. Пороки, как и болезни, универсальны. Правда, есть тропические болезни, но тропических пороков лет».

Это наблюдение Виктора Смольникова особенно интересно — в нем естественно сочетаются черты психологии человека, родившегося и прожившего в Китае четыре десятилетия, и черты психологии шанхайского врача, познавшего город и его население значительно лучше, чем банковский служащий или даже самый дотошный путешественник. Смольников знал Шанхай изнутри, со всеми его пороками и болезнями. Свою книгу он написал много лет спустя, уже в России, в Москве, вспоминая город, где прошла его юность, где формировались его профессиональные и человеческие ценности. Чаще — в противоречии со средой, с образом жизни…

По мнению русских и китайских исследователей, жизнь российской колонии в Шанхае в 1930-х годах существенно изменилась к лучшему по сравнению с предыдущим десятилетием. Около 70 процентов русских эмигрантов имели постоянную работу, наиболее распространенными в эмигрантской среде профессиями были коммерсант, врач, юрист, журналист, преподаватель, таксист, охранник… Меньшую часть составляли телохранители и разного рода прислуга. Не так уж плохо, если сравнить с другими островами русского Рассеяния!..

Поданным шанхайского Беженского комитета, в 1931 году усилился поток беженцев из СССР. Люди спасались от насильственной коллективизации в Сибири и Забайкалье — их прозвали «тридцатниками». В основном это были крестьяне из Приморского, Хабаровского краев, Амурской области — приграничных территорий. В следующее десятилетие сведений о беглецах из социалистического рая в комитет не поступало: то ли ужесточились пограничные дозоры, то ли бежать уже было некому и некуда…

Один из убежавших в Шанхай крестьян, А. Кузнецов, вспоминал впоследствии, что в 1931 году жители деревни Соловьево из-под Зыряновска перебрались в Маньчжурию практически всем колхозом — 250 домов. И почти все они, за исключением тех, кто эмигрировал позже в Латинскую Америку, были арестованы в 1945 году по обвинению во «вредительстве против колхозов».

В 1935 году из Харбина в Шанхай перебрались 2285 эмигрантов и 204 советских гражданина и, пожалуй, именно с этого момента понятие «русский» стало тождественно понятию «эмигрант».

С борта парохода Шанхай выглядел особенно величественным — огромный город, застроенный небоскребами, современная западная архитектура с Расстояния совершенно подавляла традиционную китайскую; не было ощущения, что ты

прибыл в восточный мир, облик города поражал, приходилось невольно убеждать себя в том, что пусть не сегодня и Не через месяц, но через год, через несколько лет этот мир станет твоим, он распахнет перед тобой двери в новую жизнь, он одарит хотя бы толикой своих щедрых возможностей!..

Двойственное чувство, так хорошо знакомое обитателям островов Рассеяния, запечатленное в мемуарах, в стихах и романах. Часто иллюзорное, но такое манящее…

Когда разглядываешь фотографии, запечатлевшие улицы и площади Шанхая 1930— 1940-х годов, поражаешься современности и европейскому обличью этого города: здания, обилие машин, трамваи, вывески на нескольких языках, торопящиеся куда-то прохожие, среди которых очень мало китайских лиц, а явное преобладание европейских, нарядно оформленные витрины магазинов, со вкусом, по-европейски одетые женщины…

Смольников писал, что при всех контрастах Шанхай поражал своей свободой и внутренней раскованностью: здесь трудно было встретить непримиримость любого рода — к религии, к обычаям разных народов, к моде, к пище. Все принималось радушно и, в сущности, равнодушно. Кроме, пожалуй, одного — коммунистических идей. Но с ними боролись бескровно, просто замалчивали, делая вид, что такого в природе не существует. Прожив сорок лет в Китае, Виктор Смольников узнал о существовании китайской коммунистической партии только перед самым окончанием Второй мировой войны. Так что в каком-то смысле замалчивание было куда эффективнее воззваний против…

Из «Воспоминаний шанхайского врача» Виктора Смольникова можно узнать многие и многие нюансы жизни русских в Китае и понять, почему им далеко не всегда удавалось с достоинством переносить унижения, приходилось переламывать что-то очень важное в собственной природе, чтобы выжить.

Казалось бы, немыслимые сложности существования, беды и унижения должны были воспитывать в людях комплексы такой сильной социальной неполноценности, что тоска по Родине могла бы выродиться в отторжение от нее — оттолкнувшей, вытеснившей, не нуждающейся в тебе. И такое бывало. Но чаще происходило совсем наоборот.

1934 годом, очень нелегким для всех обитателей китайского острова Рассеяния, датировано стихотворение Валерия Перелешина «Мы». Стихотворение, которое заставляет очень серьезно задуматься.

Нас миллионы — вездесущих.
Бездомных всюду и везде.
То изнывающих, то ждущих.
То приучившихся к беде.
Земные ветхие границы
Мы исподволь пересекли;
Мы прежние свои столицы
В столицу мира отнесли.
Во всех республиках и царствах,
В чужие вторгшись города,
Мы — государства в государствах.
Сплотившиеся навсегда.
Разбросанные по чужбинам.
Встречаемые здесь и там.
По всем краям и украинам,
По широтам и долготам,
Все звезды повидав чужие
И этих звезд не воэлюбя, —
Мы обрели тебя, Россия,
Мы обрели самих себя!
На мерзлых полюсах планеты,
Подтропиками там и тут
Какие к нам слетают светы,
Какие яблони цветут?
Не мы ли — белый мозг арийства.
За белизну и красоту
Терпели голод и убийства,
И ненависть, и клевету?
Мы стали русскими впервые
(О, если бы скостить века!).
На звезды поглядев чужие,
На неродные облака.
И вот, на древние разбродм,
На все разлады несмотря,
Мы знаем — русского восхода
Лишь занимается заря.
Пусть мы бедны и несчастливы
И выбиваемся едва,
Но мы выносливы и живы,
И в нашем образе жива —
Пусть звезды холодны чужие —
Отрубленная голова
Неумирающей России.

Валерий Перелешин, чье имя уже встречалось на этих страницах, попал в Харбин семилетним ребенком. Закончив образование, стал профессиональным синологом, а в 1932 году начал печататься в русскоязычных изданиях Харбина и Шанхая. Работал в Русской духовной миссии в Пекине, затем жил в Шанхае, Тяньцзине. В 1952 году приехал в Бразилию. Умер он в Рио-де-Жанейро в 1992 году, не дожив нескольких месяцев до 80-летия…

Перелешин принадлежит к числу тех поэтов «русского» Китая, кто все-таки вернулся в Россию стихами — отказавшись от литературной деятельности почти на десятилетие, Валерий Францевич вновь обратился к ней в конце 1960-х годов и был признан одним из лучших поэтов русского зарубежья: к 1991 году количество изданных им книг на разных языках превысило два десятка. Среди наследия Перелешина — стихи, переводы с английского и китайского, мемуары, автобиография. Но даже если не знать биографии Валерия Перелешина, стихотворение «Мы» представляется для нас чрезвычайно важным, потому что в нем запечатлено и осмыслено то душевное смятение, которое было характерно для большей части русской интеллигенции островов Рассеяния.

Смятение, но и ощущение национальной гордости, ощущение того, что «русского восхода лишь занимается заря»; какой она будет — Бог весть, но что-то очень важное должно произойти в мире, чтобы Россия (даже социалистическая) заняла свое исконное место среди стран мира, утвердила свои идеалы, свою возможность выжить даже и с «отрубленной головой»…

Удивительно, но именно на чужбине люди впервые так остро почувствовали национальную гордость, осознали, что их Родина жива и с «отрубленной головой», а потому каждый должен сделать в жизни что-то прославляющее Россию, сохранив ее язык, ее традиции, ее культуру.

Русская колония в Шанхае, как и в Харбине, старалась вести дореволюционный образ жизни — отмечали православные праздники, читали своим детям книжки, которые читали им в далекой России их родители, берегли язык…

В 1933 году в Шанхае был основан кафедральный собор в честь иконы Божией Матери — Споручницы Грешных, и, молясь этой иконе, люди верили в то, что, грешные поневоле, они обретут пристанище и покой…

Ольга Ильипа-Лаиль вспоминает: когда она приехала в Шанхай и поселилась с матерью в пансионе (Наталия Ильина жила отдельно, в маленькой квартирке), один из обитателей этого русского пансиона по имени Миша рассказал ей о русской

колонии. «Хотя русские эмигранты — люди без гражданства, мы до последнего времени жили в Китае совершенно свободно. Те, кто хорошо знает английский, находили себе работу в Международной концессии или у французов. Многие старые военные пошли служить в полицию и даже в английскую и французскую армию. Тем, кто не владел английским или французским, было труднее найти работу. Многие нанимались «телохранителями» к богатым китайцам, приспосабливались к здешней жизни как могли. Русские, родившиеся и выросшие в Шанхае, обычно хорошо говорят по-английски и знают китайский, им тут жить полегче.

Шанхай — деловой центр, миллионеры живут в великолепных домах, а китайские бедняки в Соломиных хижинах; некоторые из бедняков обитают в лодках-сампанах прямо на реке Вампу (Хуанпу). Это город контрастов, роскошь здесь соседствует с полной нищетой, солидные банки — с притонами, честные люди — с аферистами. Международной копцессии и Китайскому городу противостоит спокойное благонравие Французской концессии. В первых двух — ночные рестораны и бордели, где проводят время моряки со всех кораблей, зашедших в Шанхай. Там часто случаются драки между матросами, недаром улица, которая ведет в Китайский город, получила прозвище Кровавой аллеи. В этом городе полно шпионов-коммунистов и шпионов других стран.

Вампу и другие реки имеют грязно-желтый цвет, да и весь Шанхай словно припорошен пылью. Здесь вы не увидите такого синего неба, как в Пекине. Климат здесь холодный, зима сухая, но более теплая, чем в Пекине. Лето в Шанхае жаркое и очень влажное, весной и летом идут затяжные дожди. На всем Дальнем Востоке Шанхай имеет дурную репутацию из-за своих сомнительных баров, притонов, белых проституток из Европы и Азии. Хотя не стоит преувеличивать, в этом смысле Шанхай не хуже и не лучше большинства портовых городов мира».

Наблюдение неизвестного нам Миши, зарабатывающего на жизнь торговлей почтовыми марками, очень важно, особенно если сравнить его с приводившимися уже воспоминаниями Виктора Смольникова. Если убрать из цитаты упоминания Шанхая, Пекина, мы получим картину любого европейского портового города той эпохи, будь то Марсель или Константинополь.

И тогда рассеивается экзотический налет, который невольно сопровождает нас в путешествии по «русскому» Китаю, и исчезает принципиальная разница между многочисленными островами Рассеяния.

И тогда становится совершенно очевидно, что переезд из Харбина в Шанхай действительно становился для русских освоением совершенно иного космоса — из провинциального русского мира, приукрашенного восточным орнаментом, они попадали в европеизированную часть восточной страны, которая уже не могла восприниматься, как Харбин.

Но и как Европа тоже полностью не воспринималась…

В 1920 году в Шанхае появилась первая русская эмигрантская газета «Шанхайское новое время». Ее учредила российская поэтесса Елена Гедройц. Следом начали появляться и завоевывать популярность «русское эхо», «Шанхайская жизнь», «Новое слово», «Россия», «Шанхайская заря»…

Тиражи некоторых из этих изданий могли соперничать с популярными английскими газетами — издания русского Шанхая мгновенно раскупались и бурно обсуждались. Мы еще непременно вернемся к ним на этих страницах. Пока же отметим, что и здесь, в Шанхае, при всех отличиях от Харбина, складывалась жизнь русского общества, какую почти невозможно себе представить, задумываясь о других островах Рассеяния, где тоже скапливались и сбивались в общества русские, издавали свои газеты, но о подобном размахе не могло быть и речи.

20 ноября 1932 года состоялось собрание представителей русской общественности и делового мира. Оно было многолюдным, оживленным, выступления были эмоциональными, но и конструктивными. В частности, генерал И. С. Смолин высказал очень важную мысль: «Все иностранные колонии в Шанхае имеют здесь клубы, русская же колония, несмотря на свою многочисленность, благодаря существующему в ней дроблению на разнообразные организации, составляет досадное исключение, ничем не оправдываемое. Русская общественность нуждается в объединении до некоторой степени нейтральном… Общественное Собрание, являясь аполитичным и внепартийным, ставило бы своей основной задачей… объединение Русской колонии».

Это очень важное признание! Оказавшиеся по воле судьбы в Шанхае русские не столько нуждались в Разного рода организациях, сколько в общении, только оно могло дать людям ощущение полноценной жизни в колониальном городе, ощущение своей Нужности — хотя бы друг другу. И не политические Пристрастия должны были объединять, а значительно более важные вещи: единство и единственность той земли, которая родила и отпустила или — изгнала; ее язык, ее культура, ее неповторимость…

В клуб принимали всех желающих — нужно было лишь

получить две письменные рекомендации. «Фамилии вновь записавшихся лиц регистрировались в книге и, кроме того, вывешивались на видном месте в собрании, — пишут М. Дроздов и Л. Черникова. — В течение двух недель лица эти в качестве гостей пользовались правом бесплатного посещения собрания, после чего вопрос об их принятии в члены собрания решался Комитетом старшин закрытым голосованием, простым большинством голосов… Каждый член Русского клуба имел право приглашать на собрание в качестве посетителей как русских граждан, временно приезжающих в Шанхай, так и иностранцев, причем фамилии посетителей обязательно записывались в книгу для гостей за подписью двух членов собрания… В течение первых двух лет существования в Русском клубе устраивались танцевальные вечера, спектакли и лекции, в его помещении часто происходили заседания различных общественных организаций, производилось обучение русских бойскаутов. Здесь же были открыты курсы поварского искусства для девушек, обеды которых (по средам) пользовались большой популярностью у русских эмигрантов Шанхая. В библиотеке клуба имелся целый ряд русских газет и журналов, а одна из комнат была отдана в пользование Русской торговой палате в Шанхае».

Но это было уже позже, когда жизнь Русского клуба устоялась, оформилась окончательно.

Шанхай ослеплял и пугал приезжавших из Харбина огнями, яркими вывесками, рекламой, многоэтажными зданиями, автомобилями, толпами на улицах, разнообразием и богатством магазинных витрин и — невозможностью сразу найти работу. Надо было встроиться в стремительный ритм жизни этого большого города, едать было нечего — мало кому предлагалось место работы, жилье, условия жизни. Всего приходилось добиваться, прилагая максимум усилий, энергии, желания выжить, потому что русским здесь было значительно труднее, чем американцам, англичанам, французам. Они были «беспаспортными», не имели гражданства, потому что их страны, России, больше не существовало, а к Советскому Союзу эти люди никакого отношения не имели. По воспоминаниям Олега Лундстрема, русские считались в Шанхае довольно дешевой рабочей силой, поэтому их принимали на работу довольно охотно.

Но все-таки были среди них и те, кому удалось сделать карьеру.

«Н» аш отец в 1932 году основал в Шанхае лабораторию по производству красок, — пишет в «Семейных хрониках» Мария Бородина. — Со временем эта небольшая мастерская

превратилась в крупное предприятие под названием «Олма кемикалс». До самого отъезда нашей семьи из Шанхая (в 1954 году. — Н. С.) дела у отца шли успешно, несмотря на немалые трудности, связанные и с войной, и со сменой власти в Китае, которая тогда побывала и в руках у старого китайского правительства, и у японцев, и у гоминьдановцев, а под конец перешла к Красной Освободительной армии».

Архитектор и инженер-строитель Александр Владимирович Куклин, давний друг Владимира Александровича Бородина, добился, по эмигрантским масштабам, успеха совершенно ошеломляющего: он руководил постройками водозаборных резервуаров в горах Люшань, участвовал в строительстве православного собора, за что Пекинская духовная миссия наградила его орденом Святого Владимира. По его проекту и под непосредственным руководством были возведены многие дома в Шанхае, в частности на явсшо Жоффр. Кроме того, Александр Владимирович был на протяжении ряда лет главным консультантом по сохранению древних сооружений Китая…

Братья Филадельфовы — Николай, Алексей и Артемий — были ведущими инженерами в различных строительных областях, и многие иностранные Фирмы высоко ценили их как специалистов.

Некто А. Г. Чибуновский (на протяжении второй половины 30-х годов он был вице-председателем Русского клуба), с которым была близка семья Бородиных, проявил себя незаурядным финансистом. Создав в Шанхае Торговую палату и Русское общество взаимного кредита, Чибуновский весьма успешно вел дела в условиях жесточайшей конкуренции…

Но это были все-таки единицы. Большинство русских с трудом сводили концы с концами.

Приезжая в Шанхай, они селились в маленьких пансионах, по преимуществу принадлежащих русским хозяйкам — женщинам, в свое время попавшим под покровительство богатых иностранцев. Расставаясь со своими былыми привязанностями, эти иностранцы обеспечивали их жизнь, покупая небольшой дом или большую квартиру для устройства пансионата. Поначалу в одном из таких пансионатов поселилась Наталия Ильина — она приехала к харбинской знакомой Анечке М., занимавшейся когда-то английским языком с Екатериной Дмитриевной Ильиной, а теперь служившей в американской фирме «Шанхай пауэр компани» мелкой технической служащей: «75 долларов в месяц, этого и на пансион хватает, и одеться можно. Утром она вливается в толпу служащих, атакующих трамваи и автобусы, ах, как бы мне хотелось тоже туда влиться, и чем Анечка лучше меня,

ей просто повезло, она вовремя в Шанхай приехала… Белые кружевные воротнички, белые ручки, ноготки, покрытые бледно-розовым лаком, голубоглазая, длинноносая, скучная, глубоко положительная. Мне бы любить ее, быть ей благодарной (ведь приютила!), а я не люблю, что-то в ней постоянно раздражает меня, это низко, скверно, это, видимо, зависть…»

Хозяйкой пансиона была женщина средних лет с типичной биографией. В юности она работала в баре, а потом с помощью покровителя-иностранца скопила деньги на покупку пяти-шестикомнатной квартиры, где и устроила пансион. Жили здесь самые разные люди, в основном девушки из баров, которые спали до обеда (обед входил в плапу за комнату), а потом, преобразившись в красавиц, уходили на свою ночную работу. Из служащих, кроме Анечки М., жил здесь некий билетный контролер из Шанхайской Трамвайной компании.

Здесь же началась творческая биография Наталии Ильиной: в газете «Шанхайская заря» в 1937 году был опубликован ее первый фельетон о дороге из Харбина в Шанхай, под псевдонимом «мисс Пэн», придуманным для Ильиной редактором Львом Валентиновичем Арнольдовым. Екатерина Дмитриевна Ильина знала его еще в Харбине молодым журналистом и, когда Наталия собралась в Шанхай, написала старому знакомому письмо с просьбой пристроить, если возможно, ее дочь в газету. Арнольдов был простым служащим в «Шанхайской заре», он также зависел от владельца газеты, Кауфмана, как и прочие сотрудники, подал возможность молодой, неопытной журналистке попробовать свои силы. Получилось!.. И хотя прожить на газетный заработок было невозможно и оставалась необходимость искать какую-то постоянную, сносно оплачиваемую работу, Ильина была счастлива — ей казалось, что она нашла свою нишу, свое пространство в этом огромном мегаполисе. Город больше не пугал, он становился своим.

После первой публикации молодая журналистка получила приглашение на завтрак к редактору Льву Валентиновичу Арпольдову домой и в ее описании этого торжественного дня содержится замечательная картинка одного из уголков Шанхая: «Был слякотный шанхайский январь, путь мой лежал через прекрасную улицу Кардинал Мерсье: справа белое здание Французского клуба и забор сада, напротив многоэтажный отель «Катей Мэншэнс», к нему ленится целый квартал одинаковых одноэтажных строений — магазины одежды, косметики, галантереи с манящими витринами. Катились по асфальту машины, трусцой бежали рикши, дамы в мехах входили в магазины, этот город уже не пугал меня. Вкусно накормленная,

осыпанная похвалами, я была бодра и верила в себя, шагалось весело…»

Так и видишь это, словно собственными глазами, — и слякотный январь, и город, с его запахами, освещением, расцветкой, и — это удивительное ощущение молодости и скрытых в ней возможностей, когда все кажется по плечу. Для этого надо быть лишь сытой, согретой добрыми словами, окрыленной надеждой…

Справедливости и полноты обзора ради надо сказать хотя бы несколько слов о Льве Валентиновиче Арнольдове. Скромный харбинский журналист, только еще осваивающий это непростое поприще, Арнольдов вовремя уехал в Шанхай, где сделал весьма успешную карьеру, практически не имея никаких связей. В то время, когда с рекомендательной запиской своей матери к нему обратилась Наталия Ильина, Лев Валентинович не только уверенно стоял на ногах, но и вызывал недоброжелательность своих менее устроенных соотечественников. Человек энергичный, деятельный, профессиональный, Арнольдов был настоящим журналистом. Будучи равноправным с другими сотрудниками газеты, он являлся бессменным автором передовиц в «Шанхайской заре», редактировал большинство материалов, соответственно, зарабатывал больше и это тоже не укрепляло добрых чувств к нему. Во всяком случае, Ильина вспоминает: когда он впервые привел ее в репортерскую, чтобы представить, там грохотали пять машинок и оторвавшиеся от своей работы пять пар глаз посмотрели на будущую сотрудницу с нескрываемой ненавистью. Конкуренция была огромной, поэтому приход любого нового репортера рассматривался как угроза скорого увольнения.

Наталия Ильина запечатлела портретные черты Льва Арнольдова: «Шел по коридору своей гусиной походкой, развернув ступни, заглядывал в репортерскую — невысокий, лысый, голубоглазый, с уютным брюшком, в пухлой, женской руке сигара. Бело-розовый и выхоленный, он одевался на иностранный манер — пиджаки из рыжего твида, серые фланелевые брюки, вязаные жилеты… А бывало, что ночью Арнольдов появлялся в лакированных ботинках и видневшемся из-под пальто смокинге, что означало: только что с банкета! В этой прокуренной, с грязными степами репортерской он выглядел существом из иного мира, из мира коктейлей, дорогих отелей и автомобилей последних марок. Стоя на пороге, слегка покачиваясь на носках, Арнольдов снисходительным взглядом окидывал репортеров в их кургузых пиджаках с чужого плеча (раз в год в помещении англиканской церкви «Юнион черч»

устраивалась благотворительная ярмарка, где неимущие эмигранты могли приобрести за полцены поношенные, богатыми людьми пожертвованные предметы одежды), произносил: «Ну-с, ну-с, трудитесь!» — и исчезал, оставив после себя запахи сигары, одеколона, иногда чего-то приятно-алкогольного. Арнольдова начинали поносить, едва за ним закрывалась дверь, а уж смокинг особенно тяжело действовал на нервы репортеров…»

Но не только внешний вид Льва Валентиновича раздражал. Его барственный тон, это покровительственно-снисходительное «ну-с, ну-с…», его склонность читать нотации нерадивым и недостаточно профессиональным репортерам, а главное — восторженность перед всем иностранным и членство во Французском клубе, куда эмигрантов допускали с большой неохотой.

Арнольдов был холост, жил с матерью. Ходили смутные слухи о том, что женщины вообще его не интересуют и по вполне понятным причинам, но, что называется, свечу никто не держал и доказать ничего не мог. Скорее всего, вызывала раздражение, с одной стороны, его устроенность в жизни, с другой же — тот «отказ» от собственной эмигрантской природы, который усматривали в членстве во Французском клубе и поклонении иностранным модам, привычкам, пристрастию к определенным напиткам и пище.

Казалось бы, кому какое дело? Но эмигрантское сообщество жестоко, оно в массе своей не прощало благополучия, видя в нем продажность, умение подладиться к чужим принципам жизни.

Именно эти чувства в Шанхае в 1930-х годах раздирали эмигрантское сообщество, внося в него еще больший раздор и противоречия. На те социальные Расслоения, которые отнюдь не исчезли в людях, принужденных приспосабливаться к жизни в чужой стране, наслаивались новые, уже этой реальностью рожденные: юо как сумел устроиться? Кто как сумел зацепиться?.. Да, зависть, ненависть, озлобленность тоже были частью жизни «русского» Китая.

Город дневной, город ночной — Шанхай был многоликим…

Лариса Андерсен, поэтесса, о которой говорилось в предыдущей главе, писала стихи отнюдь не для заработка — пожалуй, ни в какие времена поэтическим творчеством нельзя было заработать свой хлеб. Особенно — горьковатый эмигрантский хлеб. Но Андерсен была прекрасной танцовщицей, и в некоторых ночных клубах Шанхая она являлась «гвоздем программы» — по воспоминаниям Наталии Ильиной, Андерсен была «красивая, гибкая, синеглазая женщина», сама о себе сказавшая:

Я прохожу по длинной галерее.
Вдоль стен стоят большие зеркала.
Я не смотрю… Иду… Иду скорее…
Но нет конца зиянию стекла.
Я, всюду я. Назойливая свита!
Рабы. Рефлексы. Тени бытия…
Беспрекословной преданностью слиты
С моей судьбою. Так же, как и я.
Одна, как яблоня, в покрове белом…
Да, яблоня… Так кто-то звал меня…
Другая изогнулась нежным телом,
Просвеченным сиянием огня…
Но кто же я?
Вон та, иль та, иль эта,
Сомкнувшие вокруг меня кольцо?
Из глубины зеркальной, как с портрета,
В лицо мне смотрит мертвое лицо.

В середине 1960-х годов на острове Таити побывал Евгений Евтушенко и познакомился там с Ларисой Андерсен. Она жила с мужем-французом, стихи писать давно перестала, но ничего не забыла за десятилетия богатой на события жизни — ни русского родного языка, ни русских стихов, ни людей, с которыми сводила ее судьба.

И продолжала тосковать о своем навеки потерянном рае так, словно утратила его лишь вчера…

Как уже говорилось, в 1936 году в Шанхае обосновался знаменитый джаз Олега Лундстрема, «Харбинская девятка», как называли эту группу. Первое выступление биг-бэнда состоялось в одном из лучших боллрумов города — «Мажестик» на Бабблинг Велл Роуд. Это был большой танцевальный зал со специальным полом, зеркальными стенами и балконом, на котором можно было в перерыве между танцами вдохнуть свежий воздух, покурить или выпить коктейль…

Олег Лундстрем в уже цитированном интервью рассказывал и о том, что представляли из себя болл-румы и обслуживающие их русские: «Многие из тех, кто приезжал в Шанхай (центр развлечений на Дальнем Востоке), думали, что работают там девочки легкого поведения. Ничего подобного. В кинотеатрах русские девчонки с фонариками разводили по местам опоздавших — никто к ним не приставал. Это не были девицы легкого поведения.

То же самое касается так называемых «дансинг-герлз»,

которые работали на танцах партнершами. Большая часть шанхайских боллрумов была заполнена русскими девушками. Шанхайские боллрумы в корне отличались от тех, что сейчас принято называть увеселительными заведениями. Они существовали отдельно от ресторанов и казино. Туда приходили не есть-пить, а именно танцевать. В перерывах подавались исключительно прохладительные напитки. Большинство клубов были общедоступными, но некоторые считались элитарными. В них были специально отполированные до зеркального блеска полы на мощных пружинах. В роскошный «Парамаут» не пускали посетителей, одетых «не по форме»: мужчине полагался смокинг либо фрак, женщине — длинное вечернее платье. Дамы появлялись в сопровождении кавалеров. Что касается мужчин, они могли прийти и без дамы и партнершу для танцев могли выбрать в зале среди «данс-герлз» — девушек приятной наружности. Кстати, многие из русских девушек имели образование, с ними можно было приятно побеседовать. Купив на входе билетик, одинокий мужчина приглашал на танец понравившуюся ему девушку и вручал ей билетик. За вечер у профессиональной партнерши набиралось до двух десятков таких билетиков — по одному за каждый танец. Это был тяжелый заработок. Каждый вечер после работы девушки отчитывались перед хозяином болл-рума, получая зарплату в зависимости от интенсивности работы. Кстати, в подобных заработках, популярных в ту пору у шанхайских студенток, не было никакой двусмысленности. Зная о строгих правилах танцклубов, мужчины держали себя в рамках приличий…

Было и диск-кафе. Так там все подавальщицы были русские девочки. Хозяин выбирал хорошеньких, они улыбались, всегда приветливо разговаривали с клиентами…

Как раз в это время в Шанхае был знаменитый трубач и аранжировщик, проработавший впоследствии у Каунта Бейси тридцать лет, Бак Клейтон. У него был свой биг-бэнд… Тогда весь мир сошел с ума от джаза и фокстротов!..»

Но не только современная музыка влекла к себе разноплеменное общество Шанхая.

Существовала русская оперетта, примадонной которой была в начале 1930-х годов Екатерина Алексеевна Орловская. Она начала свою карьеру в Харбине в 1926 году, а позже переехала в Шанхай.

Проходили выставки художников, по преимуществу — русских. Такие имена, как Герасимов и Засыпкин, стали известны, благодаря этим выставкам, далеко за пределами Шанхая.

В 1934 году в Шанхае возникло Русское балетное

объединение, организованное Н. М. Сокольским, которое, как декларировалось в статье, опубликованной в газете «Рубеж», намерено было продолжать лучшие традиции русского балета. Первым спектаклем стал «Лайсеум» — программа, состоявшая из грех больших балетных постановок. Зритель мог оцепить шопеновских «Сильфид», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и новаторскую постановку «Маски города». Работали над спектаклем два балетмейстера — Н. М. Сокольский и Э. И. Элиров. Сокольский был учеником С. П. Дягилева, в конце 1920-х годов приехал в Харбин, а уже к 1929-му организовал в Шанхае несколько трупп, в которых выступали известные артисты: Ф. Шевлюгин, Е. Бобынина, Н. Недзвецкая, И. Пестовская, Е. Преображенская, Л. Леонидов, Н. Кожевникова, Н. Чесменская и другие. Русское балетное объединение просуществовало в Шанхае до 1953 года, оно часто гастролировало в Индокитае, Индии, Австралии, на Филиппинах и Гавайях.

Н. М. Сокольский вспоминал в одном из интервью: «Результат для нас был неожиданный: мы увидели, что Шанхай интересуется классическим балетом. И вот теперь уже прошло восемь лет нашей работы. С чувством значительного удовлетворения я могу заметить, что наш желтый Вавилон просыпается от фокстротной «рухляди» и проявляет интерес к красивым формам классического балета».

По отзывам современников, Русский балет пользовался колоссальным успехом у публики. Постановки Сокольского и Элирова шли с аншлагами, в спектаклях участвовали настоящие звезды — ученики М. Фокина, Л. Мясина, А. Андреевой. Здесь же, в Шанхае, начинал свою карьеру японский танцовщик Комаки Масахидэ — основатель балетного класса в Японии. В своей книге о балете он тепло вспоминал историю своего сотрудничества с Русским балетом…

Существовал и Ютуб любителей драматического искусства. Правда, он был английским, но русские, Задевшие языком, могли смотреть здесь пьесы английских и американских драматургов.

В начале 1930-х годов в Шанхае открылось 10-этажное здание шанхайского отделения ХСМЛ. Его открытие сопровождалось рекламой в средствах массовой информации, взволнованным ожиданием. Плавательный бассейн был роскошный (спустя десятилетия именно в нем тренировался Мао Цзэдун перед своим «историческим заплывом» в Янцзы). Комфортабельные залы предназначались для самого разного рода занятий. Конечно, это было довольно дорогое удовольствие, но среди членов ХСМЛ было немало русских, готовых от многого отказаться ради возможности побывать в этих стенах, чтобы позаниматься

спортом и пообщаться со своими соотечественниками.

В 1940 году, в канун Второй мировой войны, именно в этом здании проводился Шанхайский шахматный турнир с участием чемпиона мира, выдающегося русского шахматиста А. Алехина. Некоторые мемуаристы пишут, что партию с Алехиным разыгрывал один из ближайших сподвижников Рихарда Зорге — ему удалось свести ее вничью…

Кстати, любопытный факт рассказал В. П. Волегов в статье, опубликованной в газете «Русские в Китае». Его отец занимался спортом в этом здании ХСМЛ. «Спортивная экипировка моего отца находилась в персональном контейнере члена Ассоциации и сдавалась в раздевалку на храпение. Такое ощутимое удобство членам клуба позволяло не носить с собой экипировку и инвентарь. С началом военных действий отделение было реквизировано японцами.

После войны, в 1945 г., когда насгоящие владельцы вернулись, то в Ассоциации отцу вернули всю экипировку из контейнера, хранившуюся почти все четыре года в ожидании владельца».

Но вернемся к нашему повествованию.

В сентябре 1939 года Александр Николаевич Вертинский, «русский Пьеро», написал стихотворение «Шанхай»:

Вознесенный над желтой рекой полусонною,
Город — улей москитов, термитов и пчел,
Я судьбу его знаю, сквозь мяску бетонную
Я ее, как раскрытую книгу, прочел.
Это Колосс Родосский на глиняном цоколе,
Это в зыбком болоте увязший кабан,
И великие ламы торжественно прокляли
Чужеземных богов его горький обман.
Победителей будут судить побежденные.
И замкнется возмездия круг роковой,
И об этом давно вопиют прокаженные.
Догнивая у ног его смрадной толпой.
Вот хохочут трамваи, топочут автобусы.
Голосят амбулансы, боясь умереть…
А в ночи фонарей раскаленные глобусы
Да назойливо хнычет китайская медь.
И бегут и бегут сумасшедшие роботы,
И рабы волокут в колесницах рабои,
Воют мамонты, взвив разъяренные хоботы.
Пожирая лебедками чрева судов.
А в больших ресторанах меню — как евангелия,

Повара — как епископы, джаза алтарь
И бесплотно скользящие женщины-ангелы —
В легковейные ткани одетая тварь.
Непорочные девы, зачавшие в дьяволе,
Прижимают к мужчинам усохшую грудь,
Извиваясь, взвиваясь, свиваясь и плавая,
Истекают блаженством последних минут.
А усталые тросы надорванных мускулов
Все влекут и влекут непомерную кладь…
И как будто все это знакомое, русское,
Что забыто давно и вернулось опять.
То ли это колодников гонят конвойные,
То ли это идут бечевой бурлаки…
А над ними и солнце такое же знойное,
На чужом языке — та же песня тоски!
Знаю: будет сметен этот город неоновый
С золотых плоскогорий идущей ордой,
Ибо Божеский, праведный суд Соломоновый
Нависает, как меч, над его головой.

Страшное, если вдуматься, пророчество. В стихах и «ариэтках» Вертинского редко можно встретить такие гневные и обличительные строфы. Здесь боль Унижений заглушает то чувство, которым наполнено Приведенное стихотворение Валерия Перелешина «Мы». Пройдет несколько лет, разразится Вторая мировая война, и Александр Николаевич Вертинский Дознает то, чего, может быть, не осознавал до конца на переломе тридцатых годов: абсолютной невозможности существовать без своей Родины…

В ту пору жизнь его, как и жизнь Шанхая, четко разделялась на утреннюю и ночную. Наталия Ильина, общавшаяся с Вертинским на протяжении пяти лет, оставила об этом воспоминание: «Утренний Вертинский угрюм, хмур, на лице выражение брезгливости. Лениво тыкал вилкой в яичницу, не доев, отодвигал, отхлебывал черный кофе… «Бежать, — говорил Вертинский, — бежать из этой дыры, от этих кошек, из этого города, от этих людишек… Нет, объясните: зачем черт носил меня всю ночь по кабакам?» Объяснить этого я не могла, молчала. «Водку пил. Она меня не пьянит. Она меня только злит! Нет, бежать, бежать… И рад бежать, да некуда. Ужасно!.. «Я уходила, не вполне понимая, откуда именно мне советуют бежать — из «Ренессанса» в частности или из Шанхая вообще?

Ночной Вертинский весел, бодр, шутлив. Прекрасный

рассказчик, импровизатор, мистификатор… «Видел сегодня на улице рикшу. На спине надпись: «Рикша-экспресс». — «Александр Николаевич, вы выдумали!» — «Что вы! Клянусь вам!» Или утверждал с серьезнейшим лицом, что одна портниха, у которой шьет его знакомая, сочинила стихи: «Сегодня мотор переехал собачку, ах, ужасти, больно глядеть! Стояла, бедняга, просила подачку, а он переехал, и тут же ей смерть! Так знай же, о, знай же, шофер ты жестокий, а может, в собачки есть дети и муж, и маму к обеду они дожидают, а ихняя мама погибла к тому ж!» Я смеялась: «Это вы сами сочинили!» — «Клянусь, портниха! Живет на Рут Валлон. Я вас с ней познакомлю»».

«Ренессанс» был одним из самых роскошных шанхайских ресторанов той поры. Его хозяин-армянин очень ценил Вертинского и прощал ему «предательства» — время от времени Александр Николаевич прекращал петь в «Ренессансе», потому что его переманивали в другие рестораны, сулили больше денег. Слаб человек! — Вертинский поддавался на уговоры» уходил из «Ренессанса», но потом все-таки возвращался туда, где, среди многочисленных кошек, привычных уже посетителей, огромного количества случайных и неслучайных приятелей чувствовал себя явно комфортнее.

Сюда, в «Ренессанс», по рекомендации Александра Николаевича, была принята на работу Наталия Ильина. Ее должность называлась «шроф» — человек, который должен был посещать на дому или на работе должников и собирать с них долги. Нередко на эту работу (а потребность в «шрофах» была не только у ресторанов, но и у магазинов, периодических изданий, небольших фирм) соглашались именно русские — требовались расторопность и честность, а эти качества были едва ли не главными у тех, кто стремился зацепиться в Шанхае без связей, без денег, без каких бы то ни было преимуществ.

Тем более что у Наталии Иосифовны был уже некоторый опыт. Поработав машинисткой в конторе по экспорту китайской щетины у двух явных жуликов, китайца и русского, которые исчезли, не заплатив ей ни копейки за работу машинистки на английском языке, потрудившись затем некоторое время манекенщицей в салоне какой-то мадам Элен, которая тоже вовремя успела скрыться от долгов и уплаты манекенщицам в Гонконге, Ильина устроилась «шрофом» в эмигрантский иллюстрированный журнал «Прожектор». Но журнал вскоре прогорел, и Вертинский составил протекцию Ильиной в «Ренессансе».

Теперь они виделись часто: по утрам Наталия Иосифовна получала задание и указания от хозяина ресторана, к кому идти

домой, к кому — на работу, чтобы, не дай Бог, жена должника не узнала, что тот провел ночь в «Ренессансе». И наблюдала «утреннего» Вертинского — мрачного после бессонной ночи в каком-нибудь шанхайском кабаке, когда он заходил в «Ренессанс» выпить кофе по дороге в гостиницу, где жил.

Дома в ту пору у Вертинского не было — он снимал комнаты либо в частных пансионах, либо в недорогих и неуютных отелях. Он возвращался туда, Чтобы отоспаться и вечером снова прийти в «Ренессанс», где его ждали, где его любили, где сквозь слезы слушали его пронзительные песенки, вспоминая о потерянном, утраченном навсегда рае по имени Россия…

Рождество в стране моей родной,
Синий праздник с дальнею звездой.
Где на паперти церквей в метели
Вихри стелют ангелам попели.
С белых клиросов взлетает волчий вой…
Добрый праздник, старый и седой.
Мертвый месяц щерит рот кривой,
И в снегах глубоких стынут ели.
Рождество в стране моей родной.
Добрый дед с пушистой бородой,
Пахнет мандаринами и елкой
С пушками, хлопушками в кошелке.
Детский праздник, а когда-то мой.
Кто-то близкий, теплый и родной
Тихо гладит ласковой рукой.
Время унесло тебя с собой,
Рождество страны моей родной.

Песенки и стихи Александра Вертинского были не только об утраченной Родине, — об утраченном навсегда мире. Это были ностальгические воспоминания об ушедшей, растоптанной красоте, что так и не смогла спасти мир и выродилась в порок.

Говоря словами Тютчева, люди оказались «на пороге как бы двойного бытия». Именно это состояние объединяло «русский» Шанхай с европейскими островами Рассеяния.

Мне нигде не встречалось это наблюдение, хотя, казалось бы, оно находится на поверхности. Эмигрантская жизнь на протяжении целого десятилетия, с конца 1920-х до конца 1930-х годов, была, в сущности, повторением той краткой эпохи, что вошла в историю под названием «русский модерн».

Что такое, в сущности, «модернъ»? — невозможность создания нового стиля, когда идет сплошное разрушение: стилей,

образа существования, мира, наконец, привычного, обжитого мира. А потому «модернъ» — это игра всех стилей, их граней, отблесков.

Это реакция на пережитые когда-то чувства, передуманные когда-то мысли. Реакция острая, неожиданная и непременно — двойственно окрашенная.

Говорят, что дьявол — это искривленное время, а оно и было искривлено для всех этим двойным существованием: в потерянном рае и в сегодняшнем дне одновременно. Но это было и повторением выученных уроков истории (в том числе и истории культуры).

Чувство, в котором совмещались, причудливо соединялись память об утраченном мире красоты, гармонии, и ощущение боли от того, каким предстает ныне этот утраченный мир. И предвосхищение той поры, которая неизбежно наступит как реакция на бездуховную, безэмоциональную нынешнюю жизнь, и реальная тревога о том, что ждет впереди, что уже совсем близко…

Все это манило и тревожило в песенках Александра Вертинского о подающих манто лиловых неграх и маленьких собачках, о луне над розовым морем и звуках гавайской гитары, о нескончаемой длинной дороге и чужих городах…

Давайте пофантазируем и представим вечер в «Ренессансе», обычный вечер: ресторан заполнен посетителями, кто-то отмечает деловую сделку с партнерами; кто-то зашел сюда поужинать с дамой — за этим столиком непременно шампанское, изысканная еда; кто-то копил несколько дней или даже недель деньги, чтобы заказать скромный ужин с рюмкой водки и… дождаться этого момента. Момента, когда чуть приглушат свет люстр, смолкнут звуки модного фокстрота и освещенной останется лишь маленькая сцена. На нее выйдет высокий элегантный человек в темном костюме, с надменным лицом — Александр Вертинский — и, немного грассируя, нефомко запоет:

Я не знаю, кому и зачем это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой.
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,

Что нора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!

Написанное в октябре 1917 года и позже положенное на музыку, это стихотворение Вертинского и два десятилетия спустя заставляло проливать слезы: о рухнувшем мире, пославшем на бессмысленную и, как оказалось, бесславную смерть многих и многих, о Родине, которая уже кем-то воспринималась «бездарной страной».

Но… выпивалась заветная рюмка водки, поспешно утирались непрошеные слезы, зал ресторана оживал, гремели аплодисменты, раздавались крики «Браво!..», Александр Николаевич чуть склонял гордо посаженную голову и продолжал:

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос.
И печально глядит на дорогу
У колодцев распятый Христос.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как пост под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!
Как все эти картины мне близки.
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки.
Провожают меня на концерт.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как ноет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!
Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И Российскую милую землю
Узнаю я на том берегу
А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну…

И вновь непрошеные слезы застилали глаза, и вновь опрокидывались рюмки водки, и вновь тоска брала железной рукой за горло, заставляя вспоминать то, о чем вспоминать было невозможно, нельзя…

Вертинский часто пел и с цыганами под две гитары обычный ресторанный репертуар: «Две гитары…», «Дорогой длинною…», «Очи черные», но, по воспоминаниям тех, кто слышал его в «Ренессансе», всегда вносил в эти заигранные и запетые романсы не только «серебряные руки» и свою выразительнейшую мимику, но и личность Артиста. Его принимали не просто с восторгом — с безумным ажиотажем. Наталия Ильина вспоминает, что однажды «владелец мехового магазина, сильно в ту ночь разгулявшийся, швырнул под ноги Вертинского, когда он, отпев, раскланивался, скомканную купюру, и я видела, как изменилось лицо артиста (дернулся рот, гневно раздулись ноздри), и вот он ушел, будто не заметив брошенной банкноты, даже наступив на нее. Разгулявшийся не понял. Крикнул вслед: «Эй, Вертинский!» Подозвал официанта: «Поднять!» — и: «Хозяина ко мне!» Явился хозяин (русский армянин, чернявый, длинноносый, с печально-добрыми глазами) и вместе с дамами, сидевшими за столиком купца, долго его упрашивал, унимал, уговаривал…».

Трудно представить себе большее унижение для Александра Николаевича Вертинского с его обостренным чувством собственного достоинства, с его надменностью, гордостью!.. Но ничего не поделать, бывало и такое. И подобные поступки таких же, как и он сам, русских, приводили в ярость, душили бессильным и — в сложившихся обстоятельствах — абсолютно бессмысленным гневом, которому не было, не могло быть никакого выхода.

В «Ренессанс» изредка наведывались иностранцы. Они тоже слушали Вертинского, с трудом понимая (а порой и вовсе не понимая) слова, но проникаясь пафосом исполнения, нехитрыми, но захватывающими, сразу же ложащимися на слух мелодиями, манерой этого по виду совершенного русского барина — элегантного, подтянутого, в безупречно белых воротничках и вычищенных ботинках, менее всего напоминавшего «богему». И все равно это было чуждым для них — русская экзотика, приправленная эмигрантской тоской. «Сумасшедшие русские», которым не живется там, куда забросила их судьба, умеющие только тосковать и плакать о прошедшем вместо того, чтобы энергично, по-деловому встраиваться в новую реальность — именно так воспринимали они и Вертинского, и тех, кто внимал ему, затаив дыхание…

Большую часть посетителей составляли богатые русские —

те, к кому относились примерно так же, как к Льву Арнольдову с его лакированной обувью, запахом хороших сигар, одеколона и чего-то «приятно-алкогольного». Это были в основном биржевики, предприниматели, владельцы магазинов, разбогатевшие на инфляции спекулянты. Они вели себя совсем не так, как подгулявший владелец мехового магазина; со слезами слушали Александра Николаевича, а потом почтительно приглашали его за свой столик или, стесняясь прямого общения, присылали за его столик бутылку дорогого вина или коньяка, а он поил им своих друзей в перерывах между исполнением песен…

Принимая приглашение за чужой столик, Вертинский вел себя светски: что-то рассказывал, общался «на равных» — был открытым, добрым, общительным, непременно приглашал одну из присутствующих за столиком дам танцевать, и она, гордая, счастливая, несколько дней рассказывала потом всем, что ее приглашал на танец сам Вертинский!..

Как мало, в сущности, надо для счастья даже богатым людям…

Наталия Ильина в книге «Судьбы» совсем не случайно вспоминает эпизод из купринской «Ямы». В публичный дом приезжает знаменитая актриса и поет романс Даргомыжского «Расстались гордо мы..» ее пение производит на слушательниц эффект разорвавшейся бомбы: они не только вспоминают юность, первую любовь, первое падение, но и начинают делиться с артисткой самым сокровенным, стремясь освободить душу от непосильного груза…

Примерно то же происходило и с теми, кто слушал Вертинского в «Ренессансе» — все лучшее, все самое чистое словно поднималось из глубин души тех женщин, которые приезжали сюда со случайными мужчинами или с покровителями, от которых ждали поддержки. Они рыдали, слушая песни «Дансинг-герл» и «Бар-герл», посвященные им, выросшим в Харбине и Шанхае.

Рыдали… поклонялись… обожали… И это было совершенно естественно.

В два часа ночи «Ренессанс» закрывался. Возбужденные напитками, вкусной едой, а более всего — воспоминаниями, которые пробудил в их душах Александр Вертинский, многие посетители не могли вот так сразу расстаться, разъехавшись по домам. Нередко неуемные компании, собиравшиеся вокруг Вертинского, отправлялись дальше — в те рестораны, что были открыты до угра. Благо, их было немало: на улице Ханьчжоу Роуд, в западной части Международного сеттлмента, в загородных иностранных клубах. И до самого рассвета продолжали

вспоминать, заливая тоску кто водкой, кто вином, кто шампанским…

Вертинский пел не только в «Ренессансе» — его поклонники знали все места, где его можно было послушать в определенные часы. С ростом инфляции, когда владельцы ресторанов стали платить меньше, Александр Николаевич вынужден был за ночь несколько раз переезжать из ресторана в ресторан — петь, петь, петь для тех, кому в его песнях раскрывались боль утраты и сладость воспоминания.

Наталия Ильина вспоминала (правда, это ее воспоминание относится уже к началу 1940-х годов): вернувшись в Россию пятью годами позже Вертинского, она изумлялась легендам о нем, которые ходили по Казани. «В рассказах фигурировал «вагон с медикаментами», который Вертинский подарил фронту, и уж не помню, что еще, но смысл сводился к тому, что Вертинский приехал в СССР богатым человеком. Я же, слушая эти легенды, видела перед собой одну и ту же картину. Ночь. Авеню Жоффр. Фигура Вертинского в коляске педикаба (рикша на велосипеде). Рикша жмет на педали, коляска открыта, сырой ветер, седок ежится, вобрав голову в плечи, кутается в пальто — путь предстоит далекий: «Роз-Мари» на Ханьчжоу Роуд. Я знала, что он там поет, даже слушала его там однажды, но каким образом он туда добирается, об этом не думала, и вот увидела воочию (а он не видел меня!), и замерла на тротуаре, провожая глазами эту согбенную фигуру…»

Видимо, от этой безысходности, от необходимости ездить по кабакам и получать за выступления мизерный гонорар (когда Александр Николаевич женился и у него родилась дочь Марианна, не всегда было, на что купить американское сухое молоко), Вертинский соблазнился идеей одной из своих поклонниц открыть собственный ночной клуб.

От этой женщины в памяти видевших ее осталось лишь прозвище — Буби: элегантная, стильная, словно из Серебряного века явившаяся в шанхайскую реальность. Пепельный узел волос, темно-карие глаза на узком лице, всегда печальна и загадочна, любила декламировать стихи Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой, Блока, Иннокентия Анненского…

Никаких деловых качеств, богема в чистом виде, Буби, расставшись со своим покровителем, богатым американцем, получила от него какие-то деньги и решила, что лучшее им применение — открыть ночной клуб, в котором ее царь и Бог, Александр Вертинский, станет совладельцем. И тем самым освободится от нещадно эксплуатирующих его рестораторов.

И вскоре в шанхайских газетах и журналах появились

написанные русскими и латинскими буквами объявления: «Вертинский! «Гардения»! По городу были расклеены афиши — все жители Шанхая приглашались на открытие нового ночного клуба с изысканным названием «Гардения», помещение для которого было снято в очень удачном месте: на стыке Международного сеттлмента и Французской концессии. В «Гардению» был приглашен джаз (один из лучших в Шанхае), из других клубов переманили мексиканских танцоров, известных норвежских акробаток сестер Нильсен (все они, разумеется, были русскими, выбравшими ради карьеры европейские имена)…

Давайте попытаемся представить себе ночь в «Гардении».

Все здесь было совершенно по-иному, чем в других подобных заведениях, — ведь владели клубом поэтические натуры, «бродяги и артисты», и посетители чувствовали, что пришли не просто в ресторан, а в гости к друзьям. Величественный метрдотель встречает их и рассаживает за столики, затем к столику подходят Вертинский и Буби. Она — в длинном черном вечернем платье, таинственная, печальная, он — высокий, элегантный, с гардением в петлице…

Приносят шампанское. Вертинский, подняв бокал, небрежно бросает через плечо: «Счета не подавать, запишите на меня!» — и это повторяется за каждым столиком. Звучит джаз, на эстраду поднимается сам хозяин. Все замирают, повернувшись, словно к солнцу, к этому высокому человеку с надменным лицом, и он тихо-тихо, с такими волнующими интонациями, начинает:

Сегодня томная луна.
Как пленная царевна,
Грустна, задумчива, бледна
И безнадежно влюблена.
Сегодня музыка больна.
Едва звучит напевно.
Она капризна, и нежна,
И холодна, и гневна.
Сегодня наш последний день
В приморском ресторане.
Упала на террасу тень,
Зажглись огни в тумане.
Отлив лениво ткет но дну
Узоры пенных кружев.
Мы пригласили тишину
На наш прощальный ужин.
Я знаю, я совсем не тот,
Кто Вам для счастья нужен.

А он — иной. Но пусть он ждет,
Пока мы кончим ужин!
Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы! Не нам,
Бродягам и артистам!

Перед громом аплодисментов — несколько минут тишины. Той оглушительной тишины, в которой различимы слезы, боль, печаль, воспоминание о минувшем. Для каждого они свои, только свои… Но, осознав через несколько мгновений, что они не одни в зале, люди внезапно ощущают такое родство душ, такую общность, что, кажется, готовы слиться навсегда в едином порыве…

Счастье, однако, было совсем недолгим.

Ночной клуб «Гардения» прогорел в рекордные сроки — за месяц. «Бродяги и артисты» щедро угощали своих гостей — шампанское лилось рекой, счетов не подавали, ведь ехали сюда в гости к милым хозяевам!.. Зато те, кто занимался скучными делами вроде договоров с поставщиками, кассой, бухгалтерией, не чувствовали себя ни хозяевами, ни гостями, потому безбожно воровали. Выяснилось, что траты несопоставимы с расходами — нечем платить музыкантам и акробатам, выручки никакой нет…

Говорят, Вертинский с Буби и самыми близкими друзьями долго еще допивали в опустевшем помещении оставшиеся в погребе бутылки и думали: как быть дальше? Думать они могли сколько угодно — положение было безвыходным, поставщики грозили подать в суд, к ним присоединились и те, кто занимался в «Гардении» своими «скучными делами»… Короче говоря, Буби как лицо ответственное, вскоре из Шанхая исчезла — вероятно, уехала в Гонконг, где обычно скрывались от кредиторов неудачники. А Вертинский вернулся в «Ренессанс», где снова пел, снова брезгливо ковырял по утрам яичницу и декламировал Ильиной стихи Георгия Иванова:

Так что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Онера взорвать?
Иль просто лечь в холодную кровать.
Закрыть глаза и больше не проснуться?..

Это был «утренний» Вертинский. Но уже немного иной, переживший разочарование с «Гардением», тяжкое разочарование, которым он, похоже, делиться ни с кем не желал…

Жизнь «русского» Шанхая, в сущности, и складывалась из триумфов и трагедий, из успешных начинаний и трагикомических казусов. Это сегодня нам из нашего далека может показаться что-то не слишком серьезным: подумаешь, прогорел ночной клуб или какое-то скромное издание!.. А от этого нередко зависели человеческие судьбы, жизни целых семей.

Наталия Ильина вспоминает, как создавалась, а потом закрылась еженедельная газета «Шанхайский базар», в которой не было никакой политики, но которую читатели успели полюбить за то, что это издание, полугазета-полужурнал, было «веселым и злым». На страницах «Шанхайского базара» публиковались статьи Всеволода Никаноровича Иванова, крупного поэта и прозаика эмиграции, бывшей драматической актрисы З. Казаковой, освещавшей театральную жизнь Шанхая под псевдонимом Алексей Лохмотьев, и заметки Александра Николаевича Вертинского под собственным именем в разделах «Нострадамус» («Почтовый ящик»), «В своем углу» и «Про все».

Чаще всего Вертинский писал свои заметки по утрам в «Ренессансе», за чашкой кофе — вдело шло все: застольные беседы, шутки, анекдоты, импровизации, на которые он был большим мастером. Писал письма от читателей и сам отвечал на них…

«Однажды он написал «Почтовый ящик» в перерывах между своими выступлениями карандашом на Нескольких бумажных

салфетках, — пишет Наталия Иосифовна, — дело происходило в маленьком кабачке «Шехеразада» (джаз, полутьма, танцующие пары, бродящий луч лилово-синего прожектора), а потом с этими салфетками в сумке я шла домой пустынными ночными улицами… Забавно было бы эт» салфетки сохранить, но я ведь вечно все выбрасывала! Если б не мать, у меня и «Шанхайского базара» сейчас бы не было, любопытной газетки, моего детища, переходного этапа жизни моей».

Сегодня нам уже значительно проще, чем в недавние еще времена, понять драму тех, кто работал для этого издания, отдавая ему все силы, всю энергию, время, а потом внезапно оказался не у дел. Сегодня мы осознаем всю нелепость и жестокость подобного «обрыва реальности». Но им, этим людям, казалось тогда, что все дело лишь в том, что они чужие, ненужные, что они — эмигранты. Живи они в своей собственной стране, такого никогда не могло бы произойти!.. А ведь знали, что творится на их Родине (была середина 1930-х годов), шепотом, с ужасом передавали друг другу доходящие новости, но — верить не хотели и стремились, стремились туда, словно бабочки на огонь…

И слушали Вертинского, внимали каждому слову его песен, не делая различия между теми, стихи к которым были написаны им самим или другим автором. Как это произошло, например, со стихотворением Раисы Блох, эмигрировавшей совсем в другие края, в Германию. Она вошла в историю литературы именно благодаря этому пронзительному стихотворению, из которого Вертинский создал одну из самых горьких своих песен «Чужие города»:

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний Сад, Фонтанка и Нева…
Вы, слова заветные! Куда?
Там шумят чужие города
И чужая плещется вода.
И чужая светится звезда…
Вас ни взять, ни спрятать, ни прогнать…
Надо жить и надо вспоминать.
Чтобы больно не было опять,
И чтобы сердцу больше не кричать…
Это было, было и прошло.
Все прошло и вьюгой замело,
Отчего так пусто и светло?
Там живут чужие города,

И чужая радость и беда.
Мы для них — чужие навсегда!

В стихотворение Раисы Блох Вертинский внес изменения. Вместо строчки «наложить — не надо вспоминать», Александр Николаевич пел, акцентируя: «Надо жить и надо вспоминать» — потому что был уверен: без памяти, горькой, мучительной, но необходимой, жить станет вовсе невозможно! И еще он написал финал песни: «Мы для них — чужие навсегда!» — отчаянная, но твердая констатация несомненного для «бродяги и артиста» факта, все более и более настойчиво зовущего домой, на Родину, как бы сильно ни изменилась она, какой бы жестокой ни оказывалась для своих блудных детей…

Потому что здесь, в Шанхае, как и в Париже, Берлине, Сан-Франциско и других городах, по которым Вертинский кочевал, светло ему не было.

Было пусто. Пусто и горько.

Лидия Владимировна, жена Александра Николаевича, пишет в своей мемуарной книге о том, как впервые увидела Вертинского: это было в ресторане «Ренессанс» в пасхальный вечер, куда отправились большой компанией специально послушать его песни.

«Полутемный зал в сигаретном дыму. Небольшое возвышение для джаза. На сцену выходит пианист, и рядом возникает человек в элегантном черном смокинге. Вертинский! Какой он высокий! Лицо не молодое. Волосы гладко зачесаны. Профиль римского патриция! Он мгновенно окинул взглядом притихший зал и запел.

На меня его выступление произвело огромное впечатление! Его тонкие, изумительные и выразительно пластичные руки, его манера кланяться — всегда чуть небрежно, чуть свысока. Слова его песен, где каждое слово и фраза, произнесенные им, звучали так красиво и изысканно. Я еще никогда не слышала, чтобы столь красиво звучала русская речь, а слова поражали своей богатой интонацией. Я была очарована и захвачена в сладкий плен».

В Шанхае Вертинский начал писать книгу воспоминаний «Четверть века без Родины», которая была опубликована уже после его смерти в журнале «Москва». Лидия Владимировна рассказывала в одном из интервью, что история этой книги началась с дружбы Вертинского с работавшими в Шанхае тассовцами. Они издавали газету и попросили Александра Николаевича, известного своими импровизациями, главками писать для газеты воспоминания. Он начал их с отъезда генерала

Слащова из Одессы, справедливо полагая, что у основной массы русских эмигрантов это вызовет самый большой интерес — ведь многие из них прошли этот горький путь скитаний. Разве не могли не отозваться болью в их душах слова: «До сих пор не понимаю, откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного иностранного языка, в двадцать пять лет, будучи капризным избалованным русским артистом… так необдуманно покинуть Родину. Сесть на пароход и уехать в другую страну. Что меня тогда толкнуло на это?»

О Китае в его мемуарах почти ничего не говорится. «В 1935 году я решил уехать в Китай», — дальше какие-то зарисовки отдельных эпизодов, встреч. Никакого связного повествования. Почему? Ответ, хотя, конечно, и во многом гадательный, находим у Наталии Ильиной.

«Покинувшие отечество пианисты, скрипачи и балерины без русской аудитории существовать могли в том грубом смысле, что она не кормила их. Морально тяжело, но материально жить можно. Вертинский же без русского слушателя обойтись не мог ни в каком смысле, ибо искусство его только русским и было нужно… Эмигрантская молодежь Шанхая тридцатых и сороковых годов в большинстве своем выросла в Харбине, оставалась русской и по языку, И по устремлениям. Не эта ли надежда найти более молодую и обширную аудиторию плюс отчаяние И толкнули Вертинского ехать в Шанхай?»

На исходе 1930-х годов жизнь в Шанхае стала труднее. В Китай ринулись новые эмигранты из Европы — в основном это были евреи, бежавшие от нацистов из Германии и Австрии. Конкуренция становилась все более жестокой, найти работу было уке почти невозможно. И хотя прокормить семью было сложно, все-таки людям семейным жилось легче — взрослые и подрастающие дети имели возможность заработать хотя бы по нескольку китайских долларов и сложить их в семейную кассу. Конечно, хватало даже не на все самое необходимое, но все же… Куда сложнее было одиноким — их жалкие гроши не с чем было складывать, надо было как-то существовать на то, что есть в кармане. А в кармане совсем не густо.

Приехавшие в Шанхай из Харбина резко ощущали разницу: после уютного, патриархального Харбина Шанхай казался недоброжелательным к своим новым обитателям. Молодые женщины и девушки, не имевшие профессии (а очень мало кто ее имел!) были счастливы устроиться кельнершами в кафе или ресторан. Многие шли работать в ночные дансинги — барменшами, девушками для танцев… Мало кто смог устроить свою судьбу — большинство спились и печально завершили

жизнь…

Впрочем, по-иному складывалась жизнь тех, кому посчастливилось работать на иностранных предприятиях. Лидия Циргвава (будущая жена Вертинского) устроилась секретарем в солидную фирму «Моллерс Лимитед», которая существует по сей день.

Лидии Владимировне с матерью была предоставлена бесплатная служебная двухкомнатная квартира в большом доме при доке, где ремонтировались торговые пароходы Эрика Молл ера. Заботливый хозяин, Моллер заключил договор с медицинской консультацией, снимавшей одно из помещений в здании, где находилась контора, поэтому его работники наблюдались у врачей. На Новый год фирма дарила всем Дорогие подарки, а однажды, заметив, что секретарши всухомятку едят свой завтрак, Моллер распорядился: всех сотрудников кормить бесплатно в находившемся неподалеку роскошном американском «Чоколат кафе» — надо было только расписаться в Счете, заказав что душе угодно, а в конце месяца фирма расплачивалась по счетам…

Всем служащим полагался двухнедельный летний отпуск, который можно было бесплатно провести на пароходе, принадлежащем фирме. И, хотя пароходы были в основном торговыми, грузовыми, на каждом существовало несколько комфортабельных кают именно на такие случаи.

Забота Моллера о своих работниках, конечно, многое говорит о его личных человеческих качествах, но и свидетельствует о тех чертах колониального капитализма, которые окрашивали особой краской общую картину повседневной жизни «русского» Китая.

Многие русские в Шанхае жили буквально впроголодь, ели один раз в день — за обедом. Завтрак и ужин состояли из чая и хлеба с маслом, причем масло в рационе оказывалось тоже не всегда. Нередко делили один обед на двоих — об этом вспоминает Ольга Ильина-Лаиль: из экономии ее мать, Екатерина Дмитриевна, заказывала порой одну порцию обеда для них обеих. Помогала соседка по пансиону, Валя. У ее мужа была постоянная работа в Муниципалитете концессии, Валя сама готовила на свою небольшую семью (у них с мужем был маленький сын) и частенько забегала к Ильиным, чтобы угостить их на ужин макаронами или кусочком торта собственного приготовления.

Это было уже в другом пансионе, не в том, куда Ольга приехала из Пекина, в более дешевом, который пришлось подыскивать, когда тот, на авеню Жоффр, стал не по карману из-за инфляции. Новый пансион был скромнее, в нем жили семейные русские, девушек из бара, европейцев здесь не было. Пансион

принадлежал князю Ухтомскому, работавшему во французском консульстве. Все дела вела его жена — она была «из простых», поэтому ничего зазорного не видела в том, чтобы заниматься жильцами и кухней…

В пансионе князя Ухтомского жила старая графиня, занимавшая самую маленькую и самую дешевую комнатку. Она приехала в Шанхай из Парижа, куда занесли ее вихри революции. Там, в Париже, графиня познала тяготы эмигрантского существования — вынужденная заниматься черной работой, служить на кухне, эта женщина не утратила ни своего достоинства, ни стремления выжить и, быть может, когда-то вернуться на свою несчастную Родину. В Шанхае она давала уроки французского языка, все менее и менее потребные с каждым годом, и гадала на картах.

После того как Япония вышла из Лиги Наций в 1933 году, отношения ее с Китаем начали принимать все более напряженный характер. Уже в 1934-м Токио объявил Китай сферой японских интересов, а два года спустя, в 1936-м, Япония подписала с Германией так называемый антикоминтерновский пакт.

В 1937 году разразилась война между Японией и Китаем. 7 июля японская гарнизонная армия (часть Квантунской армии, продвинувшейся на юго-запад Китая после заключения Версальского мира, согласно которому японцы вынуждены были вернуть Китаю захваченные ими в 1915 году немецкую и австрийскую концессии в Шаньдуне) недосчиталась одного из своих солдат на перекличке. Между японскими и китайскими солдатами возникли перестрелки. Подобный случай уже был в истории отношений двух стран в 1931 году, когда результатом стала оккупация Японией Мукдена, Харбина, а затем и всей Маньчжурии.

На этот раз к 28 июля 1937 года оккупированным оказался Пекин. В результате военных действий японцев пострадали и другие китайские города. В частности, Шанхай.

Почти полностью разрушенным оказался район Хонкью, самый бедный из районов города, построенный из простого серого кирпича. Улицы были соединены своеобразными пассажами, которых хватало для проезда одной грузовой машины. Часть Домов и пассажей сохранилась, часть превратилась в живописные руины, проросшие полевыми цветами и травами. В этом традиционно китайском районе начали селиться самые несостоятельные из русских — к началу 1940-х годов их было здесь уже Достаточно много.

Виктор Смольников, после женитьбы поселившийся в Хонкью, оставил описание своего квартала: «На улицу выходили

китайские лавчонки. На углу были ворота, ведущие в пассаж. Весь квартал состоял из четырех рядов домов. От ворот до последнего ряда шла главная улочка, от которой перпендикулярно отходили еще три. Каждый ряд представлял собой одно длинное строение, разделенное на десять-двенадцать домов стенами. К каждому такому дому примыкал садик, отгороженный от переулка стеной высотой в два этажа с деревянными двухстворчатыми воротами. Наш садик был вымощен кирпичом, покрытым зеленой плесенью от вечной сырости. Там ничего не росло».

Почти наверняка такие кварталы остались в Шанхае и сегодня, несмотря на бурный рост города-порта. В другом восточном портовом городе, в современном японском Кобэ, мне довелось видеть почти такой же пассаж с лавочками, воротами, перпендикулярно главной отходящими тесными улочками… Только садиков не было видно — то ли их нет сегодня, то ли они надежно скрыты за высокими стенами. В вечерние часы в этом квартале поражает безлюдье — только маленькие кафе заполнены, на улицах же тишина и ощущение нежилого, необитаемого пространства.

Впрочем, бедным был далеко не весь Хонкью — была у него и богатая часть, ведь именно этот район стал центром японской колонии в Шанхае. В другой части была совершенно иная архитектура: иначе построенные дома, роскошные магазины, дорогие кафе и рестораны, ателье, аптеки, овощные и фруктовые лавки для богатых. И можно было подумать, что Бог покарал японцев за их амбиции: ведь именно японская колония в Шанхае пострадала сильнее других районов…

Казалось бы, все это мало коснулось русских — беспаспортных и бесправных в чужом мире, в чужой стране. Но тем не менее… Жизнь становилась все труднее, все безрадостнее. Старая русская поговорка «в чужом пиру похмелье», наверное, не раз вспоминалась тем, кто вновь поневоле оказывался между жерновами истории. Только на этот раз совсем не своей, чужой истории.

Во Французской концессии Шанхая было довольно много православных храмов, что неудивительно: ведь русские в основном продолжали селиться именно в этой части города, пытаясь любыми способами найти жилье здесь, где они хотя бы были окружены соотечественниками, более счастливыми, чем они, или такими же несчастливыми.

«На миру и смерть красна», — гласит народная мудрость. О смерти не думалось, думалось о жизни, в которую необходимо было вцепиться изо всех сил, чтобы удержаться, непременно удержаться на поверхности. А это, несомненно, легче было, когда

вокруг свои — пусть конкуренты, пусть не слишком доброжелательные или откровенно «не своего круга», но — свои. Чем ближе подступали 1940-е годы, тем больше обострялось в людях это ощущение. Тем более — в церкви, которая объединяла живым чувством общности и ожидания небесного покровительства и защиты.

Самые торжественные службы были в Пасху — далеко-далеко разносился колокольный звон, люди со слезами на глазах христосовались, менялись крашеными яйцами.

Лидия Владимировна Вертинская вспоминает праздники в период своей харбинской ранней юности: «На Рождество и Пасху накрывали стол белоснежной скатертью и ставили разные яства и вина. На Пасху обязательно стоял нарядно украшенный кулич, с сахарным барашком на макушке. Творожные пасхи были сливочные, шоколадные и лимонные; жареный поросенок и ветчина тоже украшали стол, который с Утра накрывали в течение трех дней. Визитеры поздравляли, христосовались троекратным поцелуем и садились за угощение. Гостями были в основном мужчины, поскольку их жены так же принимали визитеров. Интереснейшие разговоры шли о последних городских новостях. Я не помню, чтобы у нас кто-то из этих учтивых гостей оказался пьяным».

То же происходило и в Шанхае, может быть, лишь с одной разницей: в 1930-е и 1940-е годы далеко не все русские семьи могли позволить себе такое роскошество стола… Но потребность богослужения, церемонии, глубоко и искренне пережитой всеми вместе, оставалась незыблемой.

И в другие дни богослужения, пусть не торжественные, самые простые, делали то, что было так остро необходимо людям: соединяли, заставляя снова и снова вслушиваться в знакомые истины и проникаться их простым и великим пафосом, находить утешение и покой. Пусть не навсегда, но на часы, дни… Может быть, недели…

Здесь, в храме, оставляли хотя бы ненадолго самые острые чувства — одиночества и своей ненужности никому. Вокруг шумели чужие города, плескалась желтая чужая вода, синело чужое небо. Россия была близка и недостижима одновременно, а потому особенно важным казалось сохранить в себе красоту и душевную необходимость церковного ритуала, словно напрямую соединявшего с Родиной, с потерянным раем…

Надо было жить и необходимо было вспоминать. А воспоминания все чаще и чаще заставляли думать о возвращении — как бы там ни было, а это Родина, святая земля, к которой так хотелось приникнуть, чтобы вновь ощутить себя полноценным

человеком!..

Именно в это время, осенью 1937 года русские эмигранты в Шанхае организовали «Общество за возвращение на Родину». «Возвращенцы», как стали их называть, начали издавать свою газету — «Возвращение на Родину» (в 1940 году она была переименована в «Новую жизнь»). Ее читали с неясными еще самим себе, смутными чувствами, проникаясь патриотическим энтузиазмом, новыми вспышками ностальгии. Над страницами этой газеты было пролито немало слез, и, наверное, немало тяжких дум расшевелила она в обитателях «русского» Шанхая — на то, собственно, и была направлена…

Спустя недолгое время эта газета стала органом советских эмигрантов в Шанхае и выходила до 1952 года. Позже нужда в этом издании отпала сама по себе…

Ко всем тяготам примешивался еще и тяжелый шанхайский климат — постоянная влажность, мешающая дышать полной грудью, изматывающая жара, совсем не такие зимы, как в Харбине (не говоря уже о России!). Чем больше европеизировался Шанхай, чем основательнее чувствовал себя здесь стремительно развивающийся капитализм, тем более чужими ощущали себя здесь русские — даже удачливые предприниматели, даже те, кто имел собственное дело и был спокоен за завтрашний день; они все равно оставались, в сущности, теми же людьми без гражданства, без паспорта. Чужими в чужой стране… А хотелось ощущать себя полноправным гражданином своей страны.

К концу 1930-х годов уже притупилось первоначально такое острое чувство потерянного рая. Наступало относительное «смирение». Доходившие из новой России слухи, с одной стороны, приводили в ужас и отчаяние, с другой же — заставляли задумываться о том, что и там возможно выжить. Если повезет. А чем, в таком случае, отличается жизнь в Шанхае от жизни в любом из российских городов? — и здесь, и там необходима лишь доля везения, так почему не искать ее в местах, где ты будешь ощущать себя своим, где в твоем кармане будет лежать паспорт гражданина?..

И все больше овладевало человеком чувство, которое точно сформулировала в одном из своих стихотворений никогда не бывавшая в Харбине и Шанхае Марина Ивановна Цветаева:

Тоска по Родине!
Давно Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне всё равно, каких среди
Лиц — ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!).
Где унижаться — мне едино…

И заканчивается это хрестоматийно известное стихотворение — обрывом в пустоту, воспоминанием о рябине, вслед за которым теснятся многие и многие воспоминания, имя которым — тоска по Родине…

«Единоличье чувств», каким бы обостренным оно ни было, приводило к страстному желанию общности, разделенности собственной участи с участью своей страны.

Своей!..

Наталия Ильина вспоминала: «Сильное впечатление, производимое на меня советскими фильмами, не зависело ни от режиссеров, ни от актеров, ни от содержания. Стоило мне услыхать русскую речь, увидеть русские пейзажи — я начинала плакать… К решительному шагу, к переходу в советский лагерь (в Шанхае существовал «Союз возвращенцев»), я готова еще не была… Попав в «Шанхайскую зарю», я очутилась в эпицентре эмигрантской грызни, взаимных обид, раздоров, поношений, подозрений — все это казалось мне мелким, жалким, ничтожным… Один из эмигрантских поэтов говорил, что становится «неразговороспособен», ибо нет на свете более безнадежного и душу опустошающего ремесла, чем профессия эмигрантского литератора, брошенного в чужую стихию, где до него дела никому нет… Этих слов я не знала тогда, но, видимо, нечто подобное ощущала. Хотелось что-то менять, куда-то уйти. Куда — не знала».

Это очень важные для нас слова, чрезвычайно существенное признание. Чувство, постепенно формирующееся в людях на протяжении едва ли не десятилетия (по крайней мере, с начала оккупации японцами Харбина), должно было чем-то внешним взорваться, чем-то разрешиться.

Для многих таким моментом стала война Японии и Китая.

В 1937 году Олег Лундстрем записался на прием в

Генеральное консульство, чтобы оформить все необходимые документы для возвращения на Родину.

Консул Никита Григорьевич Ерофеев начал встречу с вопроса: «Какие проблемы?» Олег Леонидович объяснил: хотим на Родину. «Консул нам отказал, — вспоминает Олег Лундстрем. — «Понимаете, — говорит он, — сейчас там каких-то троцкистов поймали, выдача виз временно прекращена». По сути, он нам тогда жизни спас. Хороши бы мы были, если бы в тот год вернулись».

1941 год стал для русской эмиграции (не только в Китае!) моментом истины: все одинаково были потрясены нападением Германии на Россию, но именно это событие развело людей по разные стороны баррикад — кто-то рвался сражаться на стороне немцев за освобождение своей многострадальной Родины (в частности, несколько шанхайских союзов, в числе которых были и фашисты, и «Союз инвалидов», и «Союз монархистов»); кто-то готов был простить России все коммунистические грехи и воевать с поработителями за ее землю, небо, воздух. Правда, Олег Лундстрем в своем интервью это разделение отрицает: «По моему мнению, эмиграция самоупразднилась в день начала Великой Отечественной войны. В тот день всей толпой ринулись в консульство — очередь аж на мосту стояла! Все хотели на фронт, нужно защищать Родину. Мы в первый день всем оркестром подали заявление в консульство — просили всех нас отправить на фронт. Через Два месяца немцы уже были под Смоленском, я опять пришел в консульство. И опять вышел на Ерофеева! Он спросил: «Какие проблемы?» — «Просим всех нас Немедленно отправить на фронт!» — «Ну молодцы, патриоты!.. Передайте вашим музыкантам: с фашистами справятся и без вас. Вы здесь нужнее». Так он снова нас спас… Я лишь спустя годы понял, что он тогда для нас сделал. Ведь наш горячий патриотизм могли иначе истолковать в компетентных органах, тем более что мы выросли за границей…

А что касается многих русских эмигрантов, так они в наш Советский клуб прямо партиями приходили записываться. Тогда перелом в сознании произошел. Все считали, что нужно защищать свою землю от врага».

Перелом в сознании, о котором говорит Олег Леонидович Лундстрем, — точное определение переживаний тех дней и месяцев, когда все обиды оказались забытыми, когда верилось: Родина зовет, она ждет каждого!..

И тем более жадно смотрели советские фильмы.

Наталия Ильина упомянула эти советские фильмы, не назвав их. Но мы-то вольны пофантазировать, представив себе, о чем

могла идти речь в ее мемуарах, что это были за ленты и сколько в них было правды о том, чем жила в то время страна.

1930-е годы отмечены в советском кинематографе такими прославившими его далеко за пределами страны фильмами, как «Земля» и «Путевка в жизнь», «Золотые горы» и «Встречный», «Окраина» и «Чапаев», «Веселые ребята» и «Три песни о Ленине», «Юность Максима» и «Мы из Кронштадта», «Возвращение Максима» и «Александр Невский», «Великий гражданин» и «Щорс». Вполне вероятно, что большая часть этих кинолент демонстрировалась и в Китае. Кадр за кадром люди не просто наблюдали — проживали, возвращались в те места, которые мелькали на пленке, вслушивались в язык, всматривались в лица артистов, ощущая свое, родное, неистребимое.

Эмоциональный заряд был сильнейшим: там, на далекой Родине, живут полноценной жизнью, вместе горюют, вместе радуются, борются за общие идеалы, поют веселые, жизнеутверждающие песни. Здесь — почти все порознь, почти все разъединены, каждый ищет возможности выжить в одиночку, а единственное, что соединяет, это неизбывная тоска по Родине.

Нет, конечно же, все они, разные, очень разные люди, понимали: на самом деле там, на Родине, все обстоит совсем не так, но завораживал пафос. Эти киноленты были сняты выдающимися режиссерами, нее они вместе создавали великий советский кинематограф и служили общей идее — идее построения нового государства, нового мира, в котором человеческие взаимоотношения и чувство патриотизма станут принципиально новыми, чистыми, светлыми, искренними.

Они верили в это — Сергей Эйзенштейн и Александр Довженко, Дзига Вертов и Николай Экк, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, — верили, заставляя верить и своих зрителей в России и за ее пределами, на многочисленных островах Рассеяния. Потому и сегодня, когда мы смотрим эти старые фильмы, мы не только умиляемся наивности, не только слегка морщимся от очевидной фальши, но порой и вопреки собственной воле испытываем щемящие чувства грусти.

Это — грусть потери, утраты того, что казалось раем, а оказалось совсем иным…

…После фильмов выходили из кинозалов подавленные, со следами слез на лицах, старались не смотреть друг на друга. Кто-то шел домой, чтобы в тишине и одиночестве еще и еще раз пережить только что увиденное на экране. Кто-то отправлялся в ресторан, чтобы залить водкой или вином пожар растревоженных чувств. Кто-то не мог справиться со смятением и бродил по сырым улицам чужого города, слепо всматриваясь в разноцветные

огни рекламы, глухо вслушиваясь в привычный шум порта.

Ощущение было одно, как бы ни пытались скрыть это друг от друга: там — жизнь, здесь — прозябание.

Надо что-то делать.
Надо возвращаться.
Мысли манящие и пугающие одновременно.
Мысли горькие, ночные.

Тем не менее порой они приводили к какой-то сознательной, кажущейся необходимой деятельности. «Харбинская девятка» Олега Лундстрема почти в полном составе поступила в Шанхайский Высший технический институт — музыкантам казалось, что, вернувшись на Родину, они должны уметь делать какое-то очень важное дело: старательно учили французский язык, высшую математику, изучали французскую литературу… Дипломные работы защищали на французском, веря, что этим знанием помогут Родине…

В 1920-х годах русские военные, солдаты и офицеры царской армии, оказавшись в Китае, потеряли все, ради чего они жили и воевали. Позже многие из них перебрались из Харбина в Шанхай, терпели нужду, голод, приспосабливались как могли к эмигрантской жизни, но в глубине души не могли не думать о том, чтобы вернуться на Родину.

Альфонс Юлианович Романовский, офицер Российской армии, участник Первой мировой войны, впоследствии ставший преподавателем Лицея Святого Николая в Харбине, а затем перебравшийся в Шанхай, в своих мемуарах писал: «Всякая политика для нас тогда была чужда. Положа руку на сердце — мы шли и клали свои головы во имя защиты и спасения своей дорогой родины. Так было и так будет всегда при любой власти, у кого любовь к родине превыше всего».

Эти слова — о времени революции и Гражданской войны. Прошли два десятилетия, стерлись боль и обида на вытеснившую из своих пределов Россию, и все острее становилась тоска по ней. И чем ближе подступал момент необходимости новой защиты и нового спасения России — уже не от своих, а от захватчиков, что принципиально важно! — русское воинство стремилось вернуться, чтобы разделить судьбу своей страны.

Впрочем, как уже говорилось, и это движение было отнюдь не однородным. Многие бывшие военные, соединившись в разного рода «союзы», готовы были помочь России избавиться от «коммунистической чумы», готовы были помогать фашистам, только бы вернуть прежнюю Россию.

Насколько искренне верили они в то, что, уничтожив коммунистов, они получат на блюде, словно хлеб-соль, прежнюю, дореволюционную страну? — неизвестно…

Но пафос был, несомненно, искренним и у тех, и у других.

Пытаясь анализировать эту ситуацию, Ольга Ильина-Лаиль пишет в книге «Восточная нить»: «Внезапно мы узнали, что 22 июня Германия напала на СССР. Это было как гром среди ясного неба для всех русских белоэмигрантов, которые оказались перед дилеммой, и тут все сразу же разделились на пораженцев и оборонцев, одни считали, что таким образом большевистская гидра будет поражена и Россия наконец станет свободной, а другие, большинство, в основном молодежь, не знавшая мук революции, проявляли новый патриотизм: не важно, коммунистическая или нет, но святая Русь подверглась нападению!»

В начале 1940-х годов русское население Шанхая по разным данным составляло от 50 до 70 тысяч человек. Выражение ««русский» Шанхай» при таком населении представляется абсолютно правомерным — маленькое государство внутри большого интернационального государства, со своими обычаями, привычками, законами, с одной стороны, органично вписанное в те обычаи, привычки и законы, которые предлагались внешним миром, с другой же — все-таки обособленное, все-таки живущее по своим внутренним нравственным ценностям и ориентирам, которые не уничтожились, не размылись Десятилетиями существования в эмиграции, в Китае.

Если положить перед собой карту Китая, обвести на ней города, где русская эмиграция была представлена наиболее широко, и попытаться провести между ними линии, перед нами предстанет «русский путь»: извилистая, трудная дорога, что вела людей из Харбина в Тяньцзинь, Пекин, Шаньдун, Нанкин, Шанхай — все глубже и глубже, все дальше от России. Но главный парадокс заключается в том, Что обратно пропорционально этому расстоянию сокращалось внутреннее, душевное расстояние. Это было самое начало того процесса, который через несколько лет полыхнет настоящим костром.

Алексей Владимирович Бородин пишет в «Семейных хрониках» о конце 1940-х годов: «Светская жизнь родителей, как и некоторых из русской шанхайской колонии, частично проходит в Советском клубе. Там — рауты, ужины, концерты…

Там — книжный киоск с изданиями советских авторов и русской классики. Киоск «ведет» на общественных началах семья Митаревских — Владимир Андреевич и Елена Яковлевна. Конечно, там же куплена и книга «Рядовой Александр Матросов».

От переполняющих меня чувств после ее прочтения я рыдаю на мамином плече и вешаю в своей комнате купленные в том же киоске плакаты «Утро нашей Родины» (Сталин на фоне родины) и «Мальчик останавливает поезд красным галстуком».

В Советском клубе — премьеры новых советских фильмов: «Свинарка и пастух», «Падение Берлина»… Фильм «Суворовцы» производит на меня такое впечатление, что я категорически отказываюсь ехать домой на рикше и гордо преодолеваю весь довольно длинный путь пешком. На шанхайской премьере «Кубанских казаков» зал переполнен… Эти книги и фильмы не насаждают образ Родины, а создают для нас ощущение причастности к далекой и прекрасной стране. Как некий Солнечный город, Советская сторона маячит в отдалении, зовет, манит. Она бросает свои лучи на почву доверчивого и все более глубокого желания к ней приблизиться, назвать эту страну своей».

Это очень важное признание человека следующего поколения, у которого из всего того, что смутно бродило в ощущениях и представлениях людей предыдущих поколений, сформировалось собственное представление о Родине.

Мысли, ощущения могли формироваться, крепнуть в человеке постепенно, очень медленно, долго» по раньше или позже наступал момент, когда все они выливались в решение. Нужно было еще какое-то время для того, чтобы решение это окончательно созрело.

Как уже говорилось, для этой сложной химической реакции был необходим катализатор — им стала Вторая мировая война.

Но это произойдет немного позже. А пока, в середине и конце 1930-х годов, русские шанхайцы живут своими проблемами, слушают в ресторанах Александра Вертинского, смотрят в кинотеатрах советские фильмы, наслаждаются спектаклями Русского балета, ощущают сгущающуюся в Европе атмосферу и — еще не думают о возвращении…

В 1937 году весь мир готовился отметить 100-летие со дня гибели А. С. Пушкина. Задолго до этой даты русские шанхайцы начали собирать средства на памятник поэту. Бронзовый бюст был заказан известному скульптору Подгурскому.

В общую копилку собирались доллары, фунты стерлингов, франки, китайские серебряные юани. Те, у кого не было денег, принимали участие в специальных аукционах по продаже предметов искусства — полученные суммы тоже шли на памятник. Когда проект монумента был готов, деньги были собраны, русские шанхайцы обратились в муниципалитет Французской концессии с просьбой выделить место для

памятника великому русскому поэту, потому что именно на территории Французской концессии проживало большинство выходцев из России. И, возможно, у тех, кто подписывал прошения, возникла тайная мысль о том, что убийцей Пушкина был выходец из Франции, и, таким образом, страна выразила бы перед Россией свое раскаяние. Этого мы не знаем и никогда не узнаем, но почему бы не предположить, что наивным нашим соотечественником не приходила в головы и такая мысль?..

Место на рю Пишон казалось очень удачным — в тени развесистых платанов, благоухающих магнолий, вечнозеленых кустарников. И главное — совсем близи от центра Шанхая, но в стороне от магистралей. Горожане любили гулять по рю Пишон; сюда бонны и «амочки» вывозили в колясках и выводили за ручку гулять детей из богатых семей; здесь поблизости находился особняк вдовы президента Китая Сунь Ятсена — порой ее можно было видеть прогуливающейся по рю Пишон…

10 февраля 1937 года при большом стечении народа, в присутствии потомков А. С. Пушкина, приехавших в Шанхай на торжества из Европы, был открыт памятник — бронзовый бюст на пьедестале из темно-серого гранита. Это было лишь началом большой юбилейной программы, в которую входили балетные спектакли театра «Лайсеум» «Золотой Петушок» и «Сказка о царе Салтане», издание пушкинских шедевров, а также книжечки, вскоре ставшей библиографической редкостью — «Пушкинские дни в Шанхае» (1937).

Русские шанхайцы гордились тем, что столь торжественно отметили печальную в истории культуры дату. Гордились еще и тем, что на азиатском континенте это был в ту пору единственный монумент великому русскому поэту! Рю Пишон вскоре стала одним из заветных уголков Шанхая, чужого города, где можно было предаваться воспоминаниям, погружаться памятью в далекие времена счастливого детства, отрочества, юности, прошедших на Родине.

Такой далекой.

Такой близкой.

История памятника А. С. Пушкину представляет собой отдельный сюжет в истории «русского» Китая. Спустя пять лет, в 1942 году, Шанхай был взбудоражен неординарным событием — бронзовый бюст поэта исчез! Даже и сегодня, спустя столько лет, не выяснены причины этого акта вандализма, но, думается, правы те, кто одной из первопричин увидел острейший дефицит цветных металлов, очень высоко ценившихся на рынке в военную пору.

Так или иначе, по памятник исчез. И только через пять лет он

был воссоздан. В 1947 году члены клуба Общества граждан СССР в Шанхае собрали деньги И заказали бюст в Москве. По железной дороге бюст был доставлен во Владивосток, затем его погрузили на пароход «Смольный» и привезли в Шанхай.

До торжественного момента водружения на положенное место (пьедестал так и простоял все пять лет на рю Пишон) бюст хранили в редакции советской газеты «Новая жизнь» на рю Лортон. Здесь его могли видеть те, кто уже готовился к отъезду в Россию. Вскоре бюст вернулся на место — снова были торжества, собралась пока еще многочисленная русская колония, на церемонии присутствовал мэр Шанхая, сын Чан Кайши, Чан Ципго…

Но вернемся немного назад.

Виктор Смольников вспоминал, что перед началом войны вообще трудно было найти хоть какие-то сведения о новой России. Запад постоянно обвинял СССР в том, что он отгораживается от цивилизованного мира «железным занавесом», но, как точно отмечает мемуарист, у каждого занавеса есть две стороны, и «заговор замалчивания» порой бывает куда эффективнее «заговора клеветы».

В частных библиотеках Шанхая — довольно богатых — можно было обнаружить русскую классику, дореволюционные издания на самые разные темы, а вот советской литературы не было вообще. Правда, существовал в Шанхае книжный магазин некоего Флита — самого Флита давно уже не было, владел им Карукес, торговавший советскими изданиями. Только войти в этот магазин (что называется — без последствий) мог далеко не каждый — для «несоветских» людей это была совершенно немыслимая акция!

Скудные сведения о жизни в СССР содержались в газете «Младоросская искра». Ее издавала Младоросская партия — довольно странная организация, провозглашавшая своей целью создание советской монархии. В роли будущего монарха видели великого Князя Кирилла Владимировича, который жил на севере Франции, в местечке Сен-Бриак. Кое-кто утверждал, что младороссы представляют собой филиал КПСС и содержатся на деньги коммунистов, однако сложно представить, что Сталин и его окружение поддерживали организацию, которая мечтала поставить во главе советской системы царя.

Впрочем, кто знает…

Наступило лето — жаркое, влажное, тяжелое. В Шанхае оно было невыносимым: одежда прилипала к телу, все вокруг было пропитано тяжелыми испарениями большого промышленного города-порта, где не спасала даже близкая вода. Те, у кого

находились деньги, уезжали ненадолго внутрь страны, туда, где посуше; ездили отдыхать в Корею, где можно было снять на лето домик. А некоторые состоятельные люди имели там собственные домики.

День, когда в Шанхае узнали о нападении Гитлера на СССР, выдался особенно жарким. Духота давила, липкий пот струился по лицам. Люди использовали любую возможность, чтобы покинуть помещение и укрыться где-нибудь в тени на улице.

Виктор Смольников вспоминает, что после обеда они с женой пошли прогуляться и были поражены необычным скоплением народа: «Все были возбуждены, разговаривали, жестикулировали, некоторые кричали, похоже было, что ссорились. Встретив знакомого, я спросил, что случилось (радио у нас дома не было, а газет я не выписывал — не было денег). «Как, вы не знаете?! — вскричал он. — Германия напала на Россию, и ее победоносные войска успешно продвигаются вперед к матушке-Москве. Красная армия бежит!» Меня это ошеломило: на Россию напали немцы!»

Так буквально в первый день люди резко разделились во мнениях по отношению к войне: кто-то жаждал спасения старой России, кто-то был потрясен тем, что она оказалась в опасности. С той поры, можно даже сказать, с той самой минуты, жизнь русского Китая получила иное наполнение, иное содержание. Кончились смутные ностальгические переживания, отвлеченная тоска по Родине — люди жадно ловили любое известие оттуда, стремились узнать хоть какие-то подробности, многие подали прошения о возвращении в СССР — они хотели сражаться за Россию, за единственную в мире свою страну…

К этому времени в Шанхае уже существовали разного рода общественные объединения — «Союз возвращения на Родину», в частности. Бывшие служащие КВЖД, из тех, кто не уехал в 1935 году домой, получив немалые по тому времени деньги за выслугу лет, перебрались из Харбина в Шанхай. Здесь они открывали собственные предприятия, а те, кому недоставало на это средств, становились совладельцами различных фирм, магазинов. Дорожа советскими паспортами, которыми они успели обзавестись, эти люди и, соответственно, их предприятия находились под защитой советского флага и на собственные средства содержали «Клуб граждан СССР». С первых же дней войны Клуб начал издавать ежедневную газету «Новая жизнь».

База для этого издания уже была — в «Новую жизнь» преобразовалась газета «Родина», издававшаяся с 1930-х годов на средства «Союза возвращенцев». Разумеется, подбор материалов был специфическим, но «Новая жизнь» объективно являлась единственным изданием, из которого «русский» Китай узнавал о

том, что происходило на войне.

После того как закрылась газета «Шанхайский базар», Наталия Ильина поступила на работу в редакцию газеты «Новая жизнь». «Однажды в телеграмме ТАСС я прочитала о Вертинском, — вспоминала она в книге «Судьбы». — Цитировалась только что им написанная песня, из которой до сегодня уцелела в памяти одна строфа: «О родина моя! В своей простой шинели, в пудовых сапогах, детей своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не верящий в тебя!».

В 1940 году в Шанхае состоялся концерт Александра Николаевича Вертинского. Зал «Лайсеума» был Переполнен — концерты Вертинского были очень Редки, а цены на билеты очень высоки. Когда Александр Николаевич спел свою песню «О нас и о Родине», зал словно разорвался пополам: кто-то бешено аплодировал, не скрывая слез, кто-то улюлюкал.

Раздавались крики: «Большевикам продался!», «Браво», «Ура!». Вертинский тогда уже знал, что при первой же возможности уедет в Россию, как знал и то, что здесь, в этом зале, присутствуют те, кто не в силах простить Родине всех перенесенных из-за нее мук и от этого страдает еще сильнее. Но здесь же были и люди другого поколения — молодежь, так же страстно, как и он, мечтавшая о возвращении на Родину. Это их выкрики: «Браво!» и «Ура!» — заглушали для Вертинского обвинения в продажности…

После концерта молодежь провожала артиста — не из поклонения, а для безопасности. Они охраняли его от возможных оскорблений, от возможного нападения, от всего того, от чего еще можно было охранить русского человека в «чужих городах», в эмиграции, в ощущении горького и трагического одиночества.

Обратимся вновь к воспоминаниям Наталии Иосифовны Ильиной, оставившей нам скупое, но трогательное свидетельство о венчании Вертинского. Свидетельство, по всей вероятности, настолько правдивое, что Лидия Владимировна Вертинская привела в своей книге именно его.

«Православный собор на узкой улочке Поль-Анри полон народу… На этот раз тут меньше, чем обычно, темных платков богомольных старушек и седых обнаженных голов бывших бойцов белых армий… Мексиканские и испанские танцоры, норвежские акробатки, музыканты, цыгане, жонглеры, молодые люди неясных профессий, — словом, все Вертинского обожающие бродяги и артисты явились сегодня сюда… И чуть не в полном составе, «ин-корпоре», присутствуют Вертинским воспетые дансинг-герлс и бар-герлс. Их сегодня узнать трудно, так скромно они одеты, такое растроганно-торжественное выражение на их почти

лишенных косметики лицах.

Нет, не только кораблям необходима пристань. Понадобилась она и Вертинскому, на склоне лет серьезно полюбившему молодую девушку, не принадлежавшую к легкомысленному братству актеров-бродяг. Была она тогда скромной служащей иностранной конторы.

Появляется жених с веточкой флер д'оранжа в петлице — одобрительный шелест в толпе: элегантен, прекрасно держится. Наверху, под куполом, звучат голоса хора, приветствующие появление невесты («Гряди, гряди, голубице!»), и снова шелест, теперь восхищенный, — хороша собой невеста. Шелест возобновляется, когда венчающиеся идут к атласному коврику: кто первый ступит? (Примета: ступивший первым будет главенствовать в семье.) Торжественный момент: красавцы шаферы Левка и Гига (давние приятели Александра Николаевича, молодые люди без определенных занятий. — Н. С.) поднимают венцы над головой Вертинского и тем воздушно-белым, что украшает головку невесты. И вот молодые (а шаферы с венцами следом) идут вокруг аналоя, и я с трудом узнаю Левку и Гигу — так суровы, горды, исполнены сознанием своей ответственности их обычно легкомысленно-веселые физиономии. На улице день, а мог быть и вечер, дневной свет едва проникает сквозь цветные стекла окон, к тому же церковь ярко освещена сотнями колеблющихся огоньков свечей… Тепло, душно от человеческого дыхания, от запахов воска, ладана, кадильного курения, и рядом с собою я слышу всхлипывание — молодая женщина в темном шелковом платочке на голове. Кажется, кто-то из «дансинг-герлс»… «Вы в гимназии, церковь, суббота, хор так ласково, нежно поет…» Она сама мечтала о таком дне, чтобы фата и белое платье, и рядом Он, и благословляющая рука священника, и атласный коврик, и венцы, и ничего этого нет и не будет.

Свадебный прием был устроен в «Шехеразаде», там в то время пел Вертинский. Разносились коктейли и сендвичи, хлопали пробки шампанского, цыгане пели заздравную, и народу столько, что к молодым не проберешься».

Вероятно, в воспоминания Наталии Иосифовны вкралась какая-то ошибка. Она пишет о «Шехеразаде», в то время как Лидия Владимировна называет «Мексикану», где пел в то время Александр Николаевич. О «Шехеразаде» же жена Вертинского повествует как о его очередном «проекте» (видимо, после неудачи с «Гарденией»), цитируя два письма Александра Николаевича, в которых он рассказывает о предстоящем приеме для прессы и о том, что на открытии «Шехеразады» был весь Шанхай. Самая шикарная публика. «Человек 500 у меня были. Менялись.

Уходили — приходили. Вся улица была заставлена машинами от Albert до Douma. Было много красивых женщин и весь французский клуб. Всем понравилось, я получил много комплиментов, цветов, улыбок и подарков… Вы увидите мою «Шехеразаду». О ней говорит сейчас весь город. Она удалась на славу. Очень уютно и шикарно, и по-европейски».

Что же касается свадьбы, закончилась она довольно комично: Лидия Владимировна вспоминает, что Шанхай буквально засыпал их подарками, все время подъезжали посыльные и привозили красиво упакованные коробки, а Вертинский все отправлял их к стойке бара, где их принимала и складывала жена хозяина ресторана. После поздно закончившегося приема Александр Николаевич решил оставить подарки до утра, а утром молодожены услышали от хозяйки, что китаец, работавший в баре, украл все ночью и бесследно исчез…

Вскоре хозяева «Мексиканы» уехали в Америку и открыли новое дело в Сан-Франциско. Видимо, дорогие свадебные подарки немало способствовали их процветанию!.. Бедные же молодожены вынуждены были на вопросы, как понравились им подарки, отвечать благодарностью без подробностей…

В 1943 году Вертинский написал письмо В. М. Молотову с прошением простить его и позволить вернуться на Родину:

> *«Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович!*
>
> Я знаю, какую смелость беру на себя, обращаясь к Вам в такой момент, когда на Вас возложена такая непомерная тяжесть — такая огромная и ответственная работа, в момент, когда наша Родина напрягает все свои силы в борьбе. Но я верю, что в Вашем сердце большого государственного человека и друга народа найдется место всякому горю и, может быть, моему тоже.
>
> Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное.
>
> Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения.
>
> Я же прошу Вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь — моей Родине.

Разрешите мне вернуться домой. Я — советский гражданин. Я работаю, кроме своей профессии, в советской газете Шанхая «Новая жизнь» — пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать.

Пустите нас домой.

Я еще буду полезен Родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае.

Заранее глубоко благодарю Вас.

Надеюсь на Ваш ответ.
Шанхай. 7 марта 1943 г.

А. Вертинский».

Через два месяца были получены положительный ответ из Москвы и визы.

Изгнание кончилось.

Началось возвращение.

Мучительный и долгий процесс…

К этому времени, к середине 1940-х годов, все драматически запуталось в жизни; если раньше русские в Китае делились на строителей и служащих КВЖД, тех, кто остался в Китае с советскими паспортами; тех, кто приехал сюда в эмиграцию после революции; тех, кто бежал в 1930-е годы из Европы от фашизма; тех, кто пытался отсюда, из далекого Шанхая, бороться за старую добрую Россию, — то теперь, перед лицом Второй мировой войны, все смешалось.

Кто сказал, что эмиграция — это лишь поступок? Нет, как и возвращение, это мучительный, нередко разочаровывающий процесс. Порой он затягивается на десятилетия, порой не кончается никогда. Они ощущали себя очень по-разному, обитатели русского Китая, но жили одним чувством — необходимостью считаться со всеми теми многочисленными обстоятельствами, с которыми не должны были считаться, которых могли просто не замечать, если бы жили в своей стране, если бы чувствовали себя дома. Дело не в богатстве и бедности, возможности трудиться или отсутствии этой возможности. Дело в таком эфемерном, необъяснимом, но естественном чувстве своей земли, своей страны, своего дома. И обманчивая близость России — уже неизвестной, уже пугающей, потому что совершенно другой страны — одинаково действовала на мысли и чувства жителей «русского» Китая: кто-то мог вернуться со своим советским паспортом, но куда? Кто-то подавал прошения о возвращении, но куда?

Страны, с которой все они были связаны образом мыслей,

языком, традициями, давно не существовало. Надо было отдавать себе в этом отчет. А это было, пожалуй, самым трудным.

Невозможным…

На рубеже 1930—1940-х годов Николай Щеголев написал стихотворение «Маскарад» — трагическое видение, в котором тесно переплетены мысли и чувства, наверное, очень многих:

Однажды средь ночи привиделся мне маскарад.
Ом с жизнью моею был плотно, как карты, стасован…
Какая-то комната. Люди. Все враз говорят.
А в комнате тесно. А двери в латунных засовах.
В очках а-ля Ибсен возник предо мною старик.
Надулись — вот лопнут от смеха — патлатые щеки…
И все засмеялись, и смех этот вылился в крик.
Гремели ладони, и дробно трещали трещот ки.
В железном оконце всплывала большая луна —
Бессмысленный лик, рябоватый, больной, бледно-желтый.
И все неестественно пели: «Как весело нам»,
А я им кричал обличительно: «Лжете вы, лжете!»
Туг все завертелось… И кто-то ударил меня
Большой колбасой из узорной и вздутой резины.
И кто-то грозил мне. И кто-то меня догонял, —
Запомнились злобные глазки и лоб шимпанзиный…
Все было, как в жизни… Не верилось, право, что сплю…
Всем вдруг захотелось казаться умней и красивей…
Один бормотал: «Я с пеленок искусство люблю…»
Другой тараторил: «Структура грядущей России…»
И мне показалось: я сам лицемерю и лгу,
Когда я прижался к стене и с лицом неподкупным
Сказал: «О, какое проклятье быть в вашем кругу!..
— Россия ж, как боль, мне близка, но, как даль, недоступна!»

Какое страшное и какое честное стихотворение!.. В нем, как в маленьком зеркальце, отражается жизнь «русского» Китая во всех противоречиях, во всех оттенках, в тех горестных раздумьях о возвращении, в которых, пожалуй, больше сомнений, чем уверенности в правильности выбранного пути…

Но Николай Щеголев смог преодолеть в себе эту сумятицу чувств и вернулся в Россию, где и умер в 1975 году. Жизнь его сложилась непросто, но кто может сказать, как сложилась бы она, останься он в Китае или выбери иную страну?.. По крайней мере, умер Щеголев на Родине, в своей стране, в холодном городе

Свердловске.

Шла война. Вести, которые доходили до «русского» Китая, были все более и более тревожными. Теперь Россия воспринималась иначе: это не была уже, Га новая, пугающая страна, которая воздвиглась на Руинах старой и противопоставляла старым ценностям, старому укладу жизни — новое. Это была страдающая, истекающая кровью Родина, Отчизна, участь которой вызывала боль и отчаяние. Ей так хотелось помочь — отдать свои силы, свою любовь…

Олег Лундстрем и его товарищи днем учились в Шанхайском Высшем техническом центре, а вечером работали, но теперь не для себя — для Родины. На свои деньги оркестр начал издавать газету «На Родину!», сборы от концертов передавал в фонд Красной Армии…

Многие русские эмигранты стали обращаться в Советское посольство с просьбой разрешить им вернуться в Россию — они хотели разделить с ней ее судьбу. Но посольство с разрешением не торопилось — с подозрением относилось к стремлению русских домой. Сталинщина приучила видеть во всем потаенный смысл — те, кто рвались на Родину, могли оказаться шпионами: немецкими, японскими, американскими. Эмигранты — потенциальные шпионы…

Еще 21 января 1927 года по предложению Шанхайского муниципального совета на основе Дальневосточной казачьей группы генерала Ф. Л. Гпебова, пришедшей в Шанхай в 1923 году, был сформирован Шанхайский Русский полк. Поначалу это была русская часть волонтерского полка, охранявшего иностранные концессии, затем отряд был реорганизован в Русскую волонтерскую роту, а с 1932 года это военизированное формирование получило название Шанхайского Русского полка, насчитывающего 19 офицеров и 438 солдат.

Шанхайский Русский полк, сформированный в основном из эмигрантской молодежи, до войны выполнял полицейские функции на территории Французской концессии, поэтому в 1941 году его переименовали в Русский вспомогательный отряд Шанхайской муниципальной полиции, но в 1942 году часть этого полка, не желая мириться со своей участью и одержимая желанием помочь своей стране, пешком отправилась из Шанхая в Чунцин, где находилось тогда правительство Китая. Проделав этот очень длинный путь, солдаты и офицеры обратились в советское посольство с прошением позволить им встать в ряды защитников Отечества. Посол А. С. Панюшкин принял молодых людей, оценил их порыв, помог получить визы. 12 человек были направлены самолетом в Алма-Ату. Прямо в аэропорту они были

арестованы сотрудниками НКВД и без суда и следствия получили по 10 лет лагерей за переход государственной границы и шпионаж.

Владимир Петрович Волегов, бывший русский шанхаец, приводит в своей статье, опубликованной в екатеринбургской газете «Русские в Китае», некоторые имена: Г. Тихонов, Г. Илюшин, В. Шуйский, К. Стогней, Б. Минасенко, Гавелов, Шанин, Беляков, Ручьев… Вот и все, что осталось от этих людей. Их дальнейшая судьба неизвестна за малым исключением…

Много уже сказано на этих страницах о том, что не только те, кто состояли в Шанхайском Русском полку, стремились на защиту Отечества: многие горели желанием вернуться в свою страну, разделить с ней все беды, помочь ей выстоять в борьбе с захватчиками. Но совсем рядом в «русском» Китае, в Шанхае, шла и другая жизнь.

П. Балакшин в своей книге «Финал в Китае» рассказывает о некоем общественном деятеле казаке М. Н. Третьякове: поселившись в Шанхае в 1931 году, он установил связь с японскими властями и Антикоминтерном. «Политическая деятельность вскружила голову Третьякову. Он совершенно свободно начинал говорить от лица всего русского Шанхая и считал себя связующим звеном между ним и японскими властями. Его тон стал еще более заносчивым и бесцеремонным. За вымогательство он был арестован на территории Международного сеттлмента и приговорен к тюремному заключению, но через месяц под давлением японских властей был освобожден. С обострением политической жизни русской колонии Шанхая и усилением давления со стороны японских властей уточнилась и роль Третьякова как политического деятеля. К этому времени он близко сошелся с «Русским отделом» при японской газете «Дальневосточное время» и его японскими и эмигрантскими руководителями по самому бесцеремонному вмешательству в жизнь тридцати с лишним тысячной русской колонии».

Владимир Петрович Волегов упоминает о раскрытии в Шанхае в октябре 1942 года советской интернациональной разведывательной группы, весьма эффективно действовавшей здесь еще с довоенного времени.

«Одним из активных участников этой группы был выпускник Харбинского Политехнического института 1934 года Колотозашвили Ираклий Васильевич, с двумя детьми которого я учился в годы войны в советской школе при Советском клубе на авеню Фош, — пишет Волегов. — О нем, других членах этой разведгруппы, прочих событиях, связанных с разведкой в Шанхае,

возможно, и будет повествование позднее, в других «откровениях»… Советское государство оценило помощь патриотов и в одном из номеров «Правды», в конце 1941 года, уже после разгрома противника под Москвой, Совет Министров СССР и ВКП(б) выразили общую благодарность россиянам и особую признательность «шанхайцам»…»

В чем конкретно выражалась деятельность разведгруппы на территории Китая? Что могли делать эти люди, кроме того что информировали «центр» о настроениях эмиграции, о желании многих примкнуть к действующей армии и уничтожать врага или о стремлениях некоторых присоединиться к гитлеровской армии и избавить Родину от коммунизма? Каким образом была разоблачена эта группа?

Может быть, когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы.

Одно бесспорно — в то время в Шанхае появилось немало авантюристов. Например, В. М. Хованс, считавшийся агентом сразу нескольких разведок, или Н. Т. Савин, объявлявший себя то корнетом Савиным, то графом де Тулуз Лотреком, то экс-королем Болгарским… Кем он был на самом деле — непонятно, но и его занесло какими-то ветрами в политику.

Так или иначе, но поведение русских в Китае по-своему влияло на политику японцев по отношению к Дальнему Востоку: они стали осторожнее со своими соседями, старались не допускать «крайних мер», подобных нанкинской резне в 1930-х годах. Тогда в Нанкине, на берегу реки Янцзы-дзяп, состоялась массовая показательная казнь, во время которой японцы убили от 250 тысяч до 300 тысяч человек. Им вспарывали животы, отрубали самурайскими мечами головы, тела сталкивали в реку. За что? — да только за то, что они были китайцами, а не японцами. Простыми людьми со своими простыми мыслями и желаниями. Это злодеяние потрясло весь Китай.

На русских японцы открыто не нападали — скорее, просто вытесняли, выдавливали их отовсюду. С началом Второй мировой войны они заняли выжидательную политику.

Информацию о Советской России, о ситуации на фронтах жители Шанхая и других городов могли почерпнуть из газет и радиопередач — на английском, французском, китайском и японском языках. Правда, японцы глушили радиопередачи других государств.

В 1941 году японцы оккупировали Шанхай. Город был взят за одну ночь, ночь на 7 декабря. Уже утром на всех мостах через каналы стояли японские часовые, солдаты морской пехоты. Многим, наконец, стало ясно, почему еще за несколько лет до войны японцы построили в своей части Международного

сеттлмента железобетонные казармы протяженностью в несколько кварталов и крепость: оказалось, что в ней до поры до времени скрывалось вполне достаточное количество вооруженных солдат, чтобы захватить шестимиллионный город за одну ночь.

«Шанхай не военный город, — пишет Виктор Смольников, — и в этом смысле совершенно беззащитен. Японцы оккупировали его, но военных действий в нем никогда не вели. В этом городе жили лица вражеской национальности», но не было вражеской армии, поэтому и воевать там японцам было Не с кем. Японская армия держала в своих руках город, по его жителей не трогала. Интернированием в концлагеря занималось японское генеральное консульство».

В первые же дни после оккупации у всех «лиц вражеской национальности» были конфискованы фотоаппараты и радиоприемники, но с гражданами нейтральных стран японцы ничего сделать не могли — а Советский Союз еще сохранял нейтралитет, война Японии была объявлена после окончания войны с Германией. Советские войска вошли в оккупированную японцами Маньчжурию 9 августа 1945 года, после бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки.

Благодаря нейтралитету СССР, советские граждане могли ежедневно собираться в Обществе граждан СССР, чтобы слушать по радио передачи из Москвы и быть в курсе всех военных событий. Японцы этому не могли помешать — сквозь все «заглушки» неслись голоса России…

Между тем жизнь сильно изменилась. «Шанхай превратился в грязный и запущенный город, — писал Н. Лидин. — Некоторые улицы, и не на окраинах, а в центре города превратились в настоящую клоаку, место для свалки нечистот. В центральных, людных районах города на панелях расположились мелкие китайские торговцы. Безданно и беспошлинно вели они свои коммерческие операции. Из муниципалитетов и связанных с ними разных городских предприятий начали выбрасываться на улицу европейцы с долголетним служебным стажем и знанием дела. Освободившиеся вакансии заполнялись японцами и китайцами. Штаты служащих пухли, разбухали, а развал городского хозяйства и благоустройства был все заметнее. Время от времени в местной прессе (японской и китайской) появлялись статьи и заметки, вскрывающие развал городского благоустройства и злоупотребления, порою вопиющие, в муниципалитетах. Власть на это реагировала обещанием расследования, устранения непорядка и злоупотреблений, наказания виновных. Но все оставалось по-старому. Разные хлопоты и наведение справок в муниципальных учреждениях порою были настоящим хождением

по мукам. Зато пышные всходы дала японская обработка китайских масс в духе ксенофобии и разжигания ненависти ко всем белым безотносительно их национальности».

Это очень важная констатация. Ведь на протяжении многих десятилетий жизни русских в Китае отношения с коренным населением складывались вполне доброжелательно, теперь же начался раскол…

Во время оккупации в Шанхае выходила всего лишь одна английская газета, «Чайна Пресс». Ее редактор, англичанин, перешел на службу к японцам, поэтому газета отличалась прояпонскими настроениями. Такими же были и две оставшиеся русские эмигрантские газеты. Вправе ли мы осуждать сегодня этих англичанина и русских, сумевших приноровиться, пристроиться к «предлагаемым обстоятельствам», чтобы дать возможность выжить своим изданиям? Да, они не могли публиковать ни слова правды, они откровенно обслуживали своих новых хозяев, но, кто знает, может быть, жили надеждой, что кто-то прочтет между строк?..

В глубь страны японцы не стремились — посадив своего марионеточного правителя Ван Цзин-вея в качестве президента несуществующего государства (как в 1930-х годах Генри Пу И был императором несуществующей империи), они жестко контролировали лишь железнодорожные линии. И, как справедливо отмечает Виктор Смольников, вовсе не оттого, что боялись; «трусами их не назовешь. Просто не хватало сил на такую огромную территорию, как Китай, тем более что они уже захватили и пытались контролировать Филиппины, Малайю и Индонезию. Эта мегаломания дорого обошлась Японии, и нельзя сказать, что она этого не заслужила».

В Шанхае, этой благословенном краю изобилия, были введены карточки на сахар, однако выдаваемой населению продукт менее всего напоминал сахар, это был перемешанный с соломой какой-то коричневатый порошок.

За время оккупации было построено пять концлагерей: четыре для гражданских лиц, пятый — для военнопленных. Из русских в лагеря попадали, как правило, русские женщины, вышедшие замуж за американцев, главных врагов…

Всех жителей Шанхая заставили выращивать в своих садиках и на пустых участках касторку — касторовое масло, как говорили, заменяет в самолетных двигателях какое-то другое, более дефицитное масло. «Участок покрывается этими гигантскими, в два раза выше человеческого роста, растениями с большими листьями очень быстро, — пишет Виктор Смольников. — Если они густо посажены, то получается непроницаемая живая

изгородь. Однако о том, чтобы японцы убирали урожай касторки, я что-то не слышал, и, наверное, ни один японский самолет с шанхайской касторкой не взлетел».

А вот американские самолеты периодически совершали налеты на Шанхай и бомбили стратегически важные объекты, в основном заводы на окраине города.

Летом 1942 года в Шанхае наблюдалось солнечное затмение. Многие увидели в этом природном явлении знамение. Правда, расценивали его по-разному: один — как предвестие гибели России, другие — как знак возрождения своего Отечества. В общем, каждый видел то, чего желал всей душой.

Между тем в Китае, в ходе упорного сопротивления японским захватчикам, постепенно назревали события, которые в конечном итоге приведут к революции 1949 года и провозглашению Китайской Народной Республики. Власть возьмут коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Национальная освободительная армия Китая войдет в Шанхай, и самые прозорливые из оставшихся русских поспешат получить визы и уехать в СССР — в конце концов, своя революция покажется в сравнении с китайской не такой жестокой.

«Хоть похоже на Россию, только все же не Россия…»

В конце ноября 1943 года в Каире состоялась встреча глав трех держав: Китая, США и Великобритании. Чан Кайши, Рузвельт и Черчилль обсуждали на ней вопросы о возвращении Китаю захваченных японцами территорий (в частности, острова Тайвань), об упразднении права экстерриториальности для иностранцев и о ликвидации иностранных концессий в Китае.

Так была решена судьба Шанхая…

Жизнь резко изменилась. Международного сеатлмента и Французской концессии больше не существовало, не стало их и в других городах — Тяньцзине, Ханькоу. Иностранцы оказались безработными, в том числе и русские. «У меня нет точных данных, — пишет Виктор Смольников, — по, наверное, это означало для русских потерю более пяти тысяч рабочих мест, для англичан — около десяти тысяч. Более сорока тысяч иностранцев оказались безработными». Что это значит? Это значит, что более сорока тысяч семей остались без средств к существованию.

Эта безработица явилась одной из главных причин возвращения русских на Родину. Многим, особенно молодым людям, казалось, что здесь, в Китае, у них нет будущего.

В конце войны в Шанхае возникла антисоветская организация «ПРО», Международная организация помощи беженцам. Ее целью было уговорить русских уезжать куда угодно, только не в СССР — их не только уговаривали, им весьма деятельно помогали, и

значительная часть русских эмигрантов поддалась на эти посулы. Их перевозили на остров Самар, на Филиппины, где какое-то время они жили в специальном лагере в ожидании визы в США, Австралию или Канаду.

Надо же было такому случиться, что именно в это время, когда на острове собралось множество людей, /(ожидавшихся визы, на Самар обрушился тайфун! Как будто мало было этим несчастным испытаний… Но, кажется, к счастью, обошлось без человеческих Жертв, а вот лагерь пришлось восстанавливать, он был просто сметен разбушевавшимся ветром…

Японцы понимали, что их власти приходит конец. Они уже не так зверствовали, а порой наказывали «провинившихся» чисто формально. Смольников вспоминает день, когда Советский Союз объявил войну Японии: «Во двор Общества граждан СССР въехал японский военный грузовик. Навстречу ему вышел секретарь Общества Виктор Рублев, прекрасно говоривший ио-китайски и ио-японски. Из машины выскочил японский лейтенант и сказал, что генерал такой-то любезно прислал перевязочные материалы и медикаменты для советских граждан, так как японцы Шанхая никогда не сдадут. Шанхай будет вторым Сталинградом. Рублев, проживший всю жизнь в Китае и привыкший к китайским церемониям и японской вежливости, всегда говорил спокойным, мягким голосом. Он вежливо спросил, знает ли уважаемый господин лейтенант, что СССР объявил войну Японии и наши войска уже в Маньчжурии. Лейтенант обалдело посмотрел на Рублева, вскочил в грузовик и быстро уехал вместе с подарками.

Некоторые хозяйственники говорили, что Рублев поступил неправильно. Надо было весь перевязочный материал принять, а о войне лейтенант мог бы узнать и у себя в казарме. Впрочем, у хозяйственников другой точки зрения не могло и быть. Но, скорее всего, все кончилось бы тем, что вслед за лейтенантом приехали бы японские солдаты, чтобы расстрелять Рублева, забрать свои вещи и разрушить Советский клуб».

Второго Сталинграда не получилось. Но в историю этой страшной войны вошли еще два города, судьба которых потрясла мир. 6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа — на Нагасаки. В результате бомбардировки погибли сотни тысяч мирных жителей. Япония испытала шок…

8 августа Советский Союз объявил Японии войну — 9 августа Красная армия вторглась в Маньчжурию.

10 августа по радио выступил император Хирохито. Японцы едва ли не впервые услышали голос Сына Бога, как привыкли они воспринимать своего императора. Этот глуховатый, негромкий

голос, прорывавшийся через радиопомехи, приказал всем своим соотечественникам, где бы они ни находились в этот момент, прекратить любые военные действия, прекратить всяческое сопротивление, потому что великая Страна Восходящего Солнца капитулирует…

Для многих японских военных это была настоящая трагедия, и они покончили жизнь самоубийством. Для мирного населения это была пусть призрачная, но все же надежда на то, что ужасы бомбардировки больше не повторятся.

Так разрушился вековой миф о непобедимом, неуязвимом для врагов божественном императоре.

Итак, Шанхай узнал об окончании войны. «Русская колония буквально сошла с ума», — записал в своем дневнике Виктор Смольников 12 августа. В общем, было отчего. Завершилась очень долгая, очень жестокая война, из которой Советская Россия вышла победительницей.

Вторжение Красной армии в Китай означало, что в судьбе русских шанхайцев грядут перемены…

О том, как власти Советского Союза относились к русским колонистам, свидетельствует участь харбинцев, вернувшихся на Родину. 30 сентября 1937 года (по некоторым источникам — 20 сентября) генеральный комиссар госбезопасности СССР Ежов подписал приказ № 00593:

«Органами НКВД учтено до 25000 человек, так называемых «харбинцев» (бывшие служащие Китайской Восточной железной дороги и реэмигранты из Маньчжоу-Го), осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, Жандармов, участников различных эмигрантских Шпионско-фашистских организаций и т. п. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, Диверсионной и шпионской деятельности.

Доказательством этому могут служить также и следственные материалы. Например, на железнодорожном транспорте и промышленности за последний год репрессировано за активную террористическую и диверсионно-шпионскую деятельность до 4500 харбинцев. Следствие по их делам вскрывает тщательно подготовленную и планомерно выполнявшуюся работу японской разведки по организации на территории Советского Союза диверсионно-шпионских баз из числа харбинцев…

Приказываю:

С 1 октября 1937 года приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и в промышленности.

Аресту подлежат все харбинцы: а) изобличенные и подозреваемые в террористической, диверсионной, шпионской и вредительской деятельности; б) бывшие белые, реэмигранты, как эмигрировавшие в годы Гражданской войны, так и военнослужащие разных белых формирований; в) бывшие члены антисоветских политических партий (эсеры, меньшевики и др.)… л) принимавшие китайское подданство, а затем переходившие в советское гражданство.

Аресты произвести в две очереди: а) в первую очередь арестовать всех харбинцев, работающих в НКВД, служащих в Красной Армии, на железнодорожном и водном транспорте, в гражданском и воздушном флоте, на военных заводах, в оборонных цехах всех других заводов, в электросиловом хозяйстве всех промпредприятий, на газовых и нефтеперегонных заводах, в химической промышленности; б) во вторую очередь — всех остальных харбинцев, работающих в советских учреждениях, совхозах, колхозах и проч.

Следствие по делам арестованных харбинцев развернуть с таким расчетом, чтобы в кратчайший срок полностью разоблачить всех участников диверсионно-шпионских и террористических организаций и групп.

Выявляемую в процессе следствия харбинцев новую сеть шпионов, вредителей и диверсантов немедленно арестовывать.

Операцию закончить к 25 декабря 1937 года…»

Читаешь — и ощущение такое, что попал в кошмарный сон. Шпиономания, развившаяся до настоящей психической болезни. Приказ Ежова состоит из тринадцати пунктов, в каждом из которых казенным языком сформулирована история трагической болезни страны. Люди, после долгих мук и сомнений вернувшиеся на Родину, о которой десятилетиями грезили в чужой стране, объявлялись диверсантами, террористами, шпионами японской разведки и сотнями, тысячами погибали в лагерях строгого режима.

За что?

За любовь к своей стране, за желание служить ей верой и правдой до самого конца жизни.

Просто никто из них не мог и предположить, что конец этот окажется настолько близким…

Относительно Шанхая таких четких директив, вероятно, не было. Но для всего пространства, именуемого «русский» Китай, для этого острова Рассеяния, который на протяжении десятилетий казался таким непоколебимо-спокойным, наступили поистине роковые дни.

Трагедия заключалась в том, что люди настолько истосковались по Родине, настолько рвались туда, где они перестанут быть людьми второго сорта, что предпочитали не воспринимать всерьез даже достоверных слухов. Они как будто не хотели замечать того, что соотечественники воспринимают их как врагов, вредителей, что для солдат и офицеров Красной армии все они, попавшие в Китай в разное время, в силу разных обстоятельств (а многие ведь родились здесь!), представляют собой некую однородную массу — врагов, эмигрантов, предавших Родину, бежавших от нее вместе с белой армией.

К. Волкова в серии очерков «Люди и судьбы», опубликованных в газете «Русские в Китае», рассказывает историю юноши по имени Кирилл. Ему было 25 лет.

Утром 7 июня 1948 года Кирилла остановили по дороге на работу на оживленной харбинской улице два китайца и на чистом русском языке пригласили сесть в машину. «Его привезли в китайский полицейский участок, а через неделю без всяких объяснений надели наручники, посадили в поезд… и трое суток без воды и пищи везли к границе СССР. Затем передали его советским властям.

Потом была Читинская тюрьма, одиночная камера, и днем и ночью допрос за допросом… Три месяца длились допросы. Потом был суд, на котором Кириллу так и не сказали, в чем он обвиняется». Военный трибунал Забайкальского военного округа приговорил «шпиона» к 25 годам лишения свободы.

К счастью, через семь лет, в 1955-м, он был освобожден за недоказанностью улик.

В Шанхае все было немного иначе. Японские войска покидали город без инцидентов. Они шли через город молча, без оружия.

Власть перешла к гоминьдановскому правительству, вскоре на улицах появилось много американских солдат и полицейских. Открытого преследования русских (во всяком случае, такого, как в Харбине) не было, но предоставлять работу русским китайцы перестали, в первую очередь потому, что русские, как правило, не знали китайского языка.

Что касается русских предпринимателей, то в послевоенном Шанхае их положение не изменилось.

Так, в 1945 (или в 1946) году Владимир Александрович Бородин приобрел в западной части Французской концессии, на Линг Сен Роуд, красивый каменный особняк. Вот как описывает его Мария Бородина.

«Въезд на территорию вел через высокие ворота мимо дома к большому, на три автомобиля, гаражу. Там всегда хранился большой запас бензина, так как со времен войны бензин был по карточкам, и норма по ним все время снижалась.

К гаражу примыкал домик садовника. Старик-китаец жил с женой, иногда к ним приезжала дочь с маленькой девочкой. Сестра Наташа убегала в этот домик при первой же возможности — чудесный вкус китайской еды привлекал ее больше домашнего обеда. И полакомиться сахарным тростником можно было только там.

Большую часть сада в центре покрывал газон, на котором происходили наши детские игры, устраивались приемы гостей, праздновались дни рождения.

На открытой террасе под колоннами стояла плетеная мебель, солнце туда не заходило, и тропическая жара не так донимала. Внутри дома от жары защищали толстые каменные стены. От входной двери из прихожей вел длинный коридор. Слева — папин кабинет, туда лишний раз заходить не разрешалось. Справа — лестница на второй этаж. А дальше по левой стороне большая гостиная, переходящая в столовую, из которой можно было выйти на террасу. На первом же этаже — кухня, из нее выход в прачечную комнату и на улицу. Из прачечной комнаты узенькая лестница вела наверх, в комнату, где, кажется, жил повар. Тот самый, которого мы, дети, обожали, за которым бегали хвостиком. Впрочем, обожание было взаимным, его торты ко дню рождения каждого из детей отличались чем-то особенным. Бабушкина комната на втором этаже находилась между Алешиной и нашей с сестрами детской. Напротив через коридор — ванная комната, где бабушка Наталья Николаевна жарким шанхайским летом каждый день принимала ванну со льдом.

В конце коридора — спальня родителей, очень большая, с отдельной ванной. В спальню обычно ставилась и колыбель новорожденного, пока мама кормила, потом детей перемещали в детскую комнату… На втором этаже находилась и комната для гостей».

Не знаю, насколько я права, но почему-то кажется, что тогда, в 1945-м, Владимир Александрович Бородин еще не задумывался об отъезде на Родину. Он налаживал быт своей семьи так, словно в этом особняке предстояло жить нескольким поколениям его потомков.

После войны Стални обратился к соотечественникам, оказавшимся за рубежом, с призывом вернуться на Родину, которая готова простить им чу минутную слабость, что заставила их некогда свою страну покинуть. И, конечно, этот призыв нашел горячий отклик в душах тех, кто десятилетиями жил без гражданства, ощущая себя чужаком.

Олег Лундстрем пишет, что его оркестр сразу после этого призыва стал собираться в Советский Союз: «Тогда авторитет СССР в мире был очень высок, мы гордились своей страной. Авторитету Сталина мог позавидовать любой государственный деятель. Вот мы и рвались домой. Рассуждали так: раз в России разруха, стране не до джаза и надо дома строить, будем строить дома. Весь оркестр, между прочим, готов был идти в строители… Для нас было совершенно ясно: жить нужно в своей стране и поднимать ее из разрухи… Из Шанхая оркестр уезжал в полном составе. На пароходе «Гоголь» 21 октября 1947 года третья партия репатриантов, в которой были и мы, отбыла на Родину».

А перед этим лундстремовцы бесплатно играли на концертах для возвращавшихся в Советский Союз. Играли и мечтали о том дне, когда и они сядут на пароход, чтобы отплыть на Родину…

Создание в Шанхае Советского клуба должно было, с одной стороны, призыв Сталина как-то морально обеспечить, с другой же — дать возможность улечься эмоциям. В клуб ведь далеко не каждый мог приходить. Даже будучи горячим патриотом, человек, пожелавший вступить в Советский клуб, должен был платить взнос, а взнос был довольно высоким, не всем по карману. Уже в этом, наверное, самые прозорливые из обитателей «русского» Китая должны были усмотреть подвох. Клуб предназначался для состоятельных русских, а что могло ждать их в Советском Союзе? Но об этом, кажется, мало кто задумывался… Тем более что уехать в Советский Союз было значительно проще, чем в любую другую страну, — советское правительство предоставляло визы, гражданство, обеспечивало беспошлинный ввоз любого количества багажа, а также бесплатный проезд для тех, кто готов был ехать осваивать целинные земли.

Советский клуб располагался на территории Французской концессии, в трехэтажном особняке на авеню Фош. Здесь устраивались вечера с танцами, концерты, при клубе были ресторан, библиотека, волейбольная площадка, а позже летний театр. В саду устраивались шахматные турниры…

Бурная жизнь кипела и в Советском спортивном клубе, построенном на пустыре на авеню Петен совместными усилиями членов Советского клуба — в самом начале деятельности клуба им руководил Игорь Лундстрем.

Об истории создания этого клуба рассказывает В. Смольников.

«Для строительства клуба Обществу граждан СССР понадобились деньги. Решено было поступить по принципу Робин Гуда: ограбить богатых. Генеральный консул СССР пригласил группу наиболее состоятельных лиц советской колонии в консульство на просмотр фильма «Сказание о земле Сибирской», еще не вышедшего на шанхайские экраны. Сначала показали фильм. Эффект от него был ошеломляющим. Потом был ужин, тоже ошеломляющий: тогда еще подавали красную икру. За кофе консул встал и произнес небольшую речь. Он сказал, что Обществу граждан СССР нужны деньги на постройку спортивного клуба. Туг же все полезли за чековыми книжками. Моя соседка по столу сняла свои золотые часы с массивным золотым браслетом. Короче, деньги нашлись сразу».

И использованы эти средства были с размахом и, надо отдать должное, по назначению. Оборудовали футбольное поле, несколько кортов, возвели двухэтажный павильон, в котором располагались сцена и ресторан. Здесь тоже часто собирались обитатели острова Рассеяния и, наверное, обсуждали самый главный для себя вопрос — возвращение на Родину, взвешивали все «за» и «против», общались с консулами и атташе, пытаясь в «непрямых» разговорах с ними понять: стоит ли все-таки ехать в страну, которая уже почти ни в чем не напоминает ту Россию, которую они покидали когда-то?..

По случаю победы над Германией русские шанхайцы устроили бал в лучшем боллруме города — «Парамаунте».

А в 1947 году был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о репатриации советских граждан в СССР. Начался массовый исход из Шанхая — первые тысячи потянулись на Родину, не зная и не особенно еще задумываясь о том, что их ждет. По словам В. Смольникова, треть русских шанхайцев решилась на отъезд.

Репатриация взбудоражила атмосферу в Шанхае, в прессе началась бурная полемика. Эмигрантские антисоветские издания поливали грязью не только СССР, но и решившихся на отъезд. В эту кампанию включились и английская, и американская пресса. Обстановка накалялась, людям все труднее было сделать выбор… Но неожиданно произошел казус, разрядивший ситуацию.

«У английской прессы есть замечательная традиция — систематически публиковать письма читателей на имя главного редактора, для чего существует самостоятельный отдел газеты, — пишет В. Смольников. — Письма могут быть на любые темы… Поэтому раздел всегда интересен и злободневен.

В полемике, опубликованной в газете «Норд Чайна Дейли Ньюс», приняли участие и англичане, и советские граждане, и белые эмигранты. Газетная баталия длилась несколько недель. Писали зло, часто остроумно, иногда просто глупо, но читать было очень интересно. Единственным условием для опубликования письма было приложение к нему визитной карточки с указанием домашнего или рабочего адреса… Бумажная битва закончилась совершенно неожиданным образом… Утром я приехал на работу и прошел в кабинет к секретарю, чтобы просмотреть свежую газету. Среди писем редактору мне попалось совершенно блестящее письмо, написанное то ли советским гражданином, то ли русским, симпатизирующим Советскому Союзу. Письмо заканчивалось стандартной формулой вежливости: «Сэр, я остаюсь вашим покорным слугой…», — и внизу стояла подпись. Фамилия мне показалась странной — двойная через тире и какая-то непонятная. Я внимательно ее прочел еще раз и буквально обалдел. Английскими буквами было написано такое русское трехэтажное ругательство, о существовании которого я не подозревал и которое позже в СССР никогда в применении не слышал.

В то утро сначала хохотали все русские шанхайцы — и советские, и эмигранты, а чуть позже, после объяснения иностранцам всех тонкостей русского юмора, потешался уже и весь иностранный Шанхай. Не смеялся только Пейтон-Гриффин, редактор газеты: он был взбешен.

На другой день в отделе писем газеты было напечатано следующее извещение, вполне обычное и принятое, когда полемика длится очень долго: «Ввиду того, что всем сторонам была дана полная возможность высказаться по поводу советской репатриации, дальнейшая полемика по этому вопросу прекращается. Редактор»».

Судя по всему, обстановку вокруг тех, кто собирался вернуться домой, нагнетали сознательно.

«В один из ноябрьских праздников, когда советское генеральное консульство пригласило иностранный дипломатический корпус и советских граждан на прием, была организована антисоветская демонстрация, — рассказывает В. Смольников. — Сотни китайцев дефилировали перед окнами консульства и выкрикивали антисоветские лозунги, однако всех гостей, шедших в консульство на прием, любезно пропускали. Советский военный атташе, стоявший у окна со своим американским коллегой, спросил: «Что, дорого обошлась вам эта антисоветская демонстрация?» Американец улыбнулся и ответил:

«Ну что вы, принимая во внимание курс американского доллара на сегодня, она стоила очень дешево»».

30 ноября 1947 года уехала из Шанхая Наталия Ильина. Ее мать, Екатерина Дмитриевна, еще на семь лет оставшаяся в Китае, сохранила восторженные письма дочери с дороги: «У меня светлые надежды на будущее. Ведь я еду в страну, где от энергии, активности и труда человека зависит все!», «Морально чувствую себя прекрасно. Верю в социализм. Верю в себя», «Каждый день благодарю Бога, что я поехала, что я в России»…

Энтузиазм был невымышленный, он зажигал, звал, давал веру в будущее. Ведь они возвращались в свое Отечество.

В 1949 году в Китае произошла революция, к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Была провозглашена Китайская Народная Республика — национальная освободительная армия Китая с боями вошла в Шанхай. Для многих русских это событие стало решающим моментом в их колебаниях и сомнениях. Из этой страны, повторившей путь России, надо было уезжать. Куда угодно. Куда проще было уехать — для многих, измученных неопределенностью, это обстоятельство стало главным.

В стране установился другой режим, это ощущалось во всем. Постепенно прекращали свою деятельность иностранные концессии, исчезали перспективы капиталовложений, иностранцы начали покидать эту новую страну, с новыми правилами и законами, не дожидаясь, когда официально объявят национализацию. Уезжали и многие состоятельные китайцы — за бесценок продавали дома, фирмы, стремились в Гонконг и Макао. В первые же дни после революции, как и во всех странах, в Китае началась спекуляция товарами первой необходимости и продуктами. Со спекулянтами коммунисты справились быстро — они стали их расстреливать, а на дверях лавочек и магазинов вывешивать списки расстрелянных. По улицам шли колонны грузовиков, в которых стояли на коленях китайцы в белых (цвет траура) одеждах с завязанными за спиной руками — их везли через весь город к месту казни, на расстрел.

Вскоре в Шанхае появились советские военные — коммунисты во главе с Мао Цзэдуном обратились к СССР за помощью. Начались массовые демонстрации по поводу и без повода, в которых каждый должен был нести в руках цветок; публичные покаяния фабрикантов; самоубийства отчаявшихся; инфляция… Иностранные фирмы отзывали своих служащих. Город постепенно пустел.

На 1949 год пришлась следующая волна репатриации. Уезжали в Америку, Канаду, Австралию. И — в Советский Союз.

«У детей должна быть Родина. Как и для большинства, этот аргумент — главный и для наших родителей в их размышлениях о том, что делать дальше, — вспоминает Алексей Владимирович Бородин. — Они не спешат. Мои сестры еще маленькие, да и советские консульские, бывавшие в нашем доме, родителей отговаривают — не отговаривают, но советуют: не торопитесь, пусть дети подрастут. Дипломаты знают больше нашего, но ничего не говорят напрямую.

Мы провожаем пароход с репатриантами в СССР — счастливчиками, возвращавшимися на родину. Сердце щемит, ведь мы остаемся на берегу.

Никто из тех, кто был на этом пароходе, не дает о себе знать, благополучно ли добрались они до места назначения… А те, кто остаются, так и не знают о том, что многие репатрианты 1949 года, благополучно добравшись тогда до исторической Родины, с тех пор сидят в недрах ее, в лагерях».

В самом начале 1951 года возникла у кого-то странная идея: отправить в Советский Союз сначала Детей, а потом уже их родителей. Трудно разобраться, кто ее высказал впервые, но можно понять, каким образом она сформировалась. На протяжении шести лег существования Советского клуба и советской школы выросло поколение подростков, страстно мечтавших о своей стране: мысленно, эмоционально они проходили трудный путь до Победы вместе с Советским Союзом, со Сталиным. В своих грезах они видели себя строителями, созидателями, полноправными гражданами страны, говорящей на одном с ними языке, поющей одни с ними песни, живущей одними с ними мечтами.

Но чем большими патриотами по духу были эти подростки, тем более мягкой, податливой глиной они должны были стать в руках тех, кто привычно манипулировал людьми, чистыми и светлыми убеждениями. Родители непременно последовали бы за своими детьми, став заложниками своей родительской любви.

Бесчеловечная, по какая понятная для нашей страны идея!.. Великий Инквизитор, сочиненный Ф. М. Достоевским, мог бы склонить перед ней голову…

К счастью, она каким-то образом рассосалась сама по себе, эта «великая идея», по патриоты-пионеры, в числе которых был и юный Алексей Бородин, написали всем классом петицию в советское консульство — они выразили желание ехать в СССР без родителей. «В эту ночь у меня появились первые седые волосы», — призналась позже своему сыну Зинаида Яковлевна Бородина.

Бородины уехали позже, все вместе, в 1954-м, когда уже

почти никого в Шанхае из русских не оставалось. Младшее поколение Бородиных было одержимо теми же чувствами, которое испытывала и харбинка Екатерина Ершова (Бибикова), написавшая стихотворение «Возвращение» в том же 1954 году, когда и она возвращалась на Родину с матерью, мужем и детьми:

Лиловые сопки Маньчжурии,
Последний чужбины причал.
Теперь уж, наверно, никак не смогу я
Забыть полумрачный вокзал.
Не надо ни плача, ни мудрости,
Я вновь все вокруг огляжу
И в сторону детства и юности
Я низкий поклон положу.
В теплушках с трудом разместились мы.
Нас поезд к границе помчал,
И хоть терпеливо дождалися тьмы,
Никто абсолютно не спал.
И каждому дню приближения
Был каждый мучительно рад.
И вдруг промелькнуло видение…
То первый советский солдат. Леса появились приветные,
И сердце заныло в груди.
Прими же нас, Родина светлая,
Мы дети родные твои.

В этих безыскусных строках живет искреннее, светлое волнение не юной девушки, но жены и матери, так давно настроенной на встречу с Родиной, что для нее уже ничего не имело никакого значения, кроме счастья встречи с лесами, первым солдатом, ночным звездным небом.

Небом Отчизны…

В 1952-м Советский Союз безвозмездно передал права на управление Китайско-Восточной железной дорогой правительству КНР. История свершила свой круг, хроника жизни «русского» Китая подходила к концу. Харбин уже перестал быть русским городом.

Пришла очередь Шанхая.

В 1954-м уйдут на Родину последние эшелоны с репатриантами, от многотысячной русской колонии в Шанхае останется лишь около двухсот человек, так и не рискнувших круто изменить свою судьбу, чтобы (в любом случае!) начать жизнь с нуля. Часть из них решится на это через семь лет, в 1961 году, когда уже никаких иллюзий не останется. Но пока… пока

они остаются в Китае. На то, чтобы начать все сначала, с чистого листа, нужны были не только средства, но и Душевные силы, которых уже почти не осталось.

Между тем те, кто уезжали в СССР, стремились не в столицу, не в те города, с которыми была связана Жизнь их предков, — они готовы были осваивать целинные земли, строить по-настоящему новую жизнь вместе со своей страной.

И, наверное, Юстина Крузенштерн-Петерец, уехавшая из Шанхая в Соединенные Штаты, выразила в этом коротком стихотворении то настроение, в котором пребывали многие русские колонисты:

Проклинали… Плакали… Вопили…
Декламировали: — Наша мать —
В кабаках за возрожденье пили,
Чтоб опять на утро проклинать.
А потом вдруг поняли. Прозрели.
За голову взялись:
— Неужели? Китеж! Воскресающий без нас!
Так-таки великан! Подите ж!
А она действительно, как Китеж,
Проплывает мимо глаз.

Большинство не могло смириться с тем, что «проплывает мимо глаз». Хотелось отдать все силы для того, чтобы помочь этому великому Китежу подняться со дна и утвердиться, и засиять, и ослепить врагов своими огнями.

Надо было решиться.

Слишком сложно было решиться начать новую, совершенно новую жизнь.

Вот всего лишь несколько свидетельств, всего лишь несколько рассказов о том, как это происходило.

Виктор Смольников: «Приготовления длились более трех месяцев. Так, наверное, было рассчитано в Москве, чтобы мы приехали на месго еще летом. Дважды с отъезжающими беседовал генеральный консул Шестериков, отвечал на многие вопросы, часто неожиданные, а иногда просто глупые… 16 июля нас посадили в вагоны второго класса, и мы поехали на запад, в сторону Нанкина… В Тяньцзине стояли дня два, чтобы дать время сесть в поезд «целинникам»-тяньцзиньцам. Многие пошли смотреть город. Я не пошел. В Тяньцзине я прожил около тринадцати лет, для меня это были счастливые годы, и мне не хотелось портить впечатления юности.

В Харбине два дня к нам присоединяли вагоны с

«советскими» харбинцами. Здесь я родился и хорошо помнил небольшие районы города, где жил в детстве. Но вспоминать прошлое я не захотел, тем более что в годы моего детства Харбин был совершенно русским городом.

Шанхай.

Набережная Банд.

Михаил Александрович Бородин.

Юрий Бородин.

Мария Николаевна Бородина с дочерью Ириной.

Семья Бородиных. Шанхай. 1946 г.

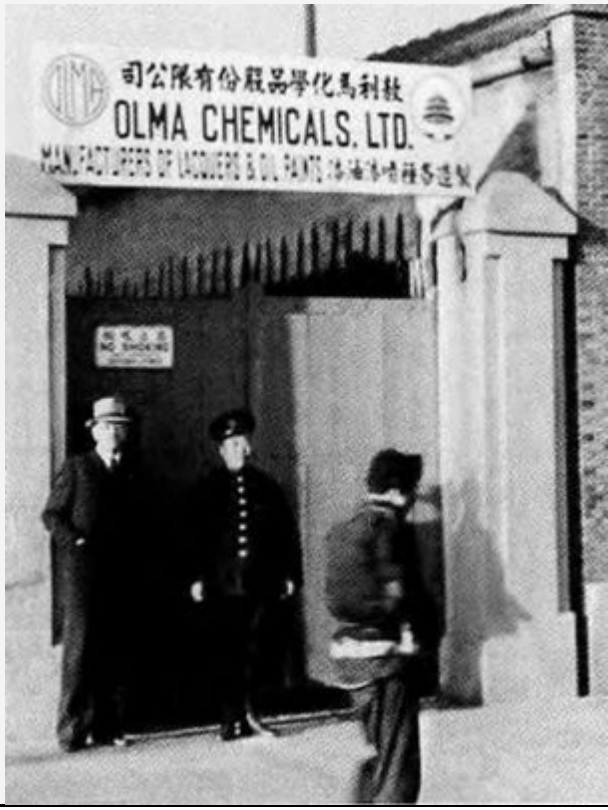
Владимир Александрович и Зинаида Яковлевна Бородины в окрестностях Шанхая.

Наташа Бородина с Амой.

Маша, Таня и Наташа Бородины на костюмированном празднике.

Дом Бородиных в Шанхае. Конец 1940-х гг.

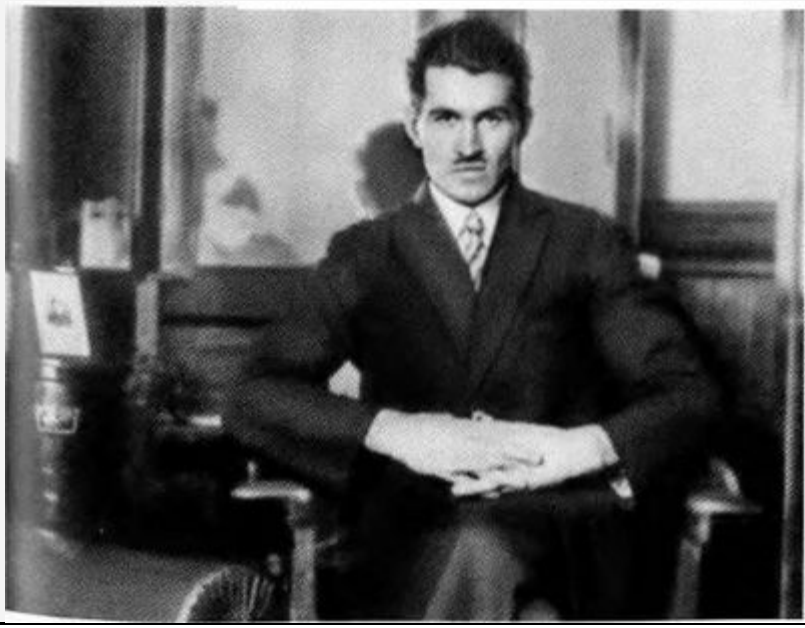
З. Я. и В. Л. Бородины с сыном Алешей.



Вход на завод «Олма кемикалс».

Охота в окрестностях Шанхая. 1940-е гг.

Виктор Прокофьевич Смольников. 1947 г.



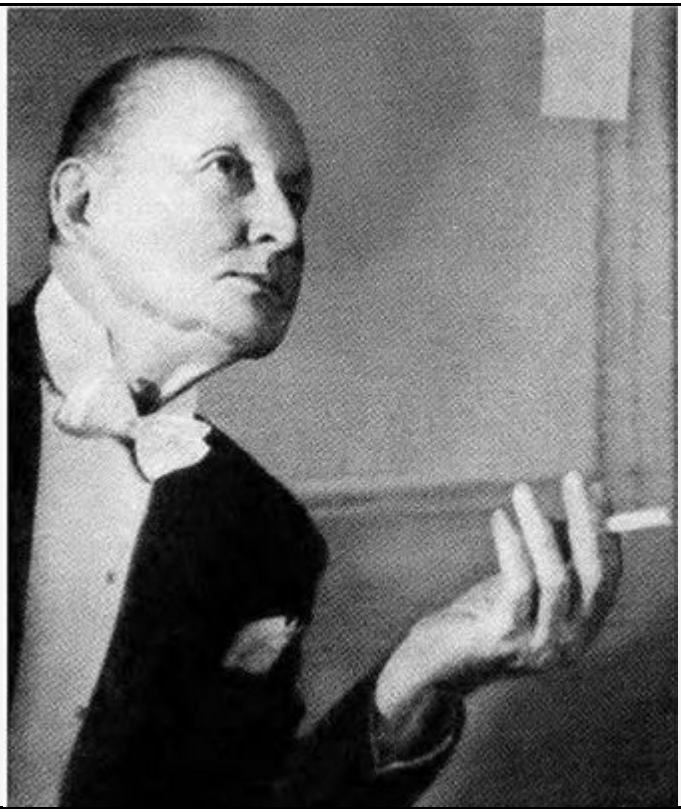
Василий Георгиевич Мелихов.

Памятник А. С. Пушкину в Шанхае.

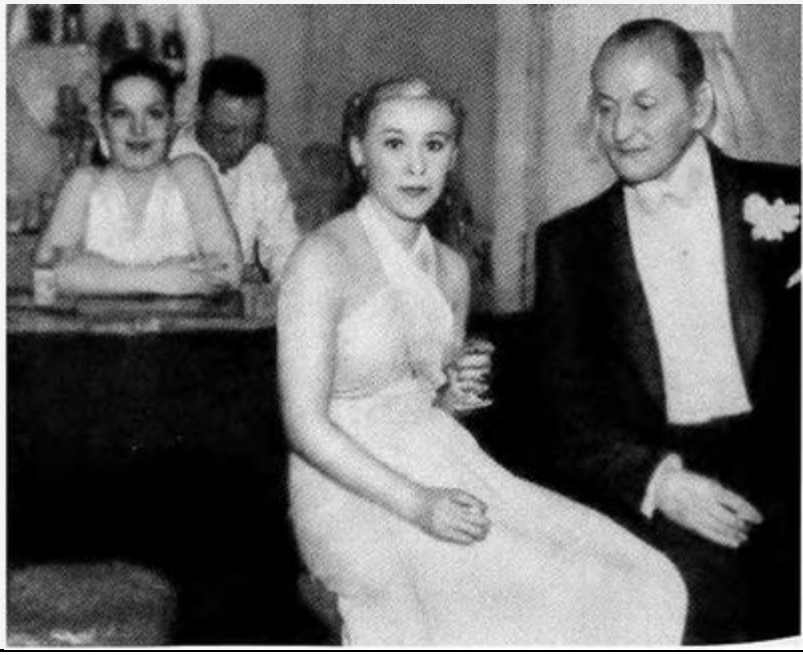
Шанхайский Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери — Споручницы Грешных.

Советский детский сад в Шанхае.

Парад школьников в советском спортивном клубе. Шанхай



Александр Вертинский.



Буби и Александр Вертинский в ночном клубе «Гардения». Шанхай.

Лидия Циргвава.

Бракосочетание Александра Вертинского и Лидии Циргвава.

Шанхай. 26 апреля 1942

Наталья Иосифовна Ильина.

Ольга Иосифовна Ильина.

Екатерина Дмитриевна Воейкова, мать Натальи и Ольги.

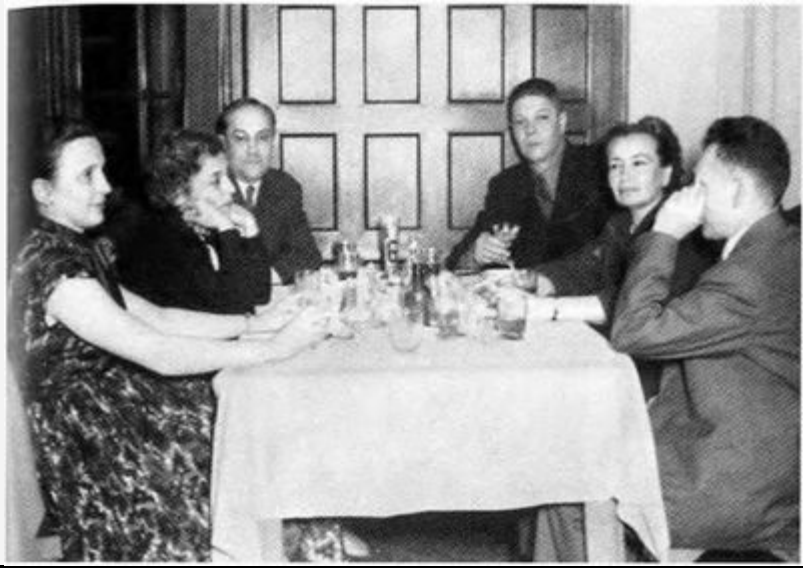
Ежегодный русский бал в отеле «Мажестик» в Шанхае.

Олег Лундстрем. 1935 г.

Свадьба Елены Жемчужной и Эйба Биховскн.

Тяньцзинь. 1937 г.

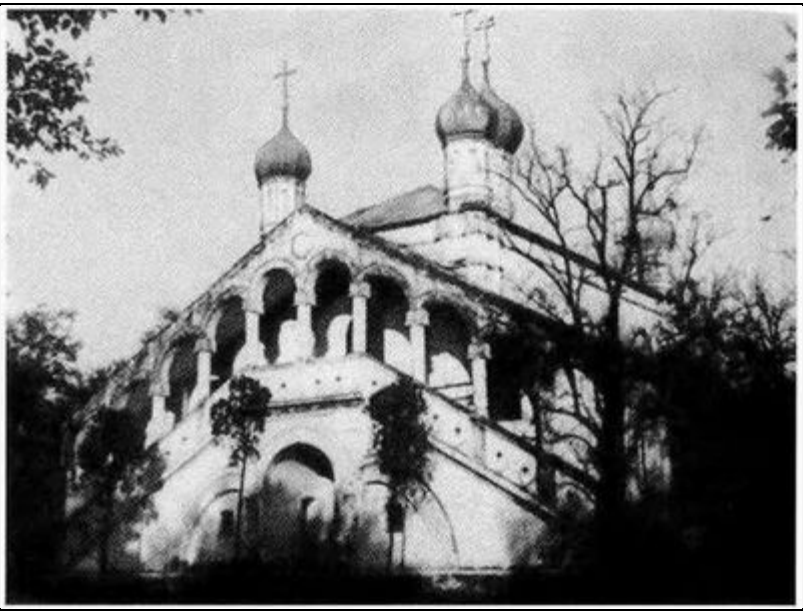
Зинаида, Александр и Нина Жемчужные мать, отец и сестра Елены Якобсон.



Один из последних вечеров в Советском клубе.

Шанхай. 1954 г.

Детский праздник в Советском клубе. 1950 г.



Храм Святых мучеников в Пекине.

Духовенство и миряне в Свято-Никольском храме в Тяньцзине.

По всей Маньчжурии, вплоть до советской границы, мы останавливались на самых крупных станциях, чтобы собирать «целинников». Была остановка в Хайларе, это уже недалеко от границы. Я вышел из вагона и узнал знакомый с детства запах цветов и трав. На юге Китая трава и цветы так не пахнут.

Потом была станция Маньчжурия — последняя станция китайской земли. По перрону ходили советские железнодорожники в форме, мы их видели впервые в жизни. Здесь предстояла пересадка в советские вагоны. Целая бригада китайских носильщиков переносила наши вещи, а мы в это время пошли на базар, который был устроен тут же, около железнодорожных путей. Нам было сказано, что все китайские деньги мы должны истратить на месте. Моих денег хватило на дюжину бутылок маньчжурского вина.

Наконец состав тронулся. Мы договорились, что вино выпьем

на государственной границе. Как только показалась вспаханная пограничная полоса, мы наполнили стаканы вином. Все пассажиры вагона встали и выпили за приезд на Родину.

Начиналась новая жизнь».

Алексей Бородин: «Когда мне сообщают о положительном решении нашего вопроса — душа моя разрывается от счастья. Меня просят сохранить это в секрете (папе надо еще решать деловые вопросы), но я проговариваюсь в школе. Потом случайно слышу мамины слова из разговора родителей: «Это можно понять, он не мог сдержаться…»

Устроен вечер в честь получения визы. Мама в Длинном красном платье. Приезжает известный советский кинодокументалист Варламов. Я читаю стихи «Жили три друга-товарища».

Дядя Коля Попович поет:

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русская сторонка,
Это родина моя.

Папа начинает заниматься ликвидацией завода и другими делами…

Едем мы, друзья, в дальние края,
Станем новоселами и ты, и я —

поет советское радио. Мы ликуем».

Дети ликовали, взрослые тщательно скрывали от них свои сомнения. Ехали… ехали…

История «русского» Шанхая завершилась.

Уже давно считается библиографической редкостью одно издание — альбом «Русские в Шанхае». Мне не довелось его видеть, но по многочисленным описаниям я хорошо представляю себе этот труд штабс-капитана Владимира Даниловича Жиганова, которому он отдал пять лет своей жизни.

Судя по всему, в этом уникальном историческом документе так или иначе отражена жизнь русских эмигрантов в Шанхае в 1920-е и 1930-е годы.

Выходец из Хабаровска, Владимир Данилович Жиганов попал в Шанхай в конце 1920-х годов. В 1928-м организовал Общество медицинской взаимопомощи, которым руководил до 1931 года, а с 1931 по 1936-й занимался исключительно сбором материалов и

изданием альбома, который и появился в апреле 1936 года.

Позже Жиганов писал: «Представьте себе, мне пришлось посетить за время работы не менее 2000 человек. При этом… у четверти из них я побывал по 3–4 раза, а у остальных за эти 5 лет побывал в среднем не менее 10 раз… всего мною было сделано не менее 16 500 визитов. Из помещенных в альбоме 1600 фотографий половина сделана специально для альбома, и около 500 из них произведены в моем присутствии и под моим руководством… среди них — группы, всевозможные торжества и т. д.».

Альбом состоял не только из фотографий. Каждой семье был посвящен подробный очерк, каждую персональную фотографию сопровождала биографическая справка… Поместить в альбоме свою фотографию мог любой человек, причисляющий себя к русским шанхайцам независимо от национальности, происхождения, рода занятий. Диапазон тем в этом издании был необычайно широк: деятельность Русской православной церкви и Шанхайского Русского полка, конкурсы, спортивные состязания, учебные заведения, пресса, коммерческие предприятия… Поистине — энциклопедия жизни «русского» Китая.

«Я преследовал цель создания исторического памятника жизни и творчества русских, пребывавших в Шанхае в годы коммунистического режима в России, — писал Жиганов в предисловии к альбому. — Мои желания… — дать наиболее точное и беспристрастное описание и изображение всех отраслей жизни и деятельности русских в Шанхае, которые, несмотря на непреодолимые препятствия, своим трудолюбием и настойчивостью преодолевали их и твердо шли к намеченной цели и тем самым закрепляли за собой право и место среди многомиллионного и космополитичного города. На страницах своего альбома я старался запечатлеть те качественные проявления, которые высказала русская белая эмиграция за годы своего изгнания, а именно: неугасимую любовь к своей Родине, веру в Бога, Преданность Святой Православной Церкви, не сломленные тяжелыми годами скитальчества по чужой земле творчество, предприимчивость, организаторские способности, умение правильно понимать и учитывать окружающую обстановку, выносливость и, вообще, все те положительные свойства, обладая коими, русские бесправные эмигранты сумели в течение сравнительно короткого периода времени завоевать влияние и добиться некоторого авторитета в жизни многомиллионного международного города».

К своему альбому «Русские в Шанхае» В. Д. Жиганова предпослал эпиграф — строки из приведенного ранее

стихотворения Алексея Ачаира:

Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли,
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.

В 1977 году Владимир Данилович Жиганов умер в Австралии, куда уехал из Китая. Далеко от России занесла его судьба, но этот человек создал подлинный памятник своей эпохе и «разнес по свету» свою великую, бесконечно любимую и виноватую перед ним Родину…

Глава 4
Тянь-цзинь

«Тянь-цзинь, тянь-цзинь, тянь-цзинь!..» — в этом звуке европейскому уху непременно послышится призывный звон китайского колокольчика, чистый, серебристый и немного печальный…

1 (13) июня 1858 года русский вице-адмирал Е. В. Путятин здесь, в Тяньцзине, подписал договор о мире и дружбе между Россией и Китаем. Этот договор, названный Тяньцзиньским трактатом, гарантировал «безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России», расширял права российских купцов, предоставлял право назначать консулов в открытые для торговых судов порты, содержать в Пекине, помимо посольства, Русскую Духовную миссию. Российские подданные наряду с подданными других держав получили право экстерриториальности.

Тогда же в Тяньцзине появились первые концессии.

Результате «неравноправных» договоров (так называли в Китае подобные соглашения с другими державами) он был объявлен международным городом и до 1895 года являлся крупным северным портом.

Еще в 1930-х годах в старинном парке Тяньцзиня можно было увидеть большой замшелый камень с медной табличкой. На табличке — полустертая надпись на английском: «Тяньцзинь. Открыт 21 июня 1887 года в юбилейный день царствования Ее Всемилостивейшего Величества Королевы Виктории и посвящается здоровью, удобству и отдыху всех иностранных резидентов. «У нас сад, обнесенный каменной стеной»». После этого текста следовали фамилии британского консула, председателя, членов и секретаря Муниципального совета Британской концессии в Тяньцзине.

Среди них — единственное русское имя: Алексей Старцев, сын декабриста Бестужева, родившийся и выросший в Сибири, известный дальневосточный предприниматель, член совета концессии. Мало кто из русских в Китае занимал такой высокий пост в иностранной концессии.

Самый богатый человек в Тяньцзине, Алексей Старцев подарил городу землю, на которой был разбит огромный парк королевы Виктории. Он собрал уникальную коллекцию предметов буддийского культа и не менее уникальную библиотеку. Говорят, Лувр предлагал Старцеву 3 миллиона франков (сумма

фантастическая!) за его коллекцию, но он ответил: «Нет на свете денег, за которые я смог бы ее продать»…

В 1900 году во время восстания ихэтуаней в Тяньцзине было разрушено около сорока каменных домов, принадлежавших Старцеву (он жил в это время в своем имении на острове Путятин), бесценная коллекция и библиотека погибли. 30 июня Алексей Старцев скончался от обширного инфаркта — многие сочли причиной смерти предпринимателя именно эту утрату.

Скорее всего, так оно и было.

К концу XIX века Китай превратился в полуколониальную страну. Он стал объектом ожесточенной борьбы империалистических держав за дальнейшее его политическое и экономическое закабаление и за расчленение его территории. Неспособность цинского правительства защитить национальный суверенитет привела к тому, что в стране начались антифеодальные и антиимпериалистические выступления крестьянства и городской бедноты. Народное движение возглавляли многочисленные тайные общества. В северных провинциях Китая в 1898 году огромное влияние приобрело тайное общество «Ихэцюань» («Кулак во имя справедливости и согласия»), позже получившее название «Ихэтуань» («Отряды справедливости и согласия»). В 1899 году ихэтуани подняли мятеж Иностранцы прозвали мятежников «боксерами», поэтому ихэтуаньское восстание известно в истории еще и как восстание «боксеров». К началу 1900 года движение ихэтуаней охватило большую часть сграны. США и Англия требовали от маньчжурского правительства подавить восстание, угрожая интервенцией. Но правительство оказалось бессильным справиться с ним. В мае США, Англия и другие державы сосредоточили в порту Догу свои военные суда и выслали десанты в Тяньцзинь, а затем в Пекин для защиты своих посольств.

В начале июня ихэтуани вошли в Тяньцзинь, где им противостояли войска иностранных концессий. Маньчжурское правительство, напуганное размахом восстания, установило контакт с его руководителями. Ихэтуани получили официальное признание правительства и 13 июня вступили в Пекин. Посольский квартал, где обитала значительная часть иностранцев, оказался в осаде. На помощь осажденным поспешила из Тяньцзиня организованная американцами и англичанами военная экспедиция, но под натиском ихэтуаней она была вынуждена отступить. Императрица Цыси восприняла эту победу как сигнал к решительным действиям: войскам было приказано поддерживать ихэтуаней съестными припасами и

оружием, высшие чиновники, заподозренные в связях с иностранцами, были казнены. С этого момента провинциальные власти, ранее колебавшиеся и не решавшиеся открыто поддерживать ихэтуаней, стали на их сторону и начали уничтожать христиан.

В частности, в Тяньцзине, откуда пришла в Пекин первая помощь.

В том же, 1900 году в Русском парке в Тяньцзине, где были похоронены 108 русских солдат, погибших во время восстания ихэтуаней, возвели каменную часовню. Спустя десять лет, расширенная и достроенная, она станет первой эмигрантской церковью Тяньцзиня — на всех четырех ее стенах появятся плиты с высеченными на них именами русских воинов. Появятся мемориальные доски и на территории Британской концессии — на трех из них выгравированы имена более ста пятидесяти русских…

Участь наших соотечественников, строивших в это время КВЖД, тоже оказалась незавидной. Г. В. Мелихов пишет в книге «Маньчжурия далекая и близкая»: «Судьба партии строителей, уходивших из Мукдена под командованием поручика Валевского и инженера Б. А. Верховского, сложилась трагически. Почти вся она погибла в неравных боях. Захваченный в плен Верховский был обезглавлен.

…На Пятницком кладбище в Москве стоит скромный памятник, на фасаде которого надпись: «Борис Александрович Верховский. 1873–1900». На боковой стороне слева: «Здесь погребена голова инженера путей сообщения Бориса Александровича Верховского, казненного китайцами-боксерами в Маньчжурии в городе Ляо-Ян в июле 1900 г. Останки привезены в Россию в 1901 г.»».

В 1901 году восстание ихэтуаней было подавлено, и жизнь иностранных концессий вошла в привычное русло.

Тяньцзинь издавна славился шелками, в городе было много больших и маленьких магазинчиков, торговавших изысканными тканями. В отличие от Харбина и Шанхая здесь жило много богатых китайцев. Как правило, служившие в иностранных фирмах, они хорошо знали английский язык, многие имели дипломы английских или американских университетов.

Русские коммерсанты в Тяньцзине занимались экспортом пушнины, чая и других восточных товаров. Жили они в основном в районе Хэбэй. Поскольку тогда в Тяньцзине не было православного храма, Пекинская духовная миссия присылала им на большие церковные праздники священника, псаломщика и хор. Один-два раза в год в Тяньцзинь приезжал глава Пекинской

духовной миссии архимандрит Иннокентий. На вокзале Бэйчжань он устраивал в вагоне пассажирского поезда временный молитвенный дом для русских. В 1904 году Центральное управление Пекинской духовной миссии арендовало в Тяньцзине одноэтажное здание на проспекте Хэбэйсяогуань и сделало в нем молитвенный дом, который просуществовал до 1909 года. Потом в Русском парке, где были похоронены русские солдаты, был построен и освящен в честь Спасителя небольшой мраморный храм.

Кстати, любопытный факт. В июне 1970 года во время строительных работ на месте прежнего придела церкви был раскопан мемориальный закладной камень. Небольшой, квадратный, он находился на глубиие два метра. На внешней его стороне в центре была помещена серебряная пластина. На ней выгравировано по-русски: «В лето 1901 от Рождества Христова, 30 июня в седьмой год царствования императора всея Руси Николая Втораго, заложен этот мемориальный закладной камень, при личном присутствии командующего дальневосточными войсками и тихоокеанскими военно-морскими силами, дальневосточного губернатора генерала Евгения Ивановича Алексеева, председателя комитета по сооружению храма-памятника генерал-лейтенанта Цзицзесели. Проектировщик старший офицер военно-морского министерства Аньцзибофу и архитектор военный инженер подполковник Гелигеляньке». На обратной стороне серебряной пластины была маленькая выемка, внутри которой оказались семь русских рублей (пять золотых и два серебряных).

Иностранные концессии располагались на берегах реки Бэйхо. На левом берегу — Русская, Бельгийская и Итальянская, на правом — Британская, Французская, Германская и Японская. «Русская концессия, — вспоминал И. И. Серебренников, — была густо застроена в районе вокзала, далее же, вниз по реке Бэйхо, строения становились редкими, и этот район концессии принимал приблизительно характер дачной местности. Как я узнал, за много лет обладания Русской концессией русских домовладений сложилось здесь очень немного: не более десятка».

Они были очень скромными, эти владения, напоминавшие провинциальные русские дачи — просто, без особых затей построенные дома, палисадники, несколько деревьев, кустарник, скамейка у забора, где можно было лузгать семечки и обмениваться новостями… Ближе к центральной части концессии состоятельные русские строили небольшие особняки — комфортабельные и красивые.

Русские не имели в городе большого влияния. В Муниципальном совете заседали в основном англичане,

американцы и китайцы, тем не менее делопроизводство велось на двух языках — английском и русском. И вот парадокс: если в Шанхае, например, авеню Жоффр лишь в просторечии звалась Русской улицей, то в Тяньцзине официально существовали Московская улица, Петроградская улица…

Почти как в Харбине.

Но все же не совсем так.

Еще в 1913 году в Тяньцзине было создано Благотворительное общество. 3 октября 1913 года российский посланник в Пекине В. Крупенский утвердил его устав, первый параграф которого гласил: «Местопребывание Общества — в Тяньцзине. Цель его — оказывать всевозможную помощь всем русским подданным, которые, попадая в район Тяньцзиньского консульства, терпят нужду или вообще требуют помощи».

Поначалу исполнять этот параграф было несложно. До начала Гражданской войны в России русских в Тяньцзине жило немного. Когда же поток беженце из России хлынул в Китай, Благотворительному обществу пришлось значительно расширить сферу своей деятельности. Весной 1921 года на территории Русской концессии был открыт госпиталь. Общество сделало все возможное, чтобы прием больных производился за минимальную плату, а иногда и вовсе бесплатно. Кроме того, общество содержало приют для неимущих россиян — в 1923 году в нем проживало около 500 человек. Располагался этот приют на окраине города, в бывшем здании шерстомойни, принадлежавшей тяньцзиньскому предпринимателю С. М. Вязгину. Этот человек многое сделал для своих соотечественников — в частности, открыл в Тяньцзине дешевую столовую, в которой отпускались и бесплатные обеды.

Хотелось бы назвать еще несколько фамилий людей, которые помогли выжить в трудные 1920-е годы беженцам из России. Это председательница Благотворительного общества К. В. Жебра, вице-председательница А. И. Петере, секретарь Л. П. Муравьев, казначей Б. В. Засиков, члены общества М. В. Тараник, П. Г. Тидеман, А. А. Орлов, врачи — Н. А. Арнольдов, И. Л. Банк, М. П. Гурьевич, Н. А. Желудков, М. Я. Перцель, Н. К. Руссель, А. Л. Селезнев, Н. Н. Ковалев.

«Почти в виде правила каждый из русских беженцев, пожелавших теперь при переходе на мирное положение проложить себе дорогу в жизненной борьбе, старался прежде всего раздобыться приличным костюмом, найти хоть какой-нибудь заработок на первое время, а затем, вооружившись учебником и словарем, садился за изучение английского языка. — вспоминал И. И. Серебренников. — Я знаю, что многие

из этих волевых и упорных людей за последующий десяток лет сумели хорошо устроить свою Жизнь и даже составить себе некоторое состояние. Те же, кто не мог или не хотел приспособиться к условиям мирного существования, получили в скором времени возможность поступить на военную службу в китайские войска маршала Чжан Цзо-линя, диктатора Маньчжурии».

Благотворительностью занималась и Православная церковь, имевшая довольно большое влияние в Тяньцзине. В ведении настоятеля Покровского храма и Церковного Православного братства находились школа, больница, Дом милосердия, библиотека, ясли, кладбище.

В 1920 году русские тяньцзиньцы обратились к главе Центрального управления Пекинской православной церкви епископу Иннокентию с просьбой прислать в город на постоянное служение священника. Вскоре Центральное управление прислало в Тяньцзинь протоиерея отца Павла Разумова.

В 1922 году Разумов уехал в Америку. Центральное управление Пекинской православной церкви назначило на его место иеромонаха отца Виктора (Святина). Биография этого человека представляется нам довольно интересной. Святин был сыном православного священника, во время учебы в семинарии был призван на военную службу, со временем получил чин офицера. В 1920 году оказался в Китае. Вместе с группой белоэмигрантов приехал в Пекин и нашел приют у тогдашнего епископа Пекинской церкви владыки Иннокентия. Вскоре Святин принял монашеский постриг с именем Виктор и был рукоположен в сан иеромонаха.

В 1925 году на месте прежнего маленького храма в Тяньцзине на пожертвования, собранные отцом Виктором, был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы, рассчитанный на 100 человек. Останки 108 убитых русских воинов были перезахоронены перед алтарем, тогда же на западной стене храма были установлены три мраморные плиты, на которых высекли их имена.

Отец Виктор привлек к делам благотворительности русских богатых купцов Батуева и Кулаева, начальника инженерного управления бывших русски концессий, подданного Франции Жибулакова, на пожертвования которых были открыты русская школа, госпиталь, библиотека и другие благотворительные учреждения. Отец Виктор был назначен благочинным всех храмов в Тяньцзине, а его храм Покрова Пресвятой Богородицы стал собором.

С приходом в город японцев благотворительную деятельность

пришлось частично свернуть — оккупанты подозрительно относились ко всякого рода миссионерской работе, а вызывать у японцев лишние подозрения было слишком опасно.

В 1933 году протоиерей Чан Фу через посредство митрополита Японской православной церкви Сергия (подданного СССР) установил связь с Православной церковью в Советском Союзе и признал Московскую патриархию. Этот поступок в то время вызвал серьезные трения и острые противоречия между тяньцзиньским архимандритом Виктором и священником Чаном: Центральное управление Пекинской православной церкви с 1917 года не признавало Московскую патриархию и находилось под юрисдикцией Зарубежной православной церкви. Прихожане Православной церкви в Тяньцзине и белоэмигранты, разбросанные по многим городам Китая, также относили себя к Зарубежной церкви. Между прихожанами начались разногласия; учрежденную Чаном Фу Китайскую православную церковь не признавали, называя ее «красной партийной церковью». Церковный раскол имел серьезные последствия.

Между тем количество православных верующих постоянно росло. В 1933 году на 32-й улице Английской концессии в русском доме для престарелых был устроен Свято-Серафимовский храм. В 1944 году спортивный зал русского эмигрантского клуба на тогдашней 11-й улице Английской концессии был реконструирован в храм, освященный в честь святителя Николая. А часовня возле русского кладбища была в те же годы переделана в храм Во Имя Всех Святых.

Постепенно Православная церковь обустроила в Тяньцзине пять храмов. Вместе с китайцами, греками и верующими из других стран численность православных в Тяньцзине временами превышала пять тысяч человек, 200 из них были китайцами.

Осевшие в Тяньцзине русские эмигранты занялись предпринимательством. Они открыли фирмы, торгующие пушниной, шерсгяные и ковровые заводы, типографии, издательства, заводы алкогольных напитков, рестораны, кузнечный завод, булочные, магазины молочных продуктов, обувные магазины, торговые дома, гастрономы… Эти промышленные и торговые объекты находились в основном на улицах Сяобайлоу, Цзефанлу, Дагулу и Хэдуншисаиьцзинлу. В городе появились русские частнопрактикующие врачи, адвокаты, юристы, многие русские работали в иностранных фирмах и торговых домах, преподавали русский язык.

В православные праздники русские приходили в храмы, чтобы принять участие в совместном богослужении. Настоятелей православных храмов и членов приходского совета выбирали из

верующих русского происхождения. Так вокруг Церкви в Тяньцзине сложилось маленькое российское общество. Оно жило своей внутренней жизнью со своими традициями, укладом, привычками, и такая жизнь продолжалась в Тяньцзине несколько десятков лет.

19 сентября 1921 года в Тяньцзине был основан Комитет помощи голодающим в Советской России под председательством А. Б. Капустина. Чуть раньше такой же комитет появился и в Харбине. Члены комитетов выступали с лекциями и докладами, устраивали вечера и спектакли, весь сбор от которых поступал в пользу голодающих. Комитеты собирали вещи, медикаменты, обращались к владельцам кинотеатров, клубов, ипподромов с просьбой об отчислении процента от сборов.

Никто не отказывал.

Г. В. Мелихов приводит в своей книге цифры и факты (правда, касаются они Харбина), о которых невозможно умолчать.

> «Железнодорожный комитет направил свой первый продовольственный эшелон в Россию 22 января 1922 года. Поезд ушел с главного пассажирского пути Центрального вокзала. Его провожала громадная толпа, но ни речей, ни музыки не было… Всего железнодорожники Китайской Восточной железной дороги направили в Россию, по неполным данным, 5 продовольственных маршрутов, 2 «врачебно-питательных» поезда и 1 специальный тракторный».

Пртаюи «врачебно-питательных» поездах был большой штат врачей, медицинских сестер, фельдшеров, поваров — четыре вагона-кухни работали круглосуточно. Отправляясь из Харбина, поезд имел запас продовольствия на три месяца исходя из того, чтобы кормить ежедневно четыре тысячи человек!

В Харбин, в Тяньцзинь стали приходить из России письма с благодарностями. Одно из таких писем приводит в своей книге Г. В. Мелихов:

> «Дорогие спасители душ наших.
>
> Великая вам благодарность за спасение. Души наши шагали последние шаги к близкой смерти. Как вас благодарить — Бог знает.
>
> Дай вам Бог многое лето за спасение ваше и за ваш великолепный подарок. Через вашу великую милость люди пошли на работу, начинают забывать свою погибель. За тем извините нас темных и непрозрачных людей. Мы не знаем как вас благодарить. Спасибо,

спасибо, спасибо. Будьте здоровы.

Председатель Мишкинского волостного исполнительного комитета (подпись)».

На станцию Мишкино поезд пришел летом 1922 года. Он привез не только продовольствие, но и тракторы — по тем временам техническое новшество. Начальником этого поезда был товарищ председателя Железнодорожного комитета Василий Евграфович Сентянин, отчим известного поэта Валерия Перелешина, о котором мы уже рассказывали. Этот эпизод из биографии В. Сентянина позволяет представить атмосферу семьи, в которой рос и формировался Перелешин…

В отличие от харбинского комитета тяньцзиньский просуществовал всего год — энергичной поддержки у населения он так и не получил. Здесь русские были и географически, и — что особенно важно! — психологически дальше от изгнавшей их страны. Их интересы, мысли, чаяния больше замыкались на себе, на собственной жизни и возможности так или иначе выжить.

В 1997 году в газете «Русская жизнь», издающейся в Сан-Франциско, была опубликована статья Амира Хисамутдинова о Тяньцзине 1920—1930-х годов. В ней приводится с авторским комментарием любопытная цитата:

> «30 сентября 1920 года в Тяньцзине произошло историческое событие — был спущен флаг на здании консульства Российской империи. Вот как описал это историческое событие бывший премьер-министр колчаковского правительства Н. В. Вологодский: «Русский флаг был спущен по приказанию генерала Хуана канцелярским боем, китайский тотчас же поднят. Все происходило довольно тихо и мирно, без всяких инцидентов, раздалось лишь несколько аплодисментов из толпы китайцев, окружавшей здание, когда взвился китайский флаг. На вопрос, кто будет ведать городской стражей и судебными делами, генерал Хуан ответил, что делами этими будет ведать его секретарь генерал Ян-и-дэ. На вопрос же, по каким законам, китайским или русским, будет судить Ян-и-дэ, последний не дал определенного ответа. Тот же генерал Хуан просил всех русских остаться на службе и продолжать свое дело…»

Вечером того же дня граждане бывшей Российской империи собрались вместе и стали решать, что же делать дальше. Говорили и спорили много: перейти ли под юрисдикцию

Дальневосточной республики, выждать время или же создать собственную организацию. Эмигранты не пришли к какому-то определенному решению и, по словам П. Г. Тидемана, ограничились тем, что выбрали инициативную группу под названием «Русская комиссия в Тяньцзине»».

Заняв помещение бывшего Российского консульства, комиссия направила в Пекин своего представителя Н. В. Вологодского с целью разузнать подробности политической обстановки. Что именно удалось выяснить бывшему премьер-министру колчаковского правительства — неизвестно, но известно, что после его возвращения из Пекина было решено созвать общее собрание русских тяньцзиньцев.

Это собрание состоялось 26 ноября 1920 года, и на нем был избран Комитет представителей русского населения Тяньцзиня, который возглавил В. В. Носач-Носков.

О деятельности этого комитета можно рассказать совсем немного — существовала организация около восьми лет и ничем, кроме благотворительности, в сущности, себя не проявила. Понять причины — легко. Если в Харбине и Шанхае русских было очень много, они могли держаться вместе, сбиваться в какие-то общества, организации, здесь, в Тяньцзине, где их было мало (в 1928 году Русская национальная община, основанная в Тяньцзине в 1925-м, насчитывала 387 человек!), каждый предпочитал выживать в одиночку. К тому же и комитет, и Национальную общину постоянно раздирали разногласия.

4 декабря 1928 года состоялось общее собрание, после которого в «Вестнике» появилась статья: «По заслушивании отчета председатель собрания изложил причины, кои побуждают его и весь состав данного Комитета сложить свои полномочия. В числе этих причин председатель указывает на недоброжелательную критику со стороны членов русской колонии здесь, пассивное отношение к мероприятиям Комитета со стороны русской колонии, выход из Комитета ряда лиц, отсутствие у остающихся членов Комитета достаточного досуга для несения общественной службы».

Одним из последних мероприятий комитета и общины была организация бесплатных курсов «Отечествоведение» для эмигрантской молодежи, где читались лекции по истории русской литературы, русской истории, русской географии. Но вскоре выяснилось, что молодежь не интересуется этими предметами — на занятия в основном приходили люди среднего и старшего возраста, те, кто помнил Россию и тосковал по ней. Эмигрантская молодежь ориентировалась на иное — она овладевала английским языком и куда охотнее изучала историю и культуру

США, Англии, Франции. А еще охотнее осваивала Экономику, технические науки…

Это было естественно, жизнь настраивала на другой лад. Молодые люди росли, формировались не в русском Харбине, не в многонациональном Шанхае, а в глубине совершенно чужой страны, рассматривая свое повседневное существование как жизнь на полустанке, с которого вот-вот тронется поезд.

Куда?

В сущности, не так уж и важно. В новую жизнь, к которой надо быть готовым, потому что нельзя, невозможно жить, оплакивая ту страну, которой не видел или не помнишь да и вряд ли когда-нибудь увидишь.

Не принимала участия молодежь и в деятельности тяньцзиньского Русского клуба, в 1929 году слившегося с Русской национальной общиной, доживавшей свои последние дни. Здесь, в Тяньцзине, все те процессы, которые в других городах требовали какой-то временной и психологической протяженности, происходили стремительно — на малом «пятачке» все всегда случается быстрее и куда острее…

В 1930-х годах русские потянулись из Харбина не только в Шанхай, но и в Тяньцзинь, в глубину страны, где, казалось, можно спрятаться от суровых политических ветров. Но это была лишь еще одна иллюзия в ряду многих других иллюзий.

К этому времени город был перестроен на европейский лад — широкие проспекты, рестораны, ночные клубы, магазины известных фирм Англии, Франции, Германии. Все приметы колониальной жизни европеизирующегося, но продолжающего сохранять национальную самобытность восточного города по имени Тяньцзинь.

Елена Якобсон, чья семья переехала сюда из Харбина, вспоминала: «Рестораны, кафе и ночные клубы были всегда полны. Существовали частные клубы и загородные клубы для британских, французских, немецких и американских граждан, где проводились соревнования по поло, футболу и теннису. В выходные дни устраивались танцевальные вечера, а по случаю государственных праздников или особых событий — настоящие балы. Это был «нормальный колониальный стиль жизни» на маленьком островке безопасности, окруженном морем дружественных и услужливых азиатских лиц».

И было еще одно очень важное, принципиальное отличие от Харбина и от Шанхая.

В Харбине русские никогда не ощущали себя иностранцами, они жили в своем городе, созданном на чужой земле с определенными, весьма возвышенными целями: строительство, а

затем функционирование КВЖД было развитием цивилизации, техническим, общественным, политическим и культурным прогрессом. Примыкавшие позже к основателям города эмигранты осваивали все ту же, в сущности, среду — это было немного легче, по крайней мере, естественнее.

Шанхай был городом-портом с присущей такого рода городам особой психологией, атмосферой. Интернациональным городом, где русские чувствовали себя обитателями одного из островов Рассеяния, но не ощущали так остро иностранцами. Они приноравливались к сложившемуся образу жизни, они выживали или — не смогли выжить.

В Тяньцзине все было иначе. Несмотря на обилие концессий, на европейский облик города, все белые почти в равной степени ощущали себя чужими. Но особенно — русские, не имевшие гражданства. Настоящими хозяевами города были все-таки китайцы, каким бы сильным ни было европейское влияние, каким бы опасным ни представлялся японский милитаризм, крепнувший год от года, какой бы тонкой ни была прослойка богатых и образованных коренных жителей. И этого нельзя было не чувствовать.

«Китайцы терпели наше присутствие, получали от него пользу и прибыль, но никогда не позволяли нам почувствовать себя своими, — пишет Елена Якобсон. — В отличие от эмигрантских общин в Париже, Берлине или Нью-Йорке, которые со временем влились в местное население, русские эмигранты в Китае всегда оставались чужаками».

В значительной степени это наблюдение Елены Якобсон имеет отношение к Пекину и Тяньцзиню — городам исконно китайским, находящимся в глубине страны, гораздо дальше от границ, чем Маньчжурия. Но и в Маньчжурии не происходило слияния с местным населением, хотя все было по-иному. А здесь, в Тяньцзине, городе абсолютно колониального стиля жизни, у русских не могло не возникать еще более острого ощущения временности существования, небольшой передышки на пути.

Куда? — вновь зададимся вопросом.

Для кого-то — назад, домой.

Для кого-то — вперед, в неизвестность, в новые иллюзии обрести свой дом.

В перестроенном на европейский лад Тяньцзине жизнь была шумной, суетливой. По улицам и проспектам текли потоки людей и машин. Небольшие островки иностранных кварталов, маленьких городков большого китайского города, были наполнены, насквозь пронизаны экзотикой местного быта: китайские торговцы носили свои товары в корзинах, свисающих с

длинной палки, переброшенной через плечо. Чего только не было в этих корзинах! — издали завидев потенциального покупателя, торговцы проворно раскладывали свои товары: фрукты, овощи, игрушки, ткани, хозяйственные мелочи; зазывали, хватали за рукав, заманивали… Возле домов, на обочине улицы, рикши часами ожидали пассажиров — здесь же они обедали, пристроившись на корточках, обмениваясь новостями, городскими сплетнями… По переулкам и дворам бродили сапожники, парикмахеры, портные, гадалки. Каждый из них умело и споро делал свое дело, где придется, не заботясь о комфорте, привычно присев на корточки.

Приехавшие сюда русские старались построить свою жизнь так, как в Харбине: дети ходили в русские школы, православные церкви занимались ДУ» ховными нуждами своих прихожан. Были в Тяньцзине и русские литературные и театральные клубы, время от времени устраивались благотворительные балы.

Была и русско-еврейская гимназия — в Тяньцзине в 1930-х годах жило довольно много евреев. Кто-то из них приехал из Харбина, кто-то поселился здесь еще до революции, кто-то эмигрировал из России сразу после революции… В основном эти люди успели к середине 1930-х годов занять определенное положение в обществе, чаще всего — в торговых кругах. У многих были бельгийские, американские или швейцарские паспорта. Но для всех родным был русский язык и, естественно, этим людям хотелось, чтобы их дети сохранили связь с языком и культурой предков, выходцев из России. Дети знали русский плохо — для них общим языком стал английский, и тогда община решила организовать тяньцзиньскую русско-еврейскую гимназию, в недрах которой возникло вскоре Русское драматическое театральное объединение. Оно было плодом энергичной деятельности Елены Якобсон (тогда еще Елены Жемчужной). Вскоре членам объединения предложили сыграть несколько из русских одноактных пьес в еврейском клубе «Кунст» («Искусство»), где была настоящая сцена. Гимназия помогла достать и изготовить настоящие театральные костюмы. Представление прошло с большим успехом, что сразу же вызвало большой интерес к драматическому обществу.

Этот еврейский клуб был в Тяньцзине одним из немногих очагов русской культуры, впоследствии ставший самостоятельным театром. Существовала здесь и балетная студия, основанная знаменитой танцовщицей А. С. Войтенко. В журнале «Рубеж» отмечалось, что «балетная студия А. С. Войтенко в Тяньцзине завоевала широкую популярность, так как она выпустила целый ряд прекрасных балерин, а сама А. С. является

танцовщицей, хранящей лучшие традиции русского балета».

Талант А. Войтенко был многогранен. Прославившись как балерина, она выступала также в оперетте и в драме, была незаурядным педагогом. Поэтому воспитанных ею «прекрасных балерин» отличали в первую очередь мастерство драматического актера, тонкий психологизм, умение передать и танце сложность характера персонажа, оттенки его переживаний.

17 февраля 1941 года русские эмигранты Тяньцзиня отмечали 25-летие творческой деятельности А. С. Войтенко. Актриса приготовила подарок своим многочисленным почитателям — на сцене театра «Кунст» она поставила «Маркитантку» («Продавщицу солнца») Оскара Уайльда и сыграла в спектакле главную роль.

Балетная студия А. С. Войтенко выпустила много замечательных артистов, но самостоятельная балетная труппа в Тяньцзине так и не появилась. Балерины разлетелись по разным городам Китая или уехали в другие страны, унеся с собой благодарную память о своем педагоге и наставнике…

Но вернемся к Елене Якобсон. Она была приглашена преподавать в старших классах русско-еврейской гимназии русский язык и литературу, после того как закрылся журнал «Китайский вестник».

Это издание, несомненно, заслуживает отдельного рассказа — слишком примечательна его судьба в истории «русского» Тяньцзиня.

Однажды профессор Чепурковский, близкий друг родителей Елены, предложил ей, искавшей себе занятие после переезда из Харбина, собрать группу молодых людей, желающих расширить свои познания о Китае. Чепурковский сказал, что к нему обратилось немецкое издательство «Пей-Янг Пресс», задумавшее издавать ежемесячный журнал на русском языке. Любознательные молодые люди должны были стать редакционной коллегией.

Через несколько дней молодые люди были найдены самим Чепурковским (позже, правда, оказалось, что профессору не пришлось искать сотрудников, все они были рекомендованы самим издательством). Их было пятеро: двое русских, кореец, китаец и японец — все свободно говорили по-русски и по-китайски. Первое собрание состоялось в доме Жемчужных, родителей Елены; на нем было решено назвать журнал «Китайский вестник», цель же издания виделась в том, чтобы знакомить русских читателей с различными сторонами жизни страны. Предполагалось публиковать в нем статьи по истории, географии, эссе о культуре, обычаях и традициях Китая, информацию о текущих событиях.

Редколлегия составила план шести первых выпусков, каждый сотрудник обещал представить материалы по своей области знаний. Мать Елены вызвалась написать серию очерков о флоре и фауне Китая, отец — сделать цикл переводов из китайской поэзии (он договорился о помощи с членом редколлегии, китайцем), сама Елена была назначена заведующей отделом текущих новостей — в ее задачи входил подбор месячной хроники из русских, английских и китайских изданий. Отавным редактором стал Всеволод Никанорович Иванов, поэт, прозаик, популярный журналист, сотрудничавший с разными русскими изданиями.

В среде эмигрантов Иванов был известен своими просоветскими настроениями. В Китай он приехал в 1920-х годах, в 1931 году стал гражданином СССР и начал работать корреспондентом ТАСС в Шанхае, а в 1945-м вернулся на Родину. Иванов был общителен и необыкновенно обаятелен, легко располагал к себе людей. Елена Якобсон вспоминает такой случай.

Незадолго до того, как «Китайский вестник» прекратил свое существование, она получила задание от редакции отправиться в Пекин и написать статью о китайских студентах. Главным образом — об их отношении к Чан Кайши, пытавшемуся объединить страну под лозунгом новой политики, целью которой были сотрудничество с Западом, демократизация общества, индустриализация. Увидев на территории университета марширующих студентов, которые несли плакаты с надписями: «Долой старый Китай!», «Революция!» — Елена испугалась:

«Я узнала все признаки надвигающейся катастрофы… я была чужой, но на каком-то глубинном уровне чувствовала себя частью происходивших драматических событий. Китайцы стояли на пороге новой эпохи своей долгой истории, и эта новая эпоха разрушит традиционный стиль жизни и принесет раздоры, лишения и страдания… Нам, беженцам, пережившим подобные катаклизмы, хотелось крикнуть: «Стойте! Остановитесь! Не повторяйте наших ошибок! Мы знаем, что принесет революция вашей стране, вашему народу!».

В Пекине гидом Елены Якобсон были Иванов и его подруга Зоя, бывшая актриса, в эмиграции вынужденная жить без театра: «Иванов превосходно говорил по-китайски, почти как китаец, и когда он говорил со сторожами или охранниками, перед нами магически открывались все двери… Главным событием путешествия стало посещение императорского летнего дворца, примерно в часе езды от города. Был прекрасный весенний день… Мы нашли дворцовый театр, построенный в расчете на большую аудиторию, сцена была плотно закрыта занавесом. По просьбе

Иванова сторожа раздвинули занавес, и Зоя взошла на сцену.

Иванов и я сидели целый час, затаив дыхание, а Зоя читала стихи, разыгрывала сцены из спектаклей, в которых она когда-то участвовала, ее великолепный голос отзывался эхом по пустым комнатам и галереям дворца.

На обратном пути Зоя плакала, а Иванов ее утешал, хотя и он, и я еле сдерживали слезы — слезы обо всех изгнанниках и жертвах истории».

На страницах этой книги мы уже приводили стихотворение Иванова, посвященное матери Наталии Ильиной, Екатерине Дмитриевне Воейковой. Излюбленной же стихотворной формой поэта был сонет.

Вот, например, один из его сонетов, который называется «Семья»:

Меня со всех сторон объял угрюмый быт,
Витающих теней угрюмая порода,
Хоть в поле за окном январская погода
Румяным серебром и яхонтом горит.
Изба затеряна, как некий малый скит
Под звонким куполом пустого небосвода,
И в ней одной — цветок в средине огорода.
Огонь, священный пляс, на алтаре блестит.
Он согревает нас, он кормит, и в парах,
Внушая простецам любовь, тепло и страх.
Острит Святой Отец Всевидящее Око.
Кишит вокруг семья — дед, внуки, дочки. Род.
Так под шатром избы криница жизни бьет,
И я гляжу в неё, взволнованный глубоко.

Итак, этому человеку суждено (или — поручено) было стать главным редактором «Китайского вестника».

Немецкое издательство было заинтересовано в престижном иллюстрированном журнале — денег членам редколлегии платили очень мало, зато на цветные вклейки и фотографии средств не жалели. Первый номер журнала вышел в свет в марте 1936 года. Отзывы на него были положительными, читатели проявили к новому изданию большой интерес.

А потом… потом началось самое любопытное. Но предоставим слово Елене Якобсон:

«Редакционная коллегия собиралась в нашем доме раз в две недели, и я не могла не заметить, что на этих собраниях все постоянно друг за другом следили, а их вопросы и замечания часто не имели никакого отношения к журналу. Когда

присутствовал профессор Чепурковский, казалось, что только я одна интересуюсь делом и вообще слушаю его рассказы. Я не понимала, что происходит. На третье собрание не пришел кореец. Мы пытались его разыскать, по по тому адресу и телефону, которые он нам оставил, о нем ничего не знали. Я начала подозревать, что в нашей группе происходит что-то странное. Однако это никого не беспокоило, даже тогда, когда на следующее собрание не пришел уже и японец. И опять все попытки его найти успехом не увенчались. Третьим исчез русский историк, и тоже оказался «невидимкой». Как ни странно, издатели нисколько не волновались из-за постепенного исчезновения Редакционной коллегии. Наконец на четвертом номере журнала ушел и Всеволод Иванов. Очень любопытно!

А вскоре после этого в русской ежедневной газете появился большой заголовок: «Советский шпион разоблачен». На фотографии мы узнали одного из пропавших членов нашей редколлегии. В статье сообщалось, что Тяньцзинь стал центром международных шпионских организаций.

«Ну вот, — заметила мама за ужином, — значит, наш дом служил местом встречи международных шпионов. Но кто за кем шпионил? Издательство — немецкое, и все эти люди попали к нам через издательство. Немцы сотрудничают с японцами, а советские всегда ловят рыбку в мутной воде».

Профессор Чепурковский заверил нас, что понятия не имел о том, что редакционная коллегия интересовалась чем-либо, кроме журнала. «Конечно, — добавил он задумчиво, — их всех порекомендовали издатели. Но зачем?».

Думаю, найти ответ на этот вопрос нетрудно. Середина 1930-х годов — время, когда многие люди следили друг за другом не только на территории СССР. Может быть, особенно пристально следили как раз за соотечественниками, находившимися за пределами страны, — выискивали врагов, вербовали союзников. Уже зрела, готовилась страшная война, уже соединялись, искали и находили друг друга те силы, которые стремились к переделу мира. Японцы закрепили свои позиции в Маньчжурии и готовились к завоеванию Китая, Штлер вынашивал планы порабощения Европы… Такой безобидный познавательный журнал, каким задумывался «Китайский вестник», был очень удобным прикрытием. Русский журнал, издаваемый немцами, место встречи агентов — дом русских эмигрантов…

После шестого номера «Китайский вестник» прекратил свое существование.

Есть ли у нас какие-либо основания заподозрить в неблаговидной деятельности поэта, писателя, журналиста

Всеволода Иванова? Никаких прямых указаний на него как «шпиона» в мемуарной литературе нет. Но не могло ли случиться так, что корреспондент ТАСС в Шанхае не случайно оказался в нужное время в нужном месте, в Тяньцзине, когда немецкое издательство задумало выпускать там русский жур» пал, а советская разведка попыталась использовать гражданина СССР, хорошо известного «русскому» Китаю человека, в своих целях?

Менее всего желая бросить тень на чью-либо память, решусь все-таки предположить, что после первых двух бесследных исчезновений сотрудников «Китайского вестника» миссия Всеволода Иванова была выполнена и на четвертом номере смог исчезнуть и он сам. Вполне возможно, что ему было поручено «присмотреть» за кем-то из сотрудников, вот только одно смущает — определенность газетного заголовка: «Советский шпион разоблачен»…

Впрочем, все это может быть лишь разгулявшейся фантазией. С разоблаченными шпионами, как правило, ни СССР, ни другие страны особенно не церемонились, а Всеволод Иванов, вернувшись на Родину, поселился в Хабаровске, где и закончил свои дни в 1972 году. Он не был репрессирован. Стихов, судя по всему, больше не писал. По крайней мере, не издавал.

В 1950 году Александр Николаевич Вертинский гастролировал в Хабаровске. Он встретился с Ивановым, о чем написал потом своей жене: «Был у меня Всеволод Никанорович, он тут работает в газете. Книга его еще до сих пор не сдана в печать. Часа три разговаривал с ним. Он все-таки неглупый человек и интересно иногда с ним поговорить».

Но вернемся в Китай 1937 года.

Мао Цзэдун и Чан Кайши на время отказались от противоборства, чтобы сохранить силы для сопротивления японским захватчикам. Мао вел в основном партизанскую войну в северных провинциях, получая военную помощь из СССР. Чан Кайши со своей армией противостоял превосходящим силам противника на юге страны.

Естественно, значительная часть русских эмигрантов была обеспокоена тем, что коммунистическая партия Китая находит все больше приверженцев среди населения. Обеспокоенность эта выразилась в Том, что в Тяньцзине, например, стали создаваться подпольные антикоммунистические, а следовательно, антисоветские организации. Деятельность этих организаций была подспудной, неявной, она не выходила на поверхность жизни и не вовлекала всех русских, но в какой-то степени именно это обстоятельство еще больше разъединило русских эмигрантов. К тому же влияние Православной церкви на свою паству заметно

ослабело. Ей теперь приходилось противостоять все более крепнувшим униатам, образовавшим в Китае «Русскую католическую церковь». Их влияние ощущалось в Харбине, Шанхае, но, пожалуй, особенно сильно в Тяньцзине. Может быть, это было обусловлено тем, что значительная часть состоятельных русских имела заграничные паспорта и, намереваясь в случае политических катаклизмов уехать в Америку или Европу, психологически была готова принять католичество. Тем более что католики, «переманивая» православных, использовали многочисленные социальные «инструменты» — благотворительные программы, специальные школы и институты, периодические издания и специальную литературу.

Между тем повседневная жизнь Тяньцзиня шла своим чередом.

Климат здесь для русского человека довольно тяжелый. Летом наступала «великая жара», температура воздуха достигала 45 градусов. На это время эмигранты старались по возможности покинуть город. Неподалеку от Пекина можно было снять за умеренную цену маленький летний домик в горах или пустующую келью в одном из буддистских монастырей, расположенных на Западных холмах. Когда-то эти монастыри процветали, но к середине 30-х годов XX столетия прийти в упадок — правительство ничем им не помогало, не поддерживало ни материально, ни морально, покровители исчезли, послушников стало так мало, что многие кельи пустовали. И тогда монахи решили сдавать эти кельи на лето.

Неподалеку от монастыря Спящего Будды было несколько глинобитных хижин, состоявших из двух маленьких комнат и террасы, вокруг — небольшой дворик, в котором размещалась походная кухня. Вот и вся дача для самых непритязательных из русских.

Живописная природа, тишина и покой, горные ручьи, впадающие в маленькие пруды… Вода в этих прудах была ледяная даже в самый жаркий день, и каким же наслаждением было, нырнув несколько раз в эту ледяную воду, растянуться потом на горячих камнях, подставив тело солнцу!..

Ощущение оторванности от всего мира, которое возникало здесь, в горах, между Пекином и Тяньцзинем, нарушалось доходившими сюда известиями из «большого мира».

Говорили, что японцы уже подошли к границам Северного Китая и вот-вот начнется война. Как это всегда бывает, слухи о близкой войне породили стремительный рост цен на продукты питания. Крестьяне стали прятать урожай — ведь если начнется война, деньги обесценятся и продовольственные запасы станут

единственной надежной валютой…

Однако на повседневной жизни Тяньцзиня слухи о приближении японских войск пока не отражались — на улицах было по-прежнему многолюдно, в ресторанах и ночных клубах посетителей не становилось меньше и, по воспоминаниям тех, кто жил там в те времена, магазины и рынки были полны продуктов и самых разнообразных товаров.

Вероятно, большинство русских питало те же иллюзии, что и семья Елены Якобсон, жившая в британском квартале: «… Наверняка британцы нас защитят. Это не может быть похожим на войну в Харбине, когда завоевателей встретила только беспомощная община русских эмигрантов. Великие европейские державы не позволят случиться ничему подобному».

До чего же наивными они были, эти обитатели острова Рассеяния, попавшие в жернова истории и так и не перемолотые ими до конца со своими иллюзиями и идеалами — вечными столпами, на которых Держится, словно на китах, психология русской интеллигенции!..

Иллюзии и идеалы — то, что губит окончательно…

Иллюзии и идеалы — то, что помогает выжить, выстоять, победить…

Лето заканчивалось, отступала изнуряющая жара, все, кто на время покидал город, возвращались к своим привычным заботам и делам. Казалось, жизнь вопреки всему привычно катится по наезженной колее. А до катастрофы оставалось чуть меньше полугода.

По заведенной издавна традиции праздновали европейское Рождество, Новый год, русское Рождество, русский старый Новый год, китайский Новый год. Праздники, сменяя друг друга, длились почти полтора месяца (а порой и дольше, потому что, как известно, восточный календарь подвижен согласно фазам Луны и Новый год чаще всего приходится на первую половину февраля). Нескончаемые вечеринки, танцы, балы, приемы — и молодежь, и люди старшего поколения почти одинаково беззаботно предавались развлечениям. Ведь праздник — это счастливая возможность убежать от тягостных мыслей, иллюзия другой жизни, иллюзия возвращения в прошлое, где были Родина, Дом…

Именно в это время Елена Жемчужная вышла замуж за Эйба Биховски. Он происходил из американо-русско-еврейской семьи. Эта семья принадлежала к классу русских купцов-предпринимателей, открывавших новые рынки и стремительно делавших себе состояние.

Биховски приехали в Тяньцзинь из Нью-Йорка в 1926 году, а

уже в 1930-м отец Эйба, Соломон, стал управляющим китайским отделением крупной американской компании.

Молодые люди поженились в марте, а в конце июня отправились отдыхать на Западные холмы, где сняли маленькую хижину возле монастыря Спящего Будды. В своих мемуарах Елена Якобсон подробно описала это живописное место:

«Храм Спящего Будды частично был окружен дворами, обнесенными стенами, каадый с ворогами непростой конструкции: арки стремя входами — парадный центральный для императора, другие, поменьше, слева и справа — для гражданских и военных придворных. С ярко раскрашенных арок облезала краска, некоторые уродцы на их острых крышах, чьим предназначением было отпугивать злых духов, валялись на земле. Но, пройдя сквозь ворота во внутренний двор, охраняемый двумя огромными скульптурами — свирепыми великанами, человек невольно испытывал чувство священного ужаса, особенно при входе в храм, где находилась полулежащая фигура спящего Будды. Ярко-красное шелковое сари покрывало тело Будды, голова его была обернута синим тюрбаном, на лбу блестел драгоценный камень. Ноги его были босыми, но вдоль ложа стоял целый ряд искусно разукрашенных тапочек на тот случай, если он проснется и захочет встать и прогуляться по монастырю. Перед статуей Будды в больших бронзовых плошках курился ладан, там же были выставлены приношения верующих. Стены храма были золотыми, потолок — ярко-синим, в огромных фарфоровых вазах стояли искусно подобранные цветы. У входа рядом с гонгами стоял огромный барабан. Гонги возвещали начало вечерних молитв, входила процессия поющих монахов, и священнослужители выводили одно монотонное песнопение за другим, исполняя вечный, неизменный, древний буддистский обряд. После последних благословений процессия удалялась, тушились все светильники, кроме одного. При свете единственной свечи к барабану подходил монах, и начинался последний обряд — обеспечение безопасности монастыря на предстоящую ночь. Барабанный бой должен был изгнать злых духов. Монах начинал бить сильными, медленными ударами, а потом барабанил все быстрей и быстрей, как истинный виртуоз усложняя и Учащая свои удары. Я не слышала такого барабанного боя ни до того, ни после. Уверена, что этот барабанщик мог бы стать звездой в любом американском оркестре, если бы его услышал какой-нибудь американский импресарио и смог уговорить его покинуть Монастырь».

Вокруг почти никого не было. В отдалении в одиноких горных хижинах тоже жили, в основном семьи русских

эмигрантов, они редко общались друг с другом, но вовсе не от неприязни, а из желания отдохнуть в одиночестве. Более благоустроенные дома (в основном в деревнях) снимали на лето американцы, французы, датчане.

По вечерам далеко-далеко вокруг разносились звуки гонгов, возвещавшие начало молитвы, и барабанный бой, разгонявший злых духов. Казалось, что в этой тишине, в наступившей после жаркого дня освежающей вечерней прохладе барабанщик отгоняет злых духов не только от монастыря Спящего Будды, но и от них, таких разных людей, нашедших временное прибежище на древней земле Китая.

Но злые духи подступали уже к порогу.

И однажды послышались другие звуки — на дороге, ведущей из Тяньцзиня в Пекин, начались перестрелки, а потом и настоящие бои. Вскоре стало известно, что японцы овладели Пекином. Маленькие глинобитные хижины оказались отрезанными от мира — автобус и такси ходить в Пекин перестали, всем иностранным гражданам приказано было немедленно связаться со своими посольствами.

История словно шла за русскими по пятам, ощущение защищенности, вновь обретенного хрупкого покоя продлилось недолго. Иллюзии рухнули как карточный домик. В Тяньцзине все изменилось.

«Живя в Китае среди других иностранцев, — пишет Елена Якобсон, — мы были на равном с ними положении, но они могли вернуться из Китая в свои страны, а нам ехать было некуда, у нас не было «родины». Мы оказывались в безвыходном положении. Люди старались не поддаваться панике, но у дверей иностранных консульств выстраивались длинные очереди».

Значительная часть русской эмиграции Тяньцзиня прошла через оккупацию Маньчжурии, поэтому никаких надежд на армию Чан Кайши не возлагала. Британская империя явно не хотела вмешиваться в воину двух восточных стран.

Через несколько недель после начала войны Тяньцзинь был оккупирован японской армией…

Для тех, кто приехал сюда из Харбина, история пошла по второму кругу — русские эмигранты вновь попали во власть японского Бюро по делам русских эмигрантов, в котором руководящую роль играли ультраправые. Иными словами — русские фашисты. Они решали, кому выдавать вид на жительство. Они определяли критерии «желательного» и «нежелательного» поведения любого русского и сообщали об этом по инстанциям.

Это был конец «русского» Тяньцзиня.

Уезжали иностранцы, а казалось, что все горожане снялись с

мест. Словно в одночасье рухнула такая привычная, такая безмятежная, налаженная жизнь. В магазинах появились очереди — люди закупали то, что необходимо в дорогу и на первое время устройства на новом месте. Русские женщины, вышедшие замуж за иностранцев, не могли покинуть Тяньцзинь — по иммигрантским правилам муж должен был либо выплатить две тысячи долларов как доказательство, что жена не станет обузой для налогоплательщиков другой страны (в частности, США, куда многие хотели уехать), либо уехать, устроиться и выслать документ, свидетельствующий, что он имеет хорошо оплачиваемую работу и может содержать семью. Две тысячи долларов находились у немногих. Женщинам приходилось оставаться в Тяньцзине на неопределенный срок и ждать. Кто-то ждал годами.

Елене Якобсон повезло — уже в апреле 1938 года Эйб Биховски смог удовлетворить требования иммиграционных властей и прислать своей жене вызов в Вашингтон. Но родители Елены и младшая сестра Нина остались в Тяньцзине.

Когда японцы оккупировали Пекин и территорию к северу от реки Хуанхэ, гоминьдановское правительство, обосновавшееся в Нанкине, обратилось за помощью к СССР. 21 августа 1937 года стороны подписали договор о ненападении. Советский Союз начал оказывать Китаю военную помощь и предоставил значительные кредиты. В начале 1939 года в Китае находилось более трех с половиной тысяч советских военных специалистов.

В оккупированных японцами городах — Пекине, Чжанцзякоу, Циньдао, Шапьдуне, Яньтасе, Тяньцзине — были созданы Русские эмигрантские комитеты по борьбе с коммунизмом, которые контролировались японскими спецслужбами. В Тяньцзине находилось Северокитайское Центральное управление антикоммунистических комитетов.

После того как США применили ядерное оружие, а войска СССР вторглись в Маньчжурию, Япония, исчерпав все возможности к сопротивлению, капитулировала. Сразу же по окончании Второй мировой войны Чан Кайши и Мао Цзэдун возобновили борьбу за главенство в Китае. Войска коммунистической партии Китая, получив от советского командования трофейное оружие и военное снаряжение Квантунской армии, вели наступательные операции и со временем вытеснили гоминьдановцев с большей части территории страны. В январе 1949 года Чан Кайши подал в отставку с поста президента Китая, а в декабре того же года беспрепятственно эвакуировался с остатками своих войск на Тайвань. В сентябре 1949 года в Пекине была провозглашена

Китайская Народная Республика.

С приходом японцев, а особенно в годы Второй мировой войны, психология русских тяньцзиньцев изменилась — если прежде они ценили свою жизнь «на отшибе» от многочисленной русской колонии, в глубине Китая, то теперь им хотелось быть поближе к своим соотечественникам перед наступающей опасностью. Двойной опасностью, потому что она исходила не только от японцев, но и от революционно настроенных китайцев. А когда Япония капитулировала, замаячила еще одна опасность — Советская армия и Смерш… Поэтому русские эмигранты использовали любую возможность, чтобы покинуть Тяньцзинь.

Виктор Смольников рассказывает почти анекдотический случай о своем знакомом Дмитрии Александровиче Теляковском, с которым он вместе учился когда-то в Тяньцзине в школе.

В конце 1940-х годов иностранцы стали поспешно покидать Шанхай, многие дома и квартиры оказывались свободными. И не только дома и квартиры. «Иностранным управляющим компаний и их заместителям отказывали в выездных визах, если они не находили себе заместителей с полным юридическим правом их замещать», — пишет В. Смольников. Поэтому они назначали заместителями русских вахтеров банков (бывших офицеров царской армии), а когда такой номер не проходил, выписывали из метрополии какого-нибудь мелкого служащего и делали его директором банка или фирмы.

Дмитрий Александрович Теляковский два десятилетия работал бухгалтером в тяньцзиньском отделении французской компании «Оливье-Шин». Он дослужился до главного бухгалтера и был вполне доволен своим существованием, но, как и большинство его соотечественников, хотел уехать из Тяньцзиня. Однажды Теляковского вызвал директор и сказал: «Я получил приказ о вашем переводе на высокую должность в Шанхай. Поздравляю, собирайтесь!..» Это был настолько счастливый шанс, что Теля ковскому не пришло в голову задуматься о странности такого заманчивого предложения. Дмитрий Александрович быстро собрался и вместе с семьей перебрался в Шанхай. Для нового руководителя была снята прекрасная просторная квартира в самом центре Французской концессии, куплен автомобиль… Несколько месяцев Теляковский наслаждался повой жизнью, но вскоре генеральный директор сообщил ему: «Мон шер, я серьезно болен, и мне придется ехать лечиться во Францию. Я получил из Парижа распоряжение о назначении вас генеральным Директором пашей фирмы во всем Китае. Поздравляю вас».

Вот туг-то Теляковский и понял, что попал в ловушку. От управления фирмой он отказался — пришлось расстаться и с

автомобилем, и с благоустроенной квартирой…

И таких случаев было много, очень много. Русские тяньцзиньцы стремились в Шанхай, чтобы в момент, когда необходимо будет принять какое-то решение (а уже всем без исключения стало ясно, что момент этот не за горами!), принимать его вместе со своими соотечественниками. Какими бы разными ни были убеждения этих людей, предчувствие опасности заставляло их держаться вместе.

«Тянь-цзинь, тянь-цзинь, тянь-цзинь!..» — в этом звуке европейскому уху непременно послышится звон китайского колокольчика, чистый, серебристый и отчего-то печальный. Может быть, оттого что исчезла из его мелодии призывная нота?..

Глава 5
Станция Отпор

Священник Дионисий Поздняев в книге «Православие в Китае» пишет: «В условиях гражданской войны в Китае и сложной политической обстановки русская эмиграция… оказалась перед выбором: вернуться на Родину — в неведомый СССР, или продолжить свое изгнанничество, храня в сердце любовь к той России, которую уже невозможно вернуть. Перед этим же выбором оказалась и Церковь в Китае. Ее голос во многом определял выбор ее паствы… Сотни тысяч эмигрантов в Китае, оторванные от Родины в течение тридцати лет, совсем не представляли, что там происходит. Они продолжали жить памятью о разгроме Церкви и убийстве Царя, политике властей, приведшей к подписанию Брестского мира, в результате которого Россия так и не смогла воспользоваться плодами победы в Первой мировой войне, атеистической идеологии и многом Другом, что заставило людей покинуть Родину. О Сталине мало кто знал что-то определенное. Знали лишь, что Германия повержена, новые земли присоединены, восстановлено Патриаршество, открыты семинарии. В газетах и кинофильмах, которые усиленно распространяли советские консульства, говорились слова о счастливом советском народе, который имеет все свободы. Эмигранты намеренно вводились в заблуждение для того, чтобы склонить их к принятию советского гражданства. Многие наивно полагали, что, как и в прежней Царской Империи, Церковь охраняется и защищается государством. Им казалось естественным, подчинившись Патриарху, принять и советское гражданство».

В конце концов, священнослужители были такими же людьми, как и их паства, с теми же иллюзиями, с теми же надеждами, с тем же горячим стремлением вернуться домой…

Из дня сегодняшнего все это можно понять, логически объяснить, разложить по полочкам. И все равно останется осадок. Разве можно остаться равнодушным к чувствам этих людей? К чувствам старшего поколения, бежавшего от тех трагических событий, что терзали, рвали на части их горячо любимую Родину. К чувствам тех, кто ни от чего и никуда не бежал, родившись здесь, на земле Китая, в семьях служащих КВЖД или уехавших в Харбин, Шанхай, Тяньцзинь задолго до революции, но выросших с сознанием того, что они — дети России, что где-то совсем рядом, на железнодорожном полустанке под названием Отпор

начинается эта великая страна, спасшая не только Европу, но и весь мир от фашизма. И юных — всей душой тянущихся туда, где строится новый, справедливый и счастливый мир, и важно, необходимо приложить свои руки, свою душу к этой великой стройке!..

В эмигрантской среде выросли новые поколения. Они были очень разными, эти молодые русские люди. Одни мечтали о своей Родине под впечатлением от советских фильмов и песен. Другие с трудом говорили по-русски, их мысли о будущем были связаны с другими странами, а не с Россией.

В «русском» Китае царило смятение. «Как остановить хруст ломаемой жизни?» — сказал однажды с грустной иронией Владимир Александрович Бородин. Полвека пролетело почти незаметно, вместив в себя так много питавших и в конце концов отравивших ядом несбывшегося иллюзий, надежд, хрупкого ощущения устоявшейся так или иначе жизни, хруст осколков которой слышался теперь в каждом русском доме, словно под ногами было битое стекло.

Принять решение об отъезде было очень трудно.

«Хруст ломаемой жизни» заглушал все остальные звуки…

Вспомним пророческое стихотворение Арсения Несмелова, которому жить оставалось совсем немного:

Мимо нас, что с каждым годом
Все старей, — седеет борода! —
Сколько их прошло неспешным ходом
Лишь затем, чтоб кануть навсегда!
И с песчаной отмели пустынной
Мы следим за ходом этих льдин.
День проходит бесконечно длинный,
Дни идут, и каждый — как один.
Смотрим мы в темнеющие дали, —
Не примчит ли, обагрен в закат,
За людьми, что ждать уже устали,
Белокрылый радостный фрегат?
Где он, где он, голос капитана?
Скоро ль встречи долгожданной час?
Хорошо б уплыть в такие страны,
Где еще не разлюбили нас!
Но враждебна к нам судьба-злодейка,
— Нет фрегата!.. К берегам пустым
Лишь подходит верная ладейка
За тобой, за мною, за другим…

Виктор Смольников вспоминает, как бывший его одноклассник, сын мистера Шампански, встретив его в Шанхае, холодно сказал: «Руки я тебе не подам, я слышал, что у тебя советский паспорт». Незадолго До этого сам мистер Шампански, не в силах больше справляться с тоской по Родине, решил уехать в числе первых репатриантов в СССР и стал там сторожем, будучи уже далеко не молодым человеком.

Харбинская актриса Алла Дворжицкая-Светланова в очерке «В августе сорок пятого», опубликованном в середине 1990-х в новосибирской газете «На сопках Маньчжурии», рассказывала:

«Недолго была в Харбине Советская Армия, но все же достаточно долго, чтобы многие харбипки повыходили замуж за «душек военных». Венчались в церквях. Для харбинцев это были законные браки, для советских воинов — нет. Воинские части уходили. Молодые пары расставались. Надеялись, что на время. Из тех, кого знала — никому не удалось, и подрастали потом славные детишки, которых у нас игриво называли «трофейными». Для некоторых военных были эти браки веселой, приятной шуткой».

Горькой шуткой, разбившей слишком много судеб, которые могли бы сложиться совсем иначе. Мало кто из этих женщин с «трофейными» детишками, вернувшись на Родину, пытался найти своих законных, вепчаных мужей…

Общество китайско-советской дружбы организовало специальную комиссию, которая помогала советским гражданам, покидающим Китай, продавать имущество — автомобили, мотоциклы, мебель. В отличие от тех, кто уезжал на Родину по визе и мог провезти через таможню только ограниченное количество багажа, репатрианты были освобождены от каких бы то ни было ограничений — власти СССР брали на себя доставку имущества на целину, куда ехали многие колонисты.

Впрочем, знали ли они, куда едут?

Некоторые священнослужители убеждали своих прихожан принять советское подданство и вернуться на Родину, кто-то заявлял, что получение гражданства не есть подтверждение патриотических чувств. Именно этим был обусловлен раскол Шанхайской церкви — владыка Иоанн, служа благодарственные молебны о победе русского оружия во Второй мировой войне и собирая пожертвования для России, не уговаривал прихожан принять гражданство и не принял его сам. Шанхайское духовенство по большей части было на стороне своего владыки; в результате пять тысяч русских шанхайцев эмигрировали в Америку и остались живы, а десять тысяч отправились на Родину и в большинстве своем сгинули в сталинских лагерях.

Глава Православной миссии в Китае владыка Виктор в отличие от шанхайского владыки Иоанна одним из первых подал прошение о советском гражданстве, полагая, что в СССР люди по-прежнему открыто посещают храмы. В феврале 1946 года он получил в Шанхае советский паспорт, а вскоре был арестован. Священник Дионисий Поздняев пишет в своей книге, что когда владыку спросили, почему он, антикоммунист, стал гражданином СССР, тот ответил: «Человек честный не может признавать две власти, взаимно исключающие одна другую. В СССР в настоящее время восстанавливаются православные епархии, открываются повсюду храмы, монастыри, духовные школы. Духовенство активно участвует в общем государственном строительстве после Великой Отечественной войны. Общественный строй СССР никак не противоречит учению Св. Православной Церкви. Власти СССР после всех ужасов войны только и думают о том, чтобы наша Родина была великой и славной».

Светлый, чистой души человек, владыка Виктор был убежден, что за годы жестокой войны страна вернулась к Богу. Потому и решил возвратиться на Родину и повел за собой свою паству.

Не зная, что многих из них ведет на верную смерть…

Самому ему посчастливилось выжить.

В декабре 1956 года Александр Николаевич Вертинский писал жене из Краснодара, где был на гастролях: «…Пришли от Епископа Виктора Харбинского владыки, теперь он Епископ Краснодарский, хочет со мной повстречаться. Я уклонился от этой встречи. Устал я очень, и не хочется мне новых людей. Разговаривать? А что говорить, когда язык не поворачивается? Все фальшь. Все демагогия! Надоело!»

Что мы можем прочитать между этих строк? Вряд ли в китайском бытии они были даже просто знакомы, а не то что близки. Кроме того, встреча и беседа с владыкой Краснодарским в атеистической стране могла быть чревата неприятностями, которых Александр Николаевич не хотел.

В том же письме упоминает Вертинский и другую встречу: «… Пришла сестра Леваиа Хаиндрава — Лида, поэтесса харбинская! Помнишь? Постарела. Жалуется, что трудно с ребятами. Параллельно учится на 3-м курсе пединститута. Я рассказал ей о Леване и Алике, которых видел в Тбилиси». И в этом упоминании нет ни теплоты общих воспоминаний, ни радости встречи. Просто сообщение о появлении «частички прошлого» в сегодняшней жизни, в которой все другое, все новое…

Митрополит Нестор, арестованный в 1948 году китайскими коммунистами в Харбине по обвинению в сотрудничестве с японцами, был депортирован в СССР и восемь лет жил на

поселении в Мордовской АССР. На самом же деле «вина» митрополита заключалась совсем в другом — это он в 1920 году совершал заупокойные службы над телами алапаевских мучеников.

Светская, государственная власть не в первый и не в последний раз в истории грубо попирала власть церковную…

Но они все равно ехали, возвращались в неведомую страну, которую любили и чтили как старую, славную и великую Россию.

Впрочем, одного решения было мало. Советское правительство далеко не всем желающим давало разрешение на въезд в СССР. В 1947 году семи тысячам русских шанхайцев было отказано в разрешении вернуться на Родину! Но и те, кто это разрешение получал, тоже не сразу могли вернуться.

Е. Таскина пишет, что в Харбине, например, после 1945 победного года еще более десяти лет жили тысячи русских людей, получивших советское гражданство. Причем условия существования для них были созданы довольно сносные. Это было связано с тем, что в 1946–1948 годах Китайско-Восточная железная дорога находилась в совместной советско-китайской эксплуатации.

По свидетельству Л. Чугуевского, «новое руководство КВЖД поручило заместителю Управляющего дорогой инженер-полковнику Ожигову восстановить преподавание на русском языке в Харбинском политехническом институте и открыть двери института для русской и китайской молодежи. Были вновь открыты инженерно-строительный, электромеханический, химический, горный, инженерно-экономический и восточно-экономический факультеты. Учебные программы и планы факультетов были приближены к аналогичным Дальневосточного университета. Для китайской молодежи были открыты двухгодичные подготовительные курсы, дававшие достаточные знания языка и математики для слушания лекций в ХПИ. Здесь преподавали высококвалифицированные преподаватели из числа русских эмигрантов… Обучение в институте было бесплатным».

31 декабря 1952 года советское и китайское правительства подписали заключительный протокол относительно Китайско-Восточной железной дороги. Это событие круто изменило жизнь российских эмигрантов — агония завершилась…

Началось массовое увольнение служащих КВЖД и тех, кто работал на вспомогательных предприятиях. Русские школы и гимназии закрывались, Харбинский политехнический институт был передан китайским властям, на смену русским преподавателям стали приходить китайские. Было объявлено, что скоро преподавание будет вестись только на китайском языке.

Во многих учреждениях Харбина русских увольняли без каких бы то ни было объяснений, их просто постепенно вытесняли, выдавливали из Маньчжурии. Многие уезжать не хотели — ни в Советский Союз, ни куда бы то ни было. Их отъезд был результатом непосильного давления. Так, например, хинганские староверы всей колонией снялись с места и в конце 1949 года уехали в Латинскую Америку, а в начале 1960-х годов перебрались на Аляску, где основами село Никольское…

Впрочем, ощущение того, что скоро надо будет сниматься с насиженного места и куда-то двигаться, у многих русских появилось еще во время войны.

В 1943 году Дмитрий Николаевич Сосновский возглавил группу ходоков, искавшую в Маньчжурии места для русских поселений. Это мероприятие проводилось по инициативе Бюро по делам российских эмигрантов и частично субсидировалось харбинскими коммерсантами. Людьми руководили вполне понятные причины — в городах безработица, с продуктами становилось все труднее, жилье дорогое. Но, наверное, сыграла свою роль и склонность к перемене мест, к освоению новых земель. Ходоки остановили свой выбор на долине реки Тайванхэ, неподалеку от уже обустроенных русских поселков Ново-Алексеевка и Ново-Николаевка.

В декабре 1943 года первая группа переселенцев (30 человек) с большими трудностями добралась в эти места и, пожалуй, им пришлось ничуть не легче, чем репатриантам, оказавшимся на целинных землях СССР. Строили дома из сырого дерева, сырыми же дровами топили. К весне 1944-го была готова часовня. Приехавший из Харбина священник отслужил в ней пасхальную службу. Позже на месте часовни был выстроен храм, в котором венчались многие поселенцы. Со временем в этих местах появились новые поселки — Ново-Покровка и Воскресенка. Однако в конце 1940-х годов русские, преодолевшие столько трудностей, чтобы освоить эти земли, решили вернуться на Родину.

Последней китайской станцией была Маньчжурия.

Здесь зимой 1917 года в гостинице «Никитинское подворье» формировались штабы атамана Семенова и генерала Унгерна. Здесь же в 1920-м, после разгрома, семеновцы нашли свое последнее убежище. Эта станция была заложена в 1900 году, в начале строительства КВЖД, среди сопок — Сахарная, Офицерская, Синие горы, на самой границе с Китаем.

В этой точке на карте сошлись экономические интересы монгольской Барги, китайской Маньчжурии и русского Забайкалья. За короткое время здесь были построены русская,

татарская, еврейская и китайская школы, католический костел, синагога, мечеть, китайский храм, Свято-Иннокентьевский собор, Свято-Серафимовская церковь… В 1908 году станция получила статус города. Здесь стали издаваться газеты, открылись русское, японское и германское консульства, таможни…

В 1920-е годы сюда хлынули эмигранты из России. Благодаря их предприимчивости здесь появились рестораны, кондитерские, гостиницы, постоялые дворы. А потом Маньчжурия превратилась в пограничный город, последнюю китайскую станцию по пути в Советский Союз.

Первой советской станцией была станция Отпор.

Символичное название!..

История этой станции такова. 10 февраля 1901 года на строящуюся Китайско-Восточную железную дорогу из России прошел первый состав. Он следовал от российской станции Мациевская до китайской станции Маньчжурия. Спустя два года КВЖД была пущена в эксплуатацию. Этот маленький разъезд на границе между двумя государствами сначала был безымянным и числился в документах просто под номером: 86. Здесь находилась пограничная застава.

В 1929 году возник вооруженный конфликт, о котором шла речь в предыдущих главах. 27 мая маньчжурские войска разгромили советское консульство в Харбине, а 10 июля захватили КВЖД и организовали целый ряд провокаций на границе. Это обстоятельство вынудило советское правительство разорвать дипломатические отношения с гоминьдановским Китаем и принять необходимые меры по укреплению государственной границы. Была организована Особая Дальневосточная армия под командованием В. К. Блюхера. В ночь с 16 на 17 ноября 1929 года китайские войска при поддержке артиллерии начали наступление на разъезд 86. Наступление было отбито, и для пресечения дальнейших провокаций наши войска перешли границу, окружили китайские группировки под Маньчжурией и Чжалайнором и разбили врага, после чего отошли на свою территорию.

Именно этому событию посвящена известная песня:

> Стоим на страже всегда, всегда,
> Но если скажет страна труда:
> «Винтовку в руки! В карьер! В упор!
> Товарищ Блюхер, даешь отпор!..»

Это слово — «отпор» — было тогда у всех на слуху. Именно так была названа Забайкальская газета. Так была названа и

станция, пограничный разъезд 86.

Его описал в своей книге «Знакомство с Китаем и китайцами» член-корреспондент Академии наук СССР М. И. Сладковский. Он служил пограничником на Отпоре в 1932–1933 годах.

«Утром по пути в столовую мы увидели все «улицы и проспекты» города Отпор, всего девять зданий — жилых и административных. Эти здания и вокзал размещены по левую (в направлении границы) сторону железнодорожной линии… С правой стороны железной дороги на многие километры простирались степные долины. Никаких строений здесь не было, но предполагалось сооружение небольшой электростанции и водокачки. Вдали, примерно в километре от станции на восток, возвышалась пограничная арка, проходя под которой паровоз давал пограничный гудок».

Спустя несколько лет здесь действительно были построены не только электростанция и гидроколонки, но и пакгауз, хлебозавод, несколько жилых домов, клуб, столовые. Пограничье обживалось, постепенно обрастая железнодорожными линиями, запасными путями. После провозглашения Китайской Народной Республики здесь появилось красивое здание железнодорожного вокзала.

В 1958 году по просьбе китайского правительства станция была переименована — слишком много неприятных ассоциаций было связано с этим названием, в том числе и у русских, пересекавших в этом месте границу при возвращении домой.

Теперь станция Отпор называется Забайкальем.

Репатриантов ждали не Москва, не Ленинград, не города, с которыми была связана корневая память, а неосвоенные целинные земли, названия которых звучали для уха почти так же, как китайские. И жизнь там надо было начинать с нуля.

«…В пятьдесят четвертом открылась такая и только такая дверь на Родину», — пишет Л. Кравченко. Иначе попасть в Советский Союз было невозможно.

Поезд приближался к распаханной широкой полосе земли — государственной границе между Китаем и СССР, двумя дружественными странами победившей революции, под все более громко слышимый хруст…

Хруст ломаемой жизни…

На полустанке Отпор всех пересаживали в теплушки — вот и пригодились в этой новой реальности китайские шерстяные ковры ручной работы: их пришлось расстилать на голых досках вагонов, чтобы согреться. Ехать предстояло еще долго: кому в Оренбургскую область, кому в Узбекистан или Казахстан. Там их ждали «каторжный труд, непролазная грязь, безвыходность советских будней и неоплаченные трудодни». «Меня с

четырехлетней дочерью привезли в бескрайнюю, ковыльную степь Джезказгана, — пишет Ксения Волкова, — в затерявшийся, как пуговица, аул в десятка два глинобитных мазанок, поселив в конторке, отгородив в ней угол занавеской, где поставили топчан для спанья. Потом было бегство из аула».

Из воспоминаний Геннадия Литвинцева:

«Летом 1954 года через приграничную станцию Маньчжурия в глубь СССР один за другим потянулись эшелоны с необычными пассажирами. В товарных вагонах, наспех переделанных для перевозки людей, возвращались на Родину сотни тысяч русских эмигрантов, нашедших после революции и Гражданской войны убежище в Китае.

Процесс переселения, инициированный советскими властями, продолжался около трех лет. О нем тогда ничего не сообщалось в газетах и по радио. А Между тем происходило действительно историческое событие: с репатриацией миллионной китайской диаспоры страна подводила черту под эпохой усобицы и братоубийства, отказывалась от идеологии классовой ненависти и революционного террора, расколовшей страну на «красных» и «белых». Разделенный народ воссоединялся. Одновременно заканчивалась история русской Маньчжурии, на протяжении полувека хранившей в изгнании традиции и культуру дооктябрьской России.

Мы не знали, где конечная остановка, на которой предстоит сойти и начинать жить заново. Вот собрались в Союз на жительство, а что там и как — и сами взрослые знали не намного больше нашего. На границе нам дали «подъемные» — по три тысячи на семью. Зато отняли все неположенное — иконы, книги, граммофонные пластинки. Так и ехали со страхом и неопределенными ожиданиями».

«Разделенный народ воссоединялся» не естественным путем, а почти насильпым. Ведь отправляли людей не в родные места, а на неосвоенные земли. Так что ни о каком воссоединении не могло быть речи, как не могло ее быть и о том, что «страна подводила черту под эпохой усобицы и братоубийства» — «красные» и «белые» все еще существовали в воспаленном мозгу тех, кто страной руководил, кто болел шпиономанией. Они готовы были загнать в лагеря всех, пересекавших границу на станции Отпор.

Бородины ехали в Чимкент, куда выписали их старые шанхайские знакомые. Везли с собой рояль, кожаный диван и кресла, столовую, спальню. На станции Отпор всей семьей вышли из поезда в ожидании пересадки, побродили по перрону, потом по улице — вдыхали воздух другой земли, всматривались в

окружающее.

Алексей Бородин вспоминает, как его сестры вдруг заметили лежащего на дороге человека: ««Мама, мама, смотри! Больной дядя лежит — надо ему помочь!» — зовут мои сестры, впервые увидев пьяного.

В магазине — ничего для нас и родителей, и широкий ассортимент товаров для того дяди с перрона — папиросы и спиртное в большом количестве.

Еще одно открытие — табличка, сообщающая о наличии в человеческом сознании понятия «банный день» — мужской и женский.

Полустанок «Отпор» сразу дал полный отпор многим иллюзиям и ожиданиям родителей. В тот момент они никак не проявили свое первое впечатление от «чудного приволья», которое мы увидели. Как и потом — никогда не сокрушались о принятом решении.

Семь дней мы ехали до Чимкента.

Конец лета. Пыль в городе — по колено».

Не только для семьи Бородиных встреча с Родиной оказывалась шоковой. Как бы старательно и долго ни готовили себя люди, десятилетия прожившие в Китае, к тому, что едут в страну, еще не оправившуюся от страшной войны с фашизмом; в страну, где существуют совершенно иные идеалы и ценности, чем те, к которым привыкли они в Китае, иные порядки и законы, — такого, конечно, не ожидали.

Примечательно одно из воспоминаний Наталии Ильиной, покинувшей Китай семью годами раньше:

«На пути мы встречали лишь замотанных платками баб, выходивших к эшелону с кусками замерзшего молока и кастрюлями вареной картошки. Глядели на нас изумленно: одеты мы были престранно… Летом 1947 года в Шанхае по дешевке распродавалось американское военное обмундирование — полушубки, грубые рыжие полуботинки, брюки защитного цвета, а также зеленые армейские одеяла и полотенца. На многих из нас были удобные в пути, теплые легкие полушубки, внутри мех, сверху брезент, а на спине намалеваны черные несмываемые буквы: U.S.N. (Юнайтед Стейтс Нейви — флот США). Женщины в брюках, невиданная обувь, эти буквы на спинах — было от чего прийти в изумление. Старушка, у которой я покупала однажды молоко (ах, чудесная старушка, морщины, выцветшие голубые глаза, а под вязаным платком еще и белый!), прошамкала: «Милые ж вы мои! Вы кто ж будете? Не французы?» — «Какие французы? Русские мы, бабушка, русские!» — твердила я, с наслаждением повторяя слово «русские» и едва удерживаясь,

чтобы не обнять старушку. «Откуда путь держите?» — «Из Китая». — «Ишь ты! А хлеб белый там есть?» — «Есть, бабушка». — «Чего ж уехали?» — «Но… Но мы в России хотим жить!» — я тут несколько сникла, меркантильность собеседницы огорчила меня — разве хлебом единым? «Так, так», — неопределенно пробормотала отсталая старушка…»

В сущности, за семь лет между двумя потоками возвращенцев из Китая ничего не изменилось в Отечестве. Разве что карточки отменили (о чем с таким энтузиазмом сообщала Ильина в одном из писем к матери, словно знала по опыту, что это такое — получать самые необходимые продукты по карточкам!) да постепенно разбирались руины, последствия бомбежек и кровопролитных боев. Наталия Ильина и ее товарищи, вместе с которыми она приехала в Казань, достаточно настрадались на чужбине и были настроены только на хорошее, доброе, созидательное. Им нечего было оставлять там, поэтому с радостью и оптимизмом они воспринимали здесь равенство бедности. «Какая должна быть здоровая экономика, чтобы после такой войны так скоро, так ощутимо облегчить жизнь людей! — писала Наталия Иосифовна матери в Шанхай. — Магазины Свердловска завалены продуктами: сыр, масло, варенье, конфеты, хлеб, мясо… Итак, обилие — это первое, что нас радостно поразило. Второе — истинная свобода и демократия. Мы, репатрианты, полноправные граждане нашей страны и можем свободно разъезжать по всему Советскому Союзу. Мы как все, мама! Не будет больше комплекса неполноценности, который нас мучил в Шанхае, где мы были «граждане без национальности», «белые второго сорта»… Третье, от чего я в восторге, это доступность образования, поощрение культуры. Знаешь, даже в небольших селах — прекрасные библиотеки, журналы, все, что хочешь. А уж в Свердловске — трудно описать, как здорово! Мы походили по библиотекам, посидели в читальном зале. Сколько людей учится! Платить за учение не надо, наоборот, учащимся платят стипендии»…

Эйфория!..

Однако вскоре она начала потихоньку проходить. У кого-то прошла раньше, у кого-то позже. Но разочарование люди друг от друга тщательно скрывали: ведь случилось в их судьбе самое главное — они сделали свой выбор.

Маргарита Таут в 1954-м закончила в Харбине среднюю школу и еще шесть лет прожила в Китае. Лишь в 1960 году по индивидуальному разрешению она выехала с бабушкой и дедушкой в Ташкент. Спустя несколько десятилетий Маргарита Таут написала стихотворение «Рубеж», в котором выразила

чувства, испытываемые не одной лишь ею:

Бежало солнце рыжим псом
За окнами вагона…
Там позади остался дом,
Где не были мы дома.
Пульсировал разбег колес,
И сердце билось птицей:
Нас в наше завтра поезд нес
В ОТЕЧЕСТВО, к границе.
Со мной в купе задумчив дед,
В плену воспоминаний:
Нева, блистанье эполет,
Война, Октябрь, изгнанье,
И сорок эмифантеких лет»
Надежд и испытаний.
У бабушки остывший чай,
И мысли все о детях:
Как сын, покинувший Китай
Давно, родных приветит,
И доведется ли когда
Увидеть дочь, что в Штатах,
Как внучек сложится судьба
При жизни небогатой.
Сама я выбрала свой путь
На Родину учиться,
Но прошлое не зачеркнуть —
Душа рвалась молиться:
Великий Боже, научи
В стране с безбожной властью
Все искушения пройти.
Дай мужества и счастья.
И кинолентой за окном
Маньчжурия мелькает.
РУБЕЖ…
Прощай, наш бывший дом.
Пусть завтра наступает.

Вот так все и сходилось, как в этом незатейливом лирическом осмыслении рубежа, начинавшегося совсем близко от Маньчжурии, на станции Отпор. За окном поезда все тот же пейзаж, все то же небо, сопки, заросшие багульником, солнце, словно продолжение привычной жизни, а «внутренний пейзаж» сменяется сразу — как будто отперли дверь в иную реальность…

Семья композитора Григория Гоберника возвращалась в СССР в 1961 году. Ехали в Новосибирск, где жил старинный приятель его отца, Якова Григорьевича. Дети закончили среднюю школу, надо было думать о высшем образовании — это было, пожалуй, главной причиной, по которой Гоберники уезжали из Китая, охваченного «культурной революцией».

Вот рассказ Григория Яковлевича о встрече с Родиной родителей:

«Я ехал в Советский Союз в 17 лет, когда личность уже сформировалась, просто мне было страшно интересно. Мы в 1960-м приезжали сюда как интуристы, папа хотел сначала посмотреть страну, куда собрался перевезти семью. Читинские родственники по папиной линии остались в России, и после революции они перемещались в сторону Ленинграда, и двоюродный папин брат по фамилии Блюменкранц закончил летное училище, командовал эскадрильей и брал с войсками Мукден. Он знал, что его брат в Харбине, и прилетел повидаться с ним. Естественно, тогда это было небезопасно.

Когда мы приехали в качестве туристов, мы виделись с дядей и он дал нам гарант, без которого мы попали бы на целинные земли. А так мы рассчитывали оказаться в Ленинграде. После нашей туристической поездки мы вернулись в Харбин, потому что мне надо было заканчивать десятый класс, а зимой папин брат умер и пришлось срочно искать другой гарант. В Новосибирске у папы был старинный друг, нот так мы получили гарант и попали в Новосибирск, приобретя сразу весь набор провинциальных проблем. Те, кто по гаранту попадал в Москву, Ленинград, Ригу, в соответствии с межгосударственными соглашениями получали жилье, в провинции же все обстояло иначе.

Папе сказали: перстенек уберите, обручальные кольца у мужчин у нас тоже не приняты, а вот мозоли на руках мы уважаем. Постановление принимать эмигрантов есть, а квартир для вас пока нет…

Поэтому папа стал все продавать и купил полдома.

И все равно мы ехали в СССР с иллюзиями, что возвращаемся домой, где все будет по-другому. Ведь мы успели в Китае пережить все «прелести» «культурной революции». Тогда, во время нашей турпоездки, мы были в Москве, Ленинграде, Одессе, Челябинске, Новосибирске… Заехали и в Караганду, там жил мамин брат, родившийся еще под Винницей, с которым дед и бабушка приехали в Маньчжурию. Это уже потом, в Харбине, родились мама и другие дети. А этот старший брат был истово верующий коммунист и в 1955 году поехал добровольно осваивать целинные земли.

Привыкать было очень трудно едва ли не в первую очередь потому, что мои родители и мы с сестрой, еще совсем молодые, не понимали безответственного отношения к работе, которое было в Советском Союзе. Люди могли относиться к работе ответственно не из совести, а, скорее, из страха. В Китае все было иначе, чувство ответственности было очень высоким, поэтому, наверное, те, кто из Китая вернулся на родину, в основном многого добились благодаря своему трудолюбию и работоспособности.

Мы ехали в Советский Союз, потому что папа думал в первую очередь о детях, которым, по его мнению, было необходимо высшее образование. Здесь, вместе со мной, папа очень тяжело переживал все мои проблемы, связанные с антисемитизмом и говорил: если я решу эмигрировать, он это поймет и поддержит.

Несмотря на знание двух языков, о МГИМО я даже и подумать не мог, как человек с «пятым пунктом». Поступил в технический ВУЗ, а музыка потом перетащила к себе, хотя отец мой был против. Он считал, что у мужчины должна быть мужская профессия, а музыке в Китае учили нас всех, это входило в то классическое образование, которое во всех интеллигентных семьях давали детям.

Как-то в первый год, когда было особенно тяжело, я в сердцах сказал: «Папа, ну зачем ты привез нас сюда?» — а он ответил: «Потому что мы — люди русской культуры». Сейчас я это очень хорошо понимаю, когда конфессионные отличия ничего, в сущности, не значат, а важна та культура, те традиции, в которых ты родился и сформировался. Я благодарен родителям за то, что они приобщали меня к религиозным традициям, но не слишком жестко. Поэтому я могу погружаться в атмосферу любого храма, будь то костел или синагога, просто я не очень принимаю посредников. У нас в школе преподавали Закон Божий, несмотря на то, что в нашем классе были ученики одиннадцати национальностей, и это было очень правильно, потому что это — история мировой культуры и основы нравственности…»

Вспомним еще раз строки из стихотворения Маргариты Таут:

Великий Боже, научи
В стране с безбожной властью
Все искушения пройти.
Дай мужества и счастья…

Уезжая на Родину, они уже понимали: рано или поздно непременно даст знать о себе отсутствие религиозного, нравственного начала, отрицание тех основ нравственности, в

которых они были воспитаны.

Воспоминаний о станции Отпор сохранилось довольно много, но все они какие-то обрывочно-сумбурные; видимо, действительно шок, испытанный при пересечении границы, оставил очень глубокий след — изъятие на границе «неположенных» вещей, в том числе икон, книг и граммофонных пластинок; пьяные, мирно спящие на перроне или в чахлом привокзальном скверике; пыль, ощущение неухоженности; скудный ассортимент товаров в магазинах; теплушки вместо комфортабельных купе, мгновенно возникающее чувство слишком тесной общности, где все у всех на глазах. То самое чувство, которое на долгие-долгие годы станет определяющим в жизни на Родине.

Так обыденное, совсем неромантическое название Отпор начинало звучать какой-то зловещей нотой — здесь новая жизнь не начиналась, а обрушивалась на тебя со всей силой…

«На приграничной станции Отпор, — вспоминает Г. Литвинцев, — эшелоны встречали «покупатели» живой силы из целинных хозяйств Сибири и Казахстана. Они ходили по вагонам и выбирали работников покрепче и помоложе. Наш вагон в числе десяти прочих достался Глубокинскому совхозу Курганской области. После двух недель пути нас высадили на станции Шумиха и на разбитых грузовичках повезли в глухомань, куда и сейчас, спустя полвека, нелегко добраться из-за бездорожья.

У плоских длинных бараков, похожих на китайские фанзы, нас плотно обступили женщины и дети. Они смотрели во все глаза и угрюмо молчали. Позже местные простодушно признались, что ожидали увидеть настоящих китайцев, вероятно, в шелковых халатах, с косичками, с веерами и зонтиками в руках. Наш будничный, слишком обычный вид их удивил и разочаровал».

Кто бы ни пересекал границу, на станции Отпор испытывал шок, резкий слом психологического состояния. Николай Владимирович Каннинберг был ребенком, когда 13 апреля 1954 года они с матерью пересекали китайско-советскую границу. На последней китайской станции, когда мать пошла дооформлять какие-то документы, он остался один на открытой передвижной платформе для угля. Внезапно состав тронулся и поехал в сторону границы. «Чем ближе становилась граница, тем больше меркло солнце, так мне тогда показалось», — вспоминает сегодня Николай Владимирович свои первые ощущения от встречи с Родиной. Впереди появились очертания строений станции Отпор, ее огромная арка и ряды колючей проволоки, за которой начиналась нейтральная полоса, изборожденная трактором. Весь

этот пейзаж наводил ужас и менее всего напоминал такие привычные слова, как «Родина», «святая Россия»… Когда платформа остановилась, мальчика окружили угрюмые люди в темных шинелях и начали допытываться: кто, откуда, зачем, куда, где документы?..

К счастью, мать догнала поезд, нашелся потерянный багаж, все как-то успокоилось.

Но ощущение первого прикосновения к Родине осталось надолго…

Впрочем, есть и воспоминания, окрашенные из дня сегодняшнего совсем иным, неугнетающим, чувством.

Иван Григорьевич Войлошников вспоминает, как в 1954 году отправился на целину с первым эшелоном: «На станции Отпор нас встречал представитель Министерства сельского хозяйства Новиков, а также представители хозяйств, куда нас должны были направить. Там же нам вручили подъемные. В один из дней, что пришлись на отдых, морячки с Дальнего Востока, которые тоже куда-то ехали, устроили пляску под аккордеон. Я при звуках плясовой никак не могу усидеть, а тут — тем более при необычной обстановке. И тоже вместе с ними пустился в пляс… На станции Отпор познакомился с капитаном И. Ф. Болдыревым. Он водил поезда с целинниками из Китая. У него при трехдневной стоянке на Отпоре брал для сына молоко… Нас направили в Качугский район, село Анга (Иркутской области). Очень красивое село, посредине его река Анга. Приехали мы сюда в Троицын день. И на удивление всем в селе шел общесельский праздник, отмечали Троицын день.

Встретили нас прекрасно. Всем были в день приезда предоставлены дома для проживания. Здесь я преподавал сразу же с сентября химию в 10 классе и биологию в 5–9 классах».

Несколько лет назад был опубликован роман Е. Орлова «Дым Отечества», сплетенный из мемуаристики и вымысла. Речь в нем идет о семье Соколовых, глава которой, много лет прослуживший машинистом локомобиля электростанции поселка Яомынь, находившегося к югу от Харбина, в 1945 году был арестован органами НКВД — его обвинили в том, что он работал на японцев. Так семья оказалась разделенной: Иван Соколов, прообразом которого стал отец писателя, — заключенный советских лагерей, его жена и два сына — жители северо-восточной части Китая. Парадокс заключается в том, что отец заключен в лагерь, а сын его грезит о великой и прекрасной Родине. Ситуация отнюдь не придуманная. Может быть, потому так пронзительно звучит финал романа: «Прощай, добрый и гостеприимный Китай! Мы будем помнить тебя всегда…

Здравствуй, Родина! Прими нас к себе. Мы разные — красные и белые, а паши дети — розовые. Но все мы русские, и еще мы тебя горячо любим…»

В этих незамысловатых словах прощания и ожидания встречи сошлись совершенно разные чувства: и радость обретения Родины, и тревога, и грусть от потери. Чего? Чего именно, если они с каждым днем все острее ощущали себя здесь иностранцами, лишенными каких бы то ни было прав, беззащитными перед лицом грозных революций и войн, в которых сражаются граждане не своей, чужой страны?..

Конечно, слухи о репрессиях в Советском Союзе до них доходили. Вероятно, вспоминались знакомые или родственники, уехавшие несколько лет назад и с той поры не подававшие о себе никаких вестей. Но те, кто решился последовать их примеру, старались об этом не думать. Почему? Наверное, потому, что очень хотели верить в лучшее, жили надеждами, бережно выращенными, выпестованными в душе.

И пока слухи только доходили — это была одна история.

Вторая происходила на глазах, по крайней мере, после 1945 года, когда освободительная Советская армия вошла в Китай. В Харбин армия вступила в праздник, вдень Преображения Господня.

Вот что рассказывает об этом событии И. А. Дьяков: «Тогда малейшая мысль о дорогой стране, каждая мысленно нарисованная картина о ней казалась далекой прекрасной сказкой. Если бы в то страшное время кто-нибудь мне сказал, что скоро я увижу соотечественников и что получу право называть себя ее гражданином, — я не поверил бы, так как реально чувствовать себя сыном России мне казалось невероятным. Но, о чудо. Мне вернули любимую, родную Отчизну.

С какой искренней любовью мы встречали Красную армию в Харбине! Да, именно с любовью, как родных, любимых братьев, героев и освободителей. С какой радостью мы бросали цветы под ноги бойцов и офицеров!

Помню молебен в соборе 19 августа 1945 года. Под сильным ливнем стояли люди в одних платьях, в праздничных костюмах и не расходились: ждали (многие с цветами) прихода частей Красной армии… (кто-то пустил слух, что встреча состоится на Соборной площади). Наконец, к собору быстро подходит автомобиль и выходит… офицер, настоящий русский офицер с золотыми погонами. Трудно забыть это первое «ура» по адресу этого первого русского офицера. Из глубины сердца исстрадавшейся души вырвалось это радостное всенародное «ура». Многие плакали. Совершенно незнакомые люди

поздравляли друг друга. Ждали отряд — приехал к нам один, но этот один заменил собой всю армию. Его хватали за руки, каждому хотелось прикоснуться к нему. Какими словами могли мы тогда выразить свою радость! К нам, угнетенным, отверженным, потерявшим свою Родину и оторванным от родного народа, приехал он, наш родной, любимый… В соборе в это время совершался торжественный благодарственный молебен по случаю освобождения нас от японского ига. Служили три архиерея во главе с архиепископом Нестором, и когда бывшие в храме услыхали это громкое «ура», хлынул и к выходу, но… офицер, сняв фотографию, уехал… Тех, кто его видел, считали счастливцами.

А незабываемые сцены на пристани, на берегу реки Сунгари. Мы часами стояли и смотрели на «них», родных, любимых… А дети — они забыли обед, да и взрослые тоже. Мы поздравляли друг друга и целовались, как на Пасху. Наше духовенство, начиная с архиереев, служило благодарственные молебны под целодневный звон церковных колоколов; многие священники говорили проповеди о Родине, о присоединении нас к Матери-Церкви, о принятии нас в свои отцовские объятия Святейшим Патриархом Алексием, собирали пожертвования… Родители говорили детям о спасителях наших — о Красной армии, нашей гордости, о нашем отце Святейшем Патриархе… Дивные радостные дни. Никогда нам их не забыть. Мы вновь приобрели потерянную Родину, и это не сказка, а самая настоящая реальность. Ежедневно мы видим доказательства, убеждаемся, что это не сон».

Очень трудно было прерывать эту цитату — ведь в словах вспоминающего сошлось так много всего! Разве не напоминает нарисованная им картина знакомую по кинохронике и мемуарам встречу победителей в разрушенных войной столицах союзных республик, Европы, парад на Красной площади, когда под проливным дождем победители бросали к подножию мавзолея знамена поверженных врагов… Эти кадры до сих пор невозможно смотреть, не ощущая комок в горле и чувство какой-то невероятной гордости за свою страну.

Разве что только колокольный звон не слышится в старых кинохрониках, заботливо удаленный от слуха цензорами, — а ведь звонили, звонили уцелевшие колокола в чудом уцелевших маленьких храмах, прославляя великое российское воинство, спасшее мир!..

С волнением и воодушевлением трудно было сладить, даже самые отъявленные скептики испытывали в эти дни чувство гордости за свою страну и желание немедленно вернуться на

Родину, чтобы строить вместе со своими соотечественниками светлое будущее. Общее для всех…

Алла Дворжицкая-Светланова вспоминает те дни в своем уже цитированном выше очерке «В августе сорок пятого».

В это время театр, в котором она служила, гастролировал по станциям Восточной линии. Артисты находились под присмотром японца, уполномоченного от Харбинского симфонического общества. И вот во время поездки пришла весть: Советский Союз объявил войну Японии.

«Какие тут гастроли! Еле добрался наш пустевший поезд до Харбина. Наш японец куда-то исчез. Мы вышвыривали вещи, прыгали из вагона, боялись, что сметет нас шквал. Японские солдаты с ходу занимали вагоны. На вокзале метались японцы, японки с детьми. Одни бежали к поездам, другие непонятно куда. Все было как во сне: непонятно, зыбко, тревожно.

…Что могут сделать японские власти с нами, русскими? Да все, что захотят! Мы, люди без гражданства, чужие везде — перелетные птицы, случайно зацепившиеся за этот бугорок. Говорят, что арестовывают мужчин, советских граждан. Мужа подружки моей, известного врача, арестовали. Слухи ползут, как струйки дыма, из дома в дом: а вы слышали?..

Капитуляция Японии свалилась на харбинцев всех национальностей опять же с ошеломляющей неожиданностью. Пошла я, ничего не ведая, в японский банк, где работал кассиром мой добрый знакомый армянин. Зашла в здание и оторопела. Весь большой зал был наполнен японцами. Все стояли на коленях. Застыла на месте. Услышала красивый, низкий скорбный голос, что-то говоривший по-японски медленно и торжественно. Японцы слушали в полном молчании. У многих по лицам катились слезы. Они их не утирали. Опомнилась, тихо вышла. На улице услышала, что это говорит японский император. Оповещает о капитуляции Японии.

События завертелись, как карусель. Сюда придут советские войска. Что они сделают с нами? Как отнесутся? Свои мы для них или ненавистные чужаки-эмигранты, враги?»

Вопросов было множество. От Родины ждали не только приюта, но и кары. И тем не менее радостно бросались навстречу советским войскам, взволнованно вслушивались в новую русскую речь, всматривались в черты лиц. Это была первая встреча с Родиной, от нее зависело окончательное решение…

«Наконец пришел и долгожданный день, — продолжает Алла Дворжицкая-Светланова, — в город начали входить части Красной армии… Новые слухи: вошли… идут… нас не трогают. Можно подойти, даже поговорить! Хлынули харбинцы на улицы,

начали заговаривать с военными, знакомиться, звать их в гости.

Прибежала ко мне подружка Валя — взбалмошная, «без царя в голове» и затормошила: пойдем на улицу! Скорее! Там так интересно! Вышли на Китайскую. Я огляделась — все какое-то другое. Даже воздух. Исчезли хмурые лица. Будто светлый праздник с небес спустился. Сердце затрепетало! Увидела первых советских солдатиков! Пилотки, тяжелые кирзовые сапоги. Глаза голубые, серые, карие. Смотрят вокруг с интересом. Идут с чувством собственного достоинства. Да! Сразу почувствовали! Эти крепенькие, молодые, невысокого роста парни — солдаты победоносной армии…

Стояли с Валей на обочине, и вдруг остановилась рядом красивая большая черная легковая машина невиданной марки. Открылась дверца: «Девчата, хотите покататься?»

— Хотим! — заверещала Валя, прыгнула в машину, и я за ней. Вот они, первые знакомые. Их было двое. Сказали, что машина эта вывезена из Германии. Принадлежала самому Гитлеру. Разве вспомнишь, о чем говорили! Кажется, о городе расспрашивали. Мы были как наэлектризованные. Свои они нам? А мы им? Говорим на одном языке, а слова у нас разные. Мы привыкли к обращению: господин, госпожа, а их это смешит и удивляет. У них «товарищ». И к женщине относится, и к мужчине. Мы скажем — чиновник, а они — сотрудник. Мы — скамейка, а они — лавочка. У нас в лавочках торгуют, а не сидят. Ни имен, ни лиц, ни званий их не запомнила. Покатали нас, потом извинились, сказали, что им в часть пора».

И в этот же день произошла вторая встреча, которую в каком-то смысле можно назвать судьбоносной, потому что — кто знает? — неизвестно, что могло бы случиться с семьей Дворжицких, если бы не кинооператор Алексей Борисович.

Он отвез девушек домой и с тех пор стал иногда бывать у Аллы Дворжицкой-Светлановой. Однажды Алексей Борисович заметил в столовой на этажерке кипу журналов «Рубеж». Семья очень любила это харбинское издание, поэтому мать Аллы, практикующий врач, держала журналы именно в столовой, где пациенты обычно ждали приема. «Стал их листать и Алексей Борисович, — пишет Дворжицкая-Светланова, — и пришел в ужас. Мы совершенно забыли, что во время Второй мировой да и после нее в журнале постоянно появлялись карикатуры на Сталина. И лежали эти журналы на виду, как бомба замедленного действия.

«Что вы делаете, — почти кричал на нас Алексей Борисович. — Зайдет к врачу на прием наш солдат или офицер, увидит такую карикатуру! Да он перестрелять вас тут же может! И его оправдают! Уничтожьте сейчас же!»

Мы вырвали из журналов все опасные рисунки. Возможно, что уберег нас, непуганых и беспечных, от большой беды Алексей Борисович. Мы с ним встречались и дружили до его отъезда домой в Советский Союз».

Но доехал ли он до дома — неизвестно. Спустя несколько лет Алла Дворжицкая-Светланова, отправляясь на гастроли, встретила в поезде знакомого, который сообщил, что Алексей Борисович бесследно исчез в 1947 или 1948 году.

Этот небольшой рассказ актриса подтверждает важным свидетельством: с харбинцами советские солдаты и офицеры были гораздо доверительнее, чем между собой. Они говорили о многих вещах свободнее, откровеннее; охотно расширяли круг знакомств, вместе, большими компаниями ходили в китайские рестораны, на спектакли Харбинского драматического театра…

Сразу после того как Красная армия вошла в Харбин, была учреждена военная комендатура. Бюро по делам русских эмигрантов деятельно включилось в работу, помогая советским властям разобраться в обстановке. Руководителям бюро поручили составить для военного коменданта Харбина список тех, кто возглавлял какие-либо общественные организации. К работе над составлением списка подошли очень ответственно: не дай бог забыть кого-то!..

В один прекрасный августовский день все, чьи имена были в списке, получили приглашение на прием в шикарный японский Ямато-отель, расположенный на Вокзальном проспекте, в самом центре Харбина. Принаряженные, в приподнятом настроении, гости собрались в Ямато-отеле в ожидании чего-то очень хорошего.

А дальше… Дальше вспоминает известный харбинский журналист Михаил Шмейссер: «На первом этаже Ямато-отеля нас встретил дежурный офицер со списком на столике, отмечал прибывших и вежливо предлагал пройти на второй этаж и подождать там, пока соберутся для дальнейшего представления военному коменданту. Таким образом, здесь собрался весь «цвет российской эмиграции» — руководители разных рангов, всего несколько десятков человек. Однако время шло, а собравшихся никуда не приглашали. У некоторых появилось легкое беспокойство, кое-кто даже намеревался выйти из отеля, но было уже поздно: внизу стояли солдаты с оружием и никого не выпускали. Затем в холле появился тот же офицер со списком и опять-таки вежливо пояснил, что комендант изменил место приема и просит пройти наискосок, в здание бывшего японского консульства… Вот мы вышли и уже под конвоем кильватерной колонной потянулись к зданию японского консульства, благо, что

нужно было перейти только через дорогу. Там нас без лишних церемоний провели в подвал и разместили в клетках-камерах. Вот так и закончилось наше «представление коменданту». Далее были вызовы к следователям, а еще через несколько дней перевели в тюрьму, оттуда — этапом на территорию СССР в разные места».

Почти комично звучит в этом контексте рассказ Дмитрия Петровича Жемчужина, секретаря харбинского Общества домовладельцев. Его «эпопею» приводит в своих воспоминаниях И. Пасынков:

> «Иду я теплым августовским днем по улице и вдруг вижу — едет на извозчике Владимир Николаевич Жернаков, председатель Общества домовладельцев. «Вы куда?» — спрашиваю я его. «Представляться коменданту», — отвечает тот. «А я как же? Мне же неудобно не представиться!» — «Ну, садитесь, поехали вместе», — согласился он. И вот мы вместе приехали в Ямато-отель. Фамилию Жернакова офицер сразу в списке отметил, а мою не нашел: «Вас нет в списке», — пояснил он. «Но как же, мне неудобно не представиться как секретарю Общества домовладельцев!» — «Ладно, я припишу вас», — ответил офицер и предложил обоим пройти наверх. Вот так я и приехал «представляться», только не военному коменданту, а начальнику лагеря на Урал в январе 1946 года…»

И еще одно наблюдение Аллы Дворжицкой-Светлановой, еще один штрих в психологической атмосфере Харбина 1945 года:

> «Многие военные попали на эту «быструю» войну сразу после Отечественной. У некоторых нервы были жестоко расшатаны, они перестали ценить жизнь как свою, так и чужую. Чуть что, хватались за оружие. Однажды начался наш спектакль. Я была на сцене. Только успела сказать первую фразу, как услышала выстрел. Мне показалось, что стреляли по сцене, по мне. Уставилась в публику с немым вопросом: за что? В полутьме зрительного зала увидела, что через барьер верхней ложи напротив сцены перевесился вниз головой человек. Безвольно висели руки. Казалось, что сейчас он выпадет из ложи. Около него возникшумок, возня… Занавес закрыли. Через несколько минут мы начали спектакль сначала и доиграли без происшествий. Узнали, что в ложе один офицер застрелил другого за то, что тот сел на его место и не хотел его освободить».

Очень скоро русским пришлось привыкнуть к зловещей для слуха аббревиатуре — СМЕРШ.

В августе-сентябре 1945 года, сразу вслед за армией, в Харбин вошли смершевцы. Началась охота на людей. Сначала арестовывали и бросали в тюрьмы, затем развозили по многочисленным островам «архипелага ГУЛАГ», а спустя несколько лет раздавали сроки наказания и статьи, хотя, в сущности, вина на всех была одна: родились и выросли за границей…

В одном из номеров газеты «На сопках Маньчжурии» мне попался страшный документ — очерк под названием «50 лет молчания» с посвящением:»… тем девчонкам и мальчишкам, которые, как и я, попали в застенки СМЕРШа». Он подписан латинскими буквами N.N. и сопровожден рисунком: юная девушка с обликом героинь Лидии Чарской опустила чуть повернутое вбок лицо на кисти рук и смотрит куда-то далеко-далеко. И во взгляде ее — неизбывная пустота.

Этот очерк нельзя дробить, делить на цитаты, поэтому я привожу его почти полностью, с незначительными сокращениями:

«Чтение страниц газеты «На сопках Маньчжурии»… всколыхнуло во мне тяжелые воспоминания, те, которые гнетут меня вот уже 50 лет, и то, что произошло со мной в сентябре 1945 года в Харбине, городе нашей юности. А было мне тогда 18 лет…

Восемнадцать, девятнадцать,
Черт возьми, замечательных лет.
Только в эти года можно, как никогда,
И смеяться, и петь, и любить.

Было и у меня в те годы то, что написано в этих строках. Увлечение спортом, засунгарийские площадки с игрой в колечко, волейбол, катание на яхте, песни под вечер и все то, что было присуще в эти славные юные годы.

Была и любовь, начавшаяся со знакомства в трамвае, затем дружба, со временем перешедшая в большое чувство первой чистой любви.

Пела я и в хоре в одной из пристанских церквей, состояла в кружке «Русские девушки» при Русском клубе на Диагональной улице, от которого мы жили в минутах ходьбы. Занимались там рукоделием, шитьем, а бывшая ученица Смольного института учила нас этике и манерам, как себя держать в обществе, как сидеть, как обращаться с ножом и вилкой и многое из того, что не преподавалось в школе.

Был в моей жизни и Белый бал после получения аттестата

зрелости, когда соученики с горящими глазами поздравляли друг друга, а милая добренькая мама говорила: «Все у тебя впереди, доченька, ты теперь у меня взрослая».

Были и мечты о высшем образовании, но не получила я его — злой рок постиг меня.

По сей день помню август 1945 года, когда мы, молоденькие девчонки, будущие студентки, бегали встречать «освободителей», бросали цветы, улыбались, радовались — ведь пришли же русские, свои. Победа!

Вскоре по городу прошел слух, что идут аресты как молодых, так и пожилых. В одну из сентябрьских ночей 45-го к нам в дверь сильно постучали. Когда открыли дверь, то перед нами стояли военные. На наш вопрос: «Что нужно?» — спросили: «Здесь живет такая-то?» Назвали мое имя и фамилию.

— Одевайся, ты арестована!

— За что? — спросила мама.

— Разберемся! — был ответ.

Я стала выходить. Оглянувшись, увидела маму со слезами и ужасом в глазах.

Посадив меня в машину, увезли в здание японского консульства. Провели внутрь, вниз по лестнице, втолкнули в одну из комнат-камер. На потолке горела еле-еле светящаяся лампочка. Кое-как я примостилась на полу у стенки.

На следующий день поздно вечером меня увели на допрос. Поднявшись на этаж выше, ввели в комнату. Увидела стол, чуть подальше стул, около стены топчан-диван, небольшой умывальник и парашу. В комнате находилось двое военных. Один — невысокого роста, полный, с покатыми плечами и чуть сгорбленной спиной. Широченные галифе на полном животе. Лет ему было за сорок. Не русского типа, с темными курчавыми волосами и горбатым носом. Неприятный тип с бесформенными толстыми губами. Другой — выше среднего роста, блондин, худощавый.

Посадив меня на стул, направили настольную лампу мне в лицо. Начали допрос: фамилия, имя, отчество, возраст и далее — в какой диверсионной группе состояла, какие террористические акты готовила и вела против СССР? Весь допрос они сопровождали ужасными, грязнейшими ругательствами. Требовали, чтобы на кого-нибудь указала, назвала имена и фамилии. Допрашивали оба, по очереди, что-то писали на листах бумаги.

Так продолжалось несколько часов. Затем заставили подписать, но я отказалась, сказав, что хочу прочитать, но в ответ — опять грубейшая брань. Мне было уже все равно, лишь бы

скорее это кончилось, и я подписала несколько листов.

Отложив их в сторону, старший по возрасту приказал мне раздеться. Сняла платье, но он заорал:

— Все снимай! Все! Останься, в чем мать родила!

Я медлила, на что опять был окрик:

— Давай, поторапливайся!

Раздетая, нагая, я, сгорбившись, старалась прикрыться руками, но для этого рук не хватало. Я чувствовала жуткий стыд, щеки и лицо горели, голова кружилась.

— Стань прямо! Руки опусти! — с грязной руганью снова заорал старший.

Оба они смотрели на меня мутными похотливыми глазами, между собой обсуждая строение моего тела, кожу и тому подобное. А затем один из них промолвил:

— А интересно знать, девка она или уже баба?

— Ничего, — ответил другой, — скоро узнаем, что и как.

Стали играть в карты. Я стояла в той же позе, и рой мыслей проносился у меня в голове. Не сон ли это? Не брежу ли я? Как могло случиться, что в нашем благородном, интеллигентном Харбине происходит такое безобразие, такая наглость, такой ужас?! За что? За какие грехи покарал нас Господь? Что я плохого сделала за свою 18-летнюю жизнь, в чем я виновата? Но не находила ответа. Вспомнилась милая мама и ее последний взгляд со слезами на глазах.

За стеной раздался душераздирающий крик:

— Не виноват! Не виноват я ни в чем!..

Слышался какой-то шум, кого-то били, мучили…

По телу пробежали мурашки. Кто он? Может быть, знакомый?..

Наконец, игравшие в карты встали со стульев, и молодой сказал:

— Ты выиграл, ты и начинай.

Схватив меня за руки, они потащили меня к топчану. Я вырывалась, истошно кричала, но справиться с ними не могла… Уже на ложе потеряла сознание.

На какой-то момент очнулась. Перед лицом увидела рожу с дикими глазами и полуоткрытым ртом, из которого исходил тошнотворный запах водки, табака и нечищеных зубов. Я опять провалилась в беспамятство…

Целую ночь они глумились надо мной, не помню, были ли еще другие. Только под утро заставили одеться, затем меня в полусознательном состоянии увели в камеру, в подвал. Весь день я не вставала, лежала на голом полу, все тело болело, и тяжелые мысли не покидали меня: «Что будет завтра?»

А завтра было то же самое. Ночью опять меня увели наверх. Опять допрашивали: «Укажи, кого знаешь! Кто замешан в вашей белобандитской террористической организации? Назови фамилии!..» Опять тащили на топчан, опять терзали меня и глумились. Так продолжалось три ночи подряд.

Как-то утром повели наверх. Привели в другую, уже большую комнату. У стены стоял стол в виде подковы, за которым сидело более полудюжины военных с золотыми погонами. У меня зарябило в глазах при виде этого золота — целая линия погон, меж которых торчали головы.

Погоны — символ чести, гордости, совести защитников Отечества… Имели ли они право, эти изверги, насильники и убийцы, носить их на своих плечах? Помню, что сидящий слева вскрикнул:

— Ну, ты! Будешь ли говорить или продолжать молчать?

И я молчала… Мне было все равно.

— Мы тебя сгноим! Мы заставим тебя говорить!

Помолчав, я ответила: «Делайте, что хотите. Вы уже во мне все убили…»

Целый день они по очереди задавали мне одни и те же вопросы. Кто-то из них выходил, опять приходил. Целый день я слышала грубость, но ни на что не реагировала — напало какое-то оцепенение и безразличие.

Уже под вечер сидящий посредине, видимо, старший по чину, сказал:

— Ну, что с тобой делать, девка, я не знаю.

Потом, помолчав, приказал меня увести в камеру.

Ночью опять повели наверх. Заставили подписать бумагу о «неразглашении тайны», затем вывели меня во двор и посадили в грузовик с опущенной шторкой позади. Подошел один из насильников и сказал: «Кому-нибудь расскажешь — то смотри! От нас не уйдешь, везде найдем!»

В грузовик село двое часовых, и мы поехали.

Выехав на улицу, повернули направо. Почувствовала, что взбираемся на подъем. Поняла, что едем к Собору. Затем стали его объезжать. Перекрестилась и стала молиться: «Господи, прости меня грешную и сохрани!

Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя…»

Потом уже ехали вниз, в сторону Модягоу. Через какое-то время грузовик остановился. Двое охранников, сидящих со мной, приказали мне слезть. Затем, схватив меня, швырнули, и я, ударившись о забор, навалилась на него. Невольно подумала, что сейчас застрелят, но сильнее загудел мотор, и они уехали.

Постояв некоторое время, стала присматриваться и пошла в сторону Собора… Дошла до Лицея Св. Николая, постучалась, по никто не открывал. Пошатываясь, добрела до Дома Милосердия… Долго стучалась, и наконец мне открыла дверь монашка. На вопрос: «Что надо?» — ответила, что заблудилась. Монашка завела меня в здание. Помню коридор и скамью сбоку. Принесли мне подстилку. Расстелив ее на скамье, легла и мгновенно уснула.

На рассвете проснулась. Монашка принесла мне что-то поесть, но я отказалась — меня подташнивало. Попросила у нее денег, она дала мне немного, что хватило на трамвайный билет. Доехала до своей остановки на Пристани.

Не буду описывать встречу с мамой. Хочу сказать, что с перерывами спала неделю. Даже ей я не рассказала о том, что делали со мной, как надругались, убили во мне все, искалечили мою душу и тело. Будь они прокляты!

Мучила меня и мысль о встрече с любимым другом. Где он — я не знала. Думала, что его тоже арестовали, так как за год до событий он был призван в отряд Асано…

Лежа в кровати, я все думала, думала, думала… Что делать? Иногда вечером я выходила на улицу, шла в одну из пристанских церквей и в темном, по возможности, углумолилась. При встречах с прохожими мне казалось, что все на меня смотрят, как бы с неприязнью, осуждая.

Прошло более года, когда к нам в дверь постучали. Открыв дверь, увидела его. Я обомлела, не знала, как на него смотреть, потом отошла, сдержалась, мы обнялись. По сей день помню, как сидели мы вместе с ним, пили чай, а он рассказывал мне, как скрывался у знакомых на одной из станций КВЖД. Повезло ему, что не забрали, так как перед событиями уехал на побывку к родителям, у которых была заимка на Восточной линии.

Он пригласил меня поехать к ним. Месяц, проведенный там, был прекрасен. Чудные, милые и добрые его родители не знали, куда меня усадить, чем угодить. Кроме добра и внимания, я от них ничего не видела. А он, кого я любила, смотрел мне в глаза, называя ласково — снежинкой, пушинкой и белкой — был предельно внимателен.

Душа разрывалась… В голове все время одна и та же мысль, один и тот же вопрос — что делать? Могу ли я его обидеть, как примет он все то, что со мной сделали, простит ли меня? А если простит, не будет ли это снисхождением и просто жалостью? Перед отходом поезда он сделал мне предложение — соединить на всю жизнь нашу судьбу.

Я смотрела на него, на его горящие, ожидающие ответа глаза

и ответила:

— Прости! Богом прости, но я люблю другого.

Не оглядываясь, вбежала в вагон, повалилась на сиденье и разрыдалась. Было потеряно все — девичья честь, большая, первая и чистая любовь.

Прожив неделю в Харбине, я уехала в один из городов Китая и никогда больше в Харбин не возвращалась.

Вот и бреду все 50 лет — с убитой душой — по жизни, потеряв любимого человека».

Нужны ли здесь какие-либо комментарии?..

На этих страницах уже упоминался бывший харбинец И. Пасынков, оказавшийся в одной камере с умирающим поэтом Арсением Несмеловым. Его путь в лагерь Гродеково был обыденным для тех времен: Пасынкова схватили смершевцы в Харбине в 1945 году, потом его отправили в Гродеково, а в декабре того же 1945-го вместе с маньчжурцами разных национальностей (среди них были и японцы, и корейцы, и китайцы) этапировали в глубь России, на Урал, в специально приспособленных пульмановских вагонах.

«В вагоне были нары в два ряда, и спали мы тесно прижавшись друг к другу, так что ночью приходилось переворачиваться на другой бок одновременно всем, — пишет И. Пасынков. — В вагоне теснота, зловоние, холод. На редких остановках забрасывали в вагон каменный уголь (стояли две печки-буржуйки), мерзлый хлеб и редко — подобие жидкой горячей пищи, а также воду для питья. Ее катастрофически не хватало. Приходилось от жажды слизывать испарения со стенок вагона, все завшивели так, что тело представляло собой сплошные расчесы с кровоподтеками.

О такой «роскоши», как медицинская помощь, и думать было нечего. В нашем вагоне было три смерти, и я отчетливо запомнил этих людей: Иноземцев, начальник электростанции на ст. Имяньпо (умер от астматического состояния на куче угля около печки), Отланов Иван Николаевич (умер от сердечно-сосудистой недостаточности, сильно отек, задыхался) и третий — присяжный поверенный Дандуров, уже престарелый человек, у него были психические нарушения, стал заговариваться и однажды утром не проснулся. Трупы подолгу лежали на полу, примерзали к полу, и ночью мы спотыкались о них. На каких-то станциях их снимали и где-то хоронили, но как? Никто об этом не знает и даже не узнает, где похоронены эти мученики…

Вот в таком состоянии мы ехали 29 суток через Сибирь с ее морозами. У многих к концу этапа развились авитаминозы… Привезли нас 17 января 1946 года на ст. Азанка Свердловской

области, выпустили в лагерь, который показался нам раем после такого этапа, хотя не был приспособлен для приема, так как пустовал долгое время».

И для очень и очень многих двери на Родину отпирались именно таким образом. Никто из них не успел проститься со своими близкими — увозили ночью, тайно, и ни о какой весточке домой, как, впрочем, и ни о каком официальном уведомлении семьям, не было и речи. По словам И. Пасынкова, ответственные работники советского консульства на все запросы отвечали неопределенно, а примерно в 1948 году начали говорить: «Не ждите…»

Лишь в 1956 году, уже при Н. С. Хрущеве, начали освобождать маньчжурцев. Тех, кому удалось выжить в нечеловеческих условиях.

А вот еще одна история — бывшего харбинца Иннокентия Филиппова. Во время Гражданской войны его отец, мировой судья Иркутска, бежал от красных в город Хэйхэ (Сахалян). Вслед за ним тот же путь должны были проделать его жена и сын. Филиппов вспоминает: «И вот Благовещенск-на-Амуре. На берегу реки — Сад туристов. Летний солнечный день, время — послеобеденное. Недалеко в кустах лодка с китайцем-контрабандистом. Мама в теплом синем костюме, никаких сумок и вещей. Я тоже одет потеплее, в руках у меня большая белая эмалированная кружка. Садимся в лодку, китаец быстро гребет. Все спокойно до странности… Но вот, когда лодка выходит уже на середину Амура, на русском берегу вдруг появляется пограничник на лошади, за плечами винтовка, смотрит в бинокль в нашу сторону… Запомнилось мертвенно-бледное лицо матери, стоны и усиленная гребля перевозчика. Помню, мама стала молиться, а я, испугавшись, судорожно вцепился в белую свою кружку.

Почему чекист-пограничник не сделал даже предупредительного выстрела — навсегда осталось для меня тайной. Может быть, в последний момент пожалел ребенка и женщину, хотя и рисковал своей карьерой, а может, и жизнью?..

Лодка причалила где-то в протоке, среди зарослей, уже на китайском берегу, нас встретили и повели среди топей к Сахаляну, где мы наконец оказались на квартире у наших старых друзей Чернышовых, ранее перешедших на китайскую сторону.

Трудно описать слезы радости родителей и благодарность Богу за это чудесное спасение».

А потом семья, так счастливо соединившаяся, переехала в Харбин, где родители Иннокентия Филиппова нашли свой вечный покой, жизнь как-то сладилась, сложилась, постепенно стали

забываться страшные минуты, пережитые подростком в лодке.

Но 8 сентября 1945 года Филиппов в числе многих других был ночью арестован дома и брошен в подвал бывшего японского консульства. Дальнейшая история Филиппова почти дословно повторяет историю И. Пасынкова — та же дорога в наспех оборудованном вагоне в Гродеково вместе с русскими, японцами, китайцами, корейцами; камера на 40 человек, двадцатидевятидневный путь через Сибирь на Урал… Судя по совпадению мельчайших деталей и имен, Пасынков и Филиппов ехали на станцию Азанка в одном вагоне, и будущее у них, по крайней мере на следующие десять лет, тоже было одинаковым.

Тем неожиданнее звучат заключительные строки воспоминаний Иннокентия Филиппова: «Как ни парадоксально и ни кощунственно, может быть, прозвучит, но пребывание в течение многих лет в советских лагерях в какой-то степени обогатило духовно многих: лагеря были средоточием интеллигенции «высшей пробы», которую свозили из всех стран, куда входили советские войска. В свое время мне пришлось общаться с крупными литераторами, учеными, медиками и другими специалистами, и такое общение поддерживало дух политзэков. Размышляя о прожитом и пережитом, приходится только удивляться, до чего же «живучее существо» человек.

В 1956 году я был досрочно освобожден со снятием судимости, а впоследствии — реабилитирован. Имею три образования: ориентальное — по Харбину, медицинское — по СССР и высочайшее «академическое» — по «академии Сталина — Берии»».

Они (во всяком случае, большинство из них) не озлобились, не замкнулись в себе, испив переполненную чашу несправедливости и горя. Они рвались на Родину и получили ее такой, какой она была, — без плакатных прикрас, без пафосных восклицаний. Вместо пафоса воззваний они слышали с первых дней мат: по дороге в лагерь «с лязгом открывались большие широкие двери, и в вагон, вместе с зимним морозом, вваливалась ватага солдат во главе с начальником конвоя — низкорослым кривоногим косоглазым человечком в коротком черном полушубке. В руках у него был огромный деревянный молоток с длинной ручкой. Пронзительным визгливым голосом он кричал: «Все на одну сторону!», сопровождая команду семиэтажным матом, а затем истошно вопил: «Первая!.. Вторая!..» и т. д., перегоняя людей по одному на другую сторону вагона. Если кто мешкался, получал сильный удар молотком по спине».

Это была долгожданная встреча с Родиной…

…Старшим воспитателем мальчиков детского приюта имени

Тихона Задонского был граф Борис Григорьевич Уваров, штабс-капитан, бывший адъютант атамана Семенова. В июне 1941 года он собрал после всенощной своих воспитанников и обратился к ним со словами: «На нашу Родину, Матушку Россию напал враг. Нам следует молиться за спасение России! Какой бы она ни была!» После поражения Японии граф Уваров, возглавлявший русскую диаспору, с хлебом-солью встречал Советскую армию в Харбине, а вскоре был арестован, отправлен в СССР и после долгих допросов осужден как враг народа на 15 лет. Он отбыл свой срок, как говорится, «от звонка до звонка», последние годы разделяя камеру с рецидивистами. Но, наверное, и в эту жестокую годину продолжал про себя молиться за спасение Родины.

Какой бы она ни была!..

…Иван Тихонович Щелоков оказался в Маньчжурии в 1900 году. 22-летний солдат прибыл с отрядом генерала Орлова в состав Охранной стражи КВЖД, по через год отряд был расформирован, а Иван Щелоков переведен на службу в Харбинскую телеграфную контору на чиновничью должность. Карьера его удалась — уже через четыре года он, награжденный двумя Георгиевскими крестами, оставил службу и открыл свой писчебумажный магазин. Дело пошло и превосходно шло до 1921 года, но почти сразу после Февральской революции в России Иван Тихонович перестал интересоваться магазином, его увлекла политика.

Он одним из первых вступил в конституционно-монархическую партию и возглавил ее вместе с генерал-майором Рихтером и известным пароходовладельцем Федором Михайловичем Власовым. Целью партии были объединение русского населения, проживающего в полосе отчуждения КВЖД, и установление монархического строя в России через Учредительное собрание.

В конце 1918 года конституционно-монархическая партия выпустила воззвание «К гражданам Великой России». Издание распространялось среди русского населения Маньчжурии, а оплачено было в основном удачливым купцом и энергичным политиком Щелоковым.

Приобретая все больше влияния и авторитета, Иван Тихонович Щелоков занимал посты в 33 различных обществах, комитетах, банках. Он был невероятно активен: вступил в Русское патриотическое общество, в Лигу борьбы с Третьим интернационалом, позже, уже в 1930-х годах, занимал пост вице-председателя Общества русских эмигрантов…

Его дальнейшая судьба мало чем отличалась от судеб менее уважаемых и менее удачливых соотечественников. В сентябре

1945 года Иван Щелоков был задержан в Уссурийске, как и многие бывшие российские граждане, и отправлен в Востокураллаг. Следственное дело Ивана Тихоновича, в котором содержится множество документов, фотографий, изъятых писем, хранится в Государственном архиве административных органов Свердловской области, и, судя по нему, более всего следователей интересовали тесное общение Щелокова с лидером монархического движения в Маньчжурии Василием Ивановым, близость с атаманом Семеновым и тот факт, что в 1919–1920 годах на харбинской квартире Щелокова останавливался судебный следователь по особо важным делам Соколов, автор книги «Покинутая царская семья».

Следствие было выстроено многоступенчато, обвинений было предъявлено более чем достаточно, однако, не успев толком начаться, этот отлаженный процесс прекратился: Иван Тихонович Щелоков скончался 6 февраля 1947 года в лазарете Восток-ураллага…

Многими замечено, что русские выходцы из Китая в своих воспоминаниях о последних годах жизни там и первых — здесь нередко рисуют действительность одной краской. Но ведь и в Харбине, Шанхае, Тяньцзине не все было прекрасно и радужно, и в СССР не все было ужасающе… Однако в этом нет ничего удивительного. У воспоминаний с дистанции, все более и более увеличивающейся с годами и десятилетиями, другая логика. Человеку свойственно романтизировать и всячески приукрашивать все то, что связывает его с далекой юностью, счастливыми временами, когда и бедность, и богатство переживаются легче, когда ты окружен близкими, любящими людьми, а впереди вся жизнь и существует иллюзия выбора собственной судьбы. И совсем иное — когда совершенный тобою выбор не оправдывает себя, безжалостно крушит надежды. С годами ощущение несправедливо обошедшейся с тобой судьбы усугубляется, доводит до отчаяния.

Может быть, в ком-то это чувство продолжает жить и сегодня. И невозможно судить за него тех, кто спустя полвека задумывается порой о том, что совсем иначе могла сложиться жизнь, если бы не станция Отпор…

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицын доказал, что «отцу народов» требовалась рабочая сила для великих строек коммунизма, а какая рабочая сила могла быть лучше, чем миллионы рабов-заключенных? И на эту роль особенно хорошо подходили русские эмигранты, люди, ослепленные желанием вернуться на свою Родину и быть ей полезными.

Как уже говорилось, когда Советская армия вступила в

Харбин, почти сразу же начались аресты, в которые никто не хотел верить, потому что генеральное консульство СССР убеждало население: ввиду великих побед и перемены условий жизни в СССР никому ничего не надо бояться! Тем, кто хочет вернуться на Родину, дорога открыта. Тем, кто хочет остаться в Маньчжурии, опасаться нечего — особенно тем, кто был вывезен сюда в раннем возрасте или родился в Китае. «И все искренне в это поверили, — пишет И. Пасынков, — воспитанные в иных моральных параметрах, эмигранты не предполагали, что могут быть обман и провокации в государственном масштабе. (В скобках заметим, что все же отдельные россияне предупреждали — «не верьте, уезжайте!» — таким, например, оказался майор маньчжурской армии Коссов, уехавший заблаговременно из Харбина.).

А методы ГПУ-НКВД за границей оставались прежними: людей в Харбине выкрадывали из квартир по ночам или же задерживали прямо на улице, вывозили с работы. Меня лично увезли из дома ночью 8 сентября (меньше чем через месяц после того, как харбинцы с цветами и слезами встречали освободителей, собираясь на молебны, выстаивая на берегу Сунгари, чтобы увидеть российских офицеров. — Н. С). При этом обычно успокаивали: нужно кое-что выяснить и через несколько дней вернетесь обратно. Но для большинства это было «началом конца». Для меня же эти «несколько дней» превратились почти в одиннадцать лет «великого сидения», как иронически называли политзаключенные свое пребывание за колючей проволокой».

Вместе с И. Пасынковым был арестован директор английской школы в Харбине, полковник гвардейского полка Иллиодор Григорьевич Круглик — его и до этого арестовывали несколько раз, но затем отпускали, поэтому Круглик был возмущен, но не особенно встревожен. Здесь же, в одних с ними клетках, установленных в здании бывшего японского консульства на Вокзальном проспекте, содержались Николай Кипкаев, представитель фашистской партии, Всеволод Новиков, сотрудник Бюро по делам русских эмигрантов, руководитель отдела бюро Михаил Матковский. В годы войны Матковский возглавлял группу «Отчизна», имевшую подпольную радиостанцию и передававшую в эфир сводки о разгроме японских войск. Японцы так и не сумели запеленговать эту радиостанцию, так как она была оборудована в автомобиле, который все время разъезжал по городу.

Были среди арестованных и активист фашистской партии инженер Дюков, и многие, многие другие… Контингент был разнообразным, но все же можно проследить какую-то общую

линию — вероятно, самыми первыми брали тех, кто принадлежал к фашистской партии и БРЭМ (Бюро по делам русских эмигрантов. — Н. С). Эти люди казались особенно опасными, их нельзя было оставлять на свободе, но и расстрелять на месте тоже было невозможно.

Сотрудники бюро были ценным источником информации — ведь они знали о людях всю подноготную, могли дать характеристику каждому, а эти сведения должны были пригодиться не только для следствия, но и для «послелагерной» жизни (если кому повезет выжить!).

Фашисты свою роль выполнили. Они сослужили японцам хорошую службу и теперь наравне с недавними оккупантами стали «врагами номер один», полностью уравнявшись в правах с былыми хозяевами. С ними можно было не церемониться. Однако нередко те, кто верой и правдой готов был служить (или служил) новой советской идеологии, разделяли их участь.

Хаос и смута, страх и тревога поселились в «русском» Китае. И обусловлены они были не только победой над японцами, решением вернуться на Родину или ехать еще дальше от нее. Условия жизни начали диктовать события, происходящие в китайской политике.

Часть русских семей оказалась по разные стороны границ Гражданской войны.

Ольга Константиновна Войнюш, дочь сотрудника БРЭМ Константина Михайловича Александрова, обвиненного в сентябре 1945-го в шпионаже в пользу Японии (во время войны японцы обвиняли Александрова в шпионаже в пользу Советского Союза и даже устроили обыск в его квартире) и вывезенного в числе других арестованных в СССР, в лагерь «Озерный» Иркутской области, — оказалась разъединенной с мужем, инженером, работавшим на Фушуньских копях. Она оставалась в Харбине, служила корректором в типографии при Доме милосердия до той поры, пока не подвернулась возможность переехать на юг к мужу.

Собралось человек двадцать женщин с детьми, хотевших соединиться со своими мужьями, отрезанными от семей Гражданской войной. Китайцы помогли организовать группы, давали подводы, чтобы перейти границу в наиболее безопасном месте. Вещей брали минимум, деньги заплатили вперед…

Вот как рассказывает эту историю со слов Ольги Константиновны И. Мясникова: «…ехали с детьми — ее сыну было тогда год с небольшим. Их повезли сначала до станции Шуаньченпу, где и заночевали в какой-то фанзе. Ночью вдруг нагрянула китайская полиция, их всех поволокли к поезду, посадили в вагон и повезли в Харбин, в тюрьму. Детей, слава

Богу, удалось передать родственникам. Посадили по камерам. Народу в камере было много, кроме них были и уголовницы. Ни коек, ни лежанок не было. Разрешили взять только пальто, чтобы можно было на нем спать. Отсидели там дней 10, а может, и все две недели. В китайской тюрьме было немыслимое количество всяких насекомых: три сорта вшей, блохи, мокрицы. Водили на допросы, где на все ответ был один: «Ваша — посиди, наша — подумай». В конечном счете им объявили, что Советское консульство берет их на поруки, и их освободили. Ольга Константиновна вспоминает: «Когда мы оттуда вышли и взглянули друг на друга, то пришли в страшенный ужас. У одной из дам — от укусов блох и каких-то там тварей ноги раздулись до слоновых столбов, все было покрыто пятнами. У всех обнаружились вши. Дома потом долго отскребались и очищались».

Выйдя из тюрьмы, Ольга Константиновна устроилась на работу в одно из отделений акционерного общества «Чурин и К», и вскоре ей было предложено место в Цицикаре. Работы было много, рабочий день длился с 9 часов утра до 9 часов вечера — к концу дня думалось только одно: добраться бы до дома и свалиться в постель!.. Но все же была одна отдушина.

Из Харбина приехал бывший полковник военной миссии (впоследствии оказавшийся советским разведчиком) Гурген Нагален. Он стал здесь директором кинотеатра, в котором показывали в основном советские фильмы, и часто приглашал работников Чуринской фирмы на просмотры новых лент, еще не переведенных на китайский язык. Ольга Константиновна вспоминала, что приходили они туда по вечерам, после работы, «когда кинотеатр был уже закрыт, и контролерши сгребали метлами горы семечек, оставшихся после китайских зрителей. Этими семечками потом зимой топили кинотеатр».

Этот кинотеатр был настоящей отдушиной для «русского» Китая, состоявшего не только из русских — грузины, армяне, татары, евреи, выходцы из многонациональной России, считали себя русскими и одинаково тянулись сюда, чтобы прикоснуться душой к своей Родине хотя бы с помощью экрана, чтобы что-то понять о своей и не своей стране, чтобы принять окончательное решение…

Тем временем мужу Ольги Константиновны удалось вернуться пешком, окружным путем из Мукдена в Харбин, все стало понемногу образовываться: в 1949 году Ольга Константиновна приняла предложение преподавать русский языкдля китайцев в Харбинском институте иностранных языков, а в 1954-м семья решила вернуться на Родину, работать на целине.

Списки отъезжающих были составлены консульством заранее, но оповещались люди о предстоящем отъезде за несколько дней — в спешке продавались дома, не успевали оформить необходимые Документы, собирались впопыхах… Однако тех, кто преподавал в китайских учебных заведениях, китайская администрация попросила отсрочить отъезд на год.

Семья Войнюш уезжала в Советский Союз в 1955 году. Они ехали на целину и везли в своем багаже пианино, комоды, шкафы, не говоря уже о большом количестве книг, пластинок. До станции Маньчжурия ехали в комфортабельных спальных вагонах. На станции Отпор пересели в теплушки.

Здесь, на первой советской станции, выдавались деньги на устройство: 3 тысячи рублей на главу и по 600 рублей на остальных членов семьи. Семья Ольги Константиновны ехала в Акмолинскую область; от станции на подводах и грузовиках добирались до Чулаксандыкского совхоза Есильского района, где поселились в здании бывшей школы на самом берегу реки Ишим. Чтобы попасть в ближайший магазин, надо было переходить Ишим вброд…

На работу ездили поездом в Акмолинск, потому что такое количество людей использовать в совхозе просто не могли. Ольге Константиновне повезло — однажды в поезде она познакомилась с человеком, оказавшимся старшим инженером управления совхозов Акмолинского района, предложившим похлопотать о ее устройстве на работу — корректором в газету «Правда» в Акмолинске. В этой газете Ольга Войнюш и работала до тех пор, пока не переехала в Гатчину, ближе к Ленинграду, куда так стремилась все годы…

Когда думаешь о событиях 1954 года, о русских, покидающих Китай, возникает двойственное ощущение, которое, вероятно, испытывали и многие из этих людей. Какими бы скудными ни были доходившие до них сведения, они не могли не знать о том, что случилось в Ямато-отеле в 1945 году; не могли не понимать, что отнюдь не случайно уехавшие в конце 1940-х годов родные и знакомые не подают о себе никаких вестей; не могли, в конце концов, не видеть, как время от времени днем на улицах Харбина, Шанхая, Тяньцзиня останавливают людей и увозят куда-то, как по ночам то из одного, то из другого дома исчезают мужчины и женщины…

А ведь с той поры прошло почти девять лет…

С одной стороны, оставалась иллюзия: главное — как можно скорее уехать! Там, на Родине, все будет иначе, исчезнут тревога, страх, вокруг будут свои. С другой… страх и тревога нагнетались все больше и больше — ехали ведь на неосвоенные земли,

фактически, в неведомое, неизвестное. Можно ли там чувствовать себя в безопасности, на своем месте, в своем доме?..

Ответа на эти вопросы не было, как не было уверенности в правильности выбранного пути.

Дорога в СССР оставалась дорогой в никуда.

И лишь маленький полустанок, носивший имя Отпор, ставил последнюю точку в размышлениях, потому что размышлять было уже не о чем.

Контраст был тем разительнее, что на последней китайской станции Маньчжурия, несмотря на события, потрясшие Китай, все еще оставалось (по крайней мере, внешне) по-прежнему. Пришлое из разных мест России население было воспитано в духе глубокой религиозности. Епископ Иона (Покровский), служивший здесь в конце 1920-х — начале 1930-х годов, создал на станции приют, низшее и высшее начальные училища с бесплатным обучением, бесплатную столовую, амбулаторию и библиотеку для духовного просвещения местного населения. Следы этих начинаний все еще ощущались на станции Маньчжурия и в начале 1950-х годов, когда последние русские покидали Китай.

Распаханная широкая полоса земли между Маньчжурией и Отпором стала границей, разделившей два мира, разделившей не Китай Мао Цзэдуна и Советский Союз Сталина, а старую Россию и новую.

Вот одно из свидетельств тому.

В 1943 году на станции Маньчжурия вынужден был задержаться Александр Николаевич Вертинский, возвращавшийся с семьей в Советский Союз. Японцы придрались к багажу Вертинских, и им пришлось прожить две педели в консульстве. Время было военное, японцы еще чувствовали себя полными хозяевами, поэтому ждать их разрешения на провоз багажа приходилось долго. Советский консул и его жена окружили известного артиста заботой, старались во всем помочь. Наконец, багаж был получен. Но оказалось, что «он перерыт, стиральным порошком из вскрытой коробки засыпаны все вещи, — пишет Лидия Владимировна Вертинская. — Не возвратили и одну главу из воспоминаний Вертинского о Германии, опубликованную в шанхайской газете «Новая жизнь», и еще некоторые документы и бумаги».

Но это — повторим! — было военное время и чужие, враждебно настроенные к русским японские военные. На станции же Отпор, на Родине, к Вертинскому подошел пограничник и строго спросил, сколько он везет костюмов. «Александр Николаевич ответил, что у него их три, — вспоминает Лидия Владимировна, — один на нем, а еще — концертный фрак и

смокинг. Выслушав ответ, пограничник неодобрительно покачал головой, а у Вертинского было виноватое и сконфуженное лицо». Как понятны в этой небольшой сценке обе психологии! Как внятен для каждого читателя конфуз Вертинского, искренне верящего, что в Советском Союзе да еще и во время войны просто стыдно иметь что-то, помимо того, что надето на тебе…

Небольшое отступление — оно необходимо, чтобы внести легкую юмористическую ноту в это тяжелое повествование.

В книге Лидии Владимировны Вертинской «Синяя птица любви» есть рассказ, относящийся ко времени, когда Вертинские собирались в СССР и наконец прибыли в Читу. Во время сборов мать Лидии Владимировны выразила обеспокоенность тем, что ключи от кофров и чемоданов были утеряны. Александр Николаевич возмутился: «Лидия Павловна, о чем вы беспокоитесь?! Мы едем в страну, где живут люди как чистые, наивные дети! Они даже слово «украсть» не знают! Кому нужны наши чемоданы? Стыдитесь даже думать о каких-то ключах!»

А перед самым отъездом из Читы произошла такая история. «Поезд в Москву отходил в десять часов вечера, — вспоминает Лидия Владимировна. — Легковую машину на вокзал предоставила филармония, а грузовик для багажа мы нашли сами, договорившись с шофером заплатить 550 рублей. Меня с дочкой посадили к нему в кабину и поставили в ноги самое драгоценное — корзинку с коробками сухого американского молочного порошка, детскими кашами, со специальными бутылочками с сосками и пеленками. Когда мы ехали, бутылочки позвякивали, и шофер, видимо, решил, что это бутылки с вином или водкой.

На вокзале начали выгружать вещи, мне велели не выходить из кабины на мороз. Закончив разгрузку, к кабине подошел Александр Николаевич, держа в руках обещанные шоферу 550 рублей. Мне помогли спуститься с высокого сиденья наружу, и Александр Николаевич протянул деньги водителю. Но тот неожиданно захлопнул дверь, нажал на газ и мгновенно исчез во тьме, увозя корзинку!»

Кормить грудного ребенка оказалось нечем. Вертинские впали в отчаяние, Александр Николаевич послал десять телеграмм на ближайшие станции с просьбой вынести бутылку молока для ребенка. Никто на станциях с молоком к поезду не выходил; купить молоко было можно, но только обменяв на пустую бутылку. Это был дефицит!

И вот на очередной станции Вертинский решительно вышел на перрон.

«Мы с мамой и дочкой наблюдали за ним из окна, — пишет

Лидия Владимировна. — Александр Николаевич подошел к продававшей в бутылках молоко женщине, сунул ей 400 рублей, вырвал бутылку и побежал к поезду! Растрепанный, огромный, он бежал, прижимая бутылку к сердцу. Прыгнул на подножку нагона, и поезд тут же тронулся. Весь перрон, все бабы-молочницы кричали в один голос: «Держи-и вора, держи-и!».

Вот так и голодный ребенок был накормлен, и бутылка на обмен нашлась. И все это произошло в первые же дни в стране, где люди «как чистые, наивные дети! Они даже слово «украсть» не знают»…

Слишком резкая психологическая перестройка на коротком отрезке железнодорожного пути!.. Она не просто давалась тем, кто должен был приготовить себя к новой жизни в повой стране. Шок девочек Бородиных при виде мирно спящего на перроне пьяного — это ведь совсем не только анекдот, по и перелом в неокрепшем детском сознании, которому предстояло развиваться и формироваться в других, непривычных условиях.

И не этими ли смешанными, сложными, разнородными чувствами отчасти продиктовано стихотворение Лидии Хаиндровой «Мечта», написанное незадолго до возвращения поэтессы в Россию?

Не в первый рал поверили мы слепо В твою любовь, в объятия твои. Мы падаем! Как больно падать с неба: Не только руки, — и душа в крови! Да, мы в плену. Но жаворонком в поле Душа взвилась и новое ноег: Для тех, кто крылья вырастил в неволе. Падение бывает как полет.

Ощущение полета — в самом широком смысле этого понятия! — оставалось. В нем сходились счастье и ужас парения над землей, ожидание смертельного падения и все более и более призрачная надежда на плавное приземление, чувство расправленных крыльев и страх того, что их непременно обрежут — грубо, жестоко и несправедливо…

Пересекая границу, отсекали от себя прежнюю жизнь.

Старшее поколение — сразу две прежние жизни: ту, что когда-то была в России и памятью о которой жили десятилетиями, и ту, что была в Китае и уже казалась привычной, своей, устоявшейся.

Но события, происходившие в Китае, победа демократии и приход к власти Мао Цзэдуна, заставляли их, подобно листьям, подхваченным ветром, нестись куда-то дальше, дальше. Ветер истории вновь подхватил тех же самых людей и их детей, внуков, чтобы вновь испытать на прочность.

В мемуарной книге Наталии Ильиной «Дороги» есть небольшой эпизод, связанный с шанхайской газетой «Новая

жизнь» и ее редактором журналистом Николаем Петерецем. Он умер рано, не дожив до сорока лет и так и не дождавшись встречи с Родиной. Одинокий и слабый человек, Петерец в 1920-е годы относился к Советской власти резко отрицательно, а в 1930-е отношение его изменилось; погрузившись в изучение классиков марксизма-ленинизма, он искренне поверил в то, что «капитализм обречен, должен исчезнуть, а с ним исчезнут эксплуататоры, и крупные акулы, и мелкие гады… И главное знал Петерец: социализм не утопия, не мечта человечества, а реальность. Социализм есть, существует, победил!» И потому столь сильна была его тяга в страну победившего социализма, воспринимавшуюся как земля обетованная.

Но, как пишет Наталия Ильина, таких фанатов было в середине 1930-х годов совсем немного: «Люди просто хотели домой. Давно хотели, но — боялись».

Однако желание вернуться туда, где были исторические и психологические корни, где все неизвестное, новое все равно взросло на старом, знакомом, дорогом, заглушало страх. Люди читали советские книги, смотрели художественные и документальные фильмы, слушали песни и — верили, верили, что все так и есть на самом деле.

А если и не до конца верили, убеждали себя в том, что на родной земле будет значительно проще хотя бы от одного ощущения своей кровной связи. Не будет постыдного ощущения «беспаспортности», не будет чувства колониального бытия (уже невозможного в стране победившей революции!), не будет ностальгии — слишком тяжелой, неизлечимой болезни…

А. Пушкарева, главный специалист Государственного архива общественно-политической документации Курганской области, обнаружила в архивах документы, свидетельствующие о настроении переселенцев, прибывших из Китая на целинные земли.

В 1954–1955 годах в Курганскую область прибыло 565 семей. Значительную часть переселенцев составляли инженерно-технические работники, которым в сельской местности делать было решительно нечего; почти сразу после прибытия сюда они начинали искать возможности перебраться в города. Связывались с родственниками и знакомыми по почте, не думая о том, что письма тщательно просматриваются и из них делаются выписки для архива КГБ…

«Сюда мы поехали потому, что поверили агитации, что хорошая жизнь, а на самом деле здесь ужас, одно горе, собачья жизнь. Если бы нас отпустили обратно, то мы не остались бы ни одного часа здесь».

«…если бы можно было обратно, то я убежала бы в Китай бегом и раздетая, так вот как нас встретила мать-Родина».

«Муки у нас ни за какие деньги не купишь… вообще у нас сейчас еда — хлеб да вода, вот все наше питание».

«…хлеб вообще не едим, а если и едим и то раз в неделю».

«Как Вам известно, мы попали в совхоз и там думали, что сдохнем с голоду».

«Все похудели, отец на себя не похож, не наедается. Он любит мясное, а его нет… Хлеб жуткий, сырой и темный».

«…живем не одни, толпимся, как в курятнике».

«Здесь женщины плохо выглядят, все худые, бледные… Ездила недавно на кладбище, какое убогое, нищих много сидит около ворот, поют молитвы, отпевают покойников. Очереди очень надоедают, за всем стоят, да еще ругаются, даже дерутся…»

«…вообще здесь дома плохие, покосившиеся, так что видна разруха. На бумаге одно, а в действительности — другое».

«Я страшно похудела и поседела, плачу каждый день и скучаю, просто нет моих сил все это пережить…»

«Кабы не Колька (сын. — Н. С.), я бы давно покончила с собой».

Родственников и близких знакомых, остававшихся еще в Китае, предупреждали: ни в коем случае не приезжайте сюда!..

Да, шок от столкновения с новой жизнью был слишком сильным. Конечно, надо отдать справедливость местным властям — они пытались что-то делать, организовывали мастерские для трудоустройства приезжих, старались помочь репатриантам наладить быт, но этого было мало. К тому же «сверху» партийных работников призывали не столько улучшать бытовые условия, сколько вести массово-политическую работу среди граждан, прибывших из Китая.

Репатриантам не доверяли. «В повседневной жизни они продолжали подвергаться явной или завуалированной дискриминации, — пишет А. Пушкарева, — в частности, при выдвижении на руководящие должности, при приеме в партию и комсомол, при поступлении в высшие учебные заведения и др.

Пламенные призывы «Родина вас зовет — Родина вас ждет — Родина вам все прощает» оказались ловушкой для многих семей, поверивших в то, что дома их ждут. Но только дома их ждали

разве что в качестве дешевой рабочей силы. Жизнь в Китае, на чужбине, теперь многие вспоминали с ностальгией. Там они были хоть и чужие, но свободные. Хлеб Родины оказался горек. Возвращение для иных обернулось тюремным заключением, ссылкой. Родина не прощала ничего и прошлого никогда не забывала. Отдели с подозрением на тех, кто много лет жил по-другому и в другой стране».

Да, предстояло пройти тяжелейшую адаптацию прежде, чем ощутишь себя дома, среди своих. Надо было принять совершенно новые условия жизни, надо было осознать свою нужность здесь, на незнакомой и, в сущности, чужой земле; надо было, по словам Г. Литвипцева, «кровно соединить… свою долю с общей судьбой, не остаться навсегда посторонними. Тогда только могло состояться настоящее возвращение, обретение Родины. А давалось это не просто…»

Владимир Иванович Никонов, сын богатого купца, Добровольцем пошел в белую армию. С отступавшими отрядами попал в Китай. Здесь он перепробовал множество занятий: работал в филиалах крупных европейских фирм, завел собственную закусочную, трудился в русских эмигрантских общественных организациях, таких, как «Русский эмигрантский комитет», «Русское общественное собрание», заведовал библиотекой «Русское дело» генерала Н. М. Щербакова в Шанхае, руководил театральной секцией «Союз русской молодежи»… В 1947 году вернулся на Родину, попал в Курган, где не нашлось для Никонова лучшего дела, чем кладовщик городского пищекомбината. Но и на этой более чем скромной должности Владимир Иванович доверия не вызывал — в 1950 году он был арестован — его обвинили в том, что он член контрреволюционной белогвардейской организации…

«Почему родители поехали в Советский Союз, а не отправились из Китая, как многие «русские шанхайцы», в Австралию или Америку? — задается вопросом Мария Бородина полвека спустя. — Этот вопрос мы никогда не задавали, когда были живы родители. Теперь ответ можно найти только в самих фактах их жизни. Отец прожил большую часть жизни, не имея никакого гражданства, что было, наверное, в этом мире нелегко. Когда после 2-ой мировой войны возникла возможность принять советское гражданство и восстановить связь с родиной, отец не мог от нее отказаться. Но в Советском Союзе родители никогда не жили, возвращение было не в государство, о котором они мало что знали, а в страну, на языке и культуре которой они были воспитаны и воспитывали своих детей».

Чтобы вернуться в пространство своего языка и своей

культуры, приходилось пройти через многие испытания.

Испытания, выпавшие на долю семьи Бородиных, не сравнить с опытом тех, кто прошел сталинские лагеря. Но и они были острыми, драматичными и по-своему горькими. С одной стороны, кому-то может показаться: ничего нет страшного в том, что, приехав в Чимкент, Бородины поселились у друзей. «Рядом — глухая глинобитная стена, перед ней арык с мутно поблескивающей водой, глубокая и нежная, как пудра, пыль, — вспоминает Мария Бородина в очерке «Возвращение». — Стена окружала огромный пустынный двор местного театра оперетты… Маленькая полутемная комната, в которую нас поместили, кажется мне заколдованной избушкой. Все здесь так таинственно и странно, даже спать кладут по-особому — «валетом». Через двор — вход в другой фантастический мир, мир опереточного театра».

Действительно, ничего трагичного в этом нет: в тесноте, как известно, не в обиде, пыль нежна, словно пудра, а совсем рядом, по соседству, волшебная страна театра. Но ведь это — не привычный, обжитой мир, это первая пристань после станции Отпор, навсегда отрезавшей от дома-особняка, где все ощущают себя уютно, где есть потаенные уголки, чтобы насладиться одиночеством, где есть простор для игр.

Потом был куплен деревянный двухэтажный дом под Москвой, в Пушкине (зимний, теплый первый этаж, летний, неотапливаемый второй), жизнь начала кое-как налаживаться, нередко приходилось расставаться с привезенными из Шанхая коллекциями японского и китайского фарфора, предметами утвари, но не это оказалось главным. Каково было Владимиру Александровичу, выйдя на пенсию, делать технические переводы под именем соседа, потому что пенсионерам запрещено было зарабатывать интеллектуальным трудом? Оказалось, что он теперь не имеет права делать то, чем занимался всю жизнь, и честно зарабатывать свой хлеб.

Подобные драмы тоже были хорошо знакомы вернувшимся из Китая на Родину.

Виктор Смольников, известный врач-анестезиолог, автор книги «Простой эфирный наркоз», приехав на целину, стал работать столяром в совхозе, затем устроился на должность сельского врача в Новосибирской области и только несколько лет спустя получил приглашение в Москву в НИИ грудной хирургии Академии наук СССР. Свою книгу «Записки шанхайского врача» Смольников не мог издать на протяжении долгого времени, ни в 1970-х, ни в 1980-х годах, — в советских издательствах ее находили «аполитичной»…

Вынужденные отказаться от своей профессии, от тех знаний и

умений, что могли и должны были помочь наконец-то обретенной Родине в ее возрождении и процветании, люди старались приносить пользу там, где не нужно было ни особенных знаний, ни мастерского умения. И это тоже было страшно, потому что цвет русской интеллигенции, вернувшись домой, переставал быть для окружающих этим цветом. Разумеется, не без исключений. Разумеется, не по большому счету.

Но жизнь устроена так, что «большой счет» — понятие довольно абстрактное, реальность же состоит из цепочки маленьких, мелких счетов…

Вряд ли среди тех, кто возвращался на Родину, были неразочаровавшиеся в первые же дни, месяцы, годы. И здесь нас не должны обмануть первые восторженные отзывы о Советском Союзе, в частности, в книге Наталии Ильиной, где она приводит свои письма к матери в Шанхай, — если читать внимательно, можно в них увидеть и иронию, и горечь, незамеченные, к сожалению, многими из разделивших участь писательницы: по сей день кое-кто склонен называть «Судьбы» и «Дороги» советскими «агитками», лживыми сочинениями, но это совсем не так. Конечно, не обошлось без некоторых уступок цензуре, сыграла свою роль и привычка к иносказательности и умолчаниям. Но было бы глубоким заблуждением не верить романтическому пафосу устремлений Наталии Иосифовны, считая его лживым.

Наталия Иосифовна Ильина принадлежала к тому поколению, которое, в отличие от нынешнего, было воспитано в соответствии с определенным нравственным кодексом. Окружавшие писательницу люди хорошо умели скрывать свои чувства — кто во имя детей, кто из страха доноса, кто просто из замкнутости, воспитанной многолетней жизнью на чужбине. Но они были самыми обыкновенными русскими интеллигентами и испытывали острое чувство вины перед Родиной, которая обходилась без них в самые трудные годы — в совсем недавние годы Второй мировой войны.

Лидия Владимировна Вертинская рассказывает историю семьи своего крестного отца Владимира Михайловича Карселадзе, занимавшего в правлении КВЖД почетную должность. Его сын Леонид, инженер по строительству мостов, «полный патриотизма и энтузиазма» уехал с женой в СССР в 1936 году, а спустя год, в 1937-м, они исчезли бесследно в кровавой мясорубке. Но в Харбине об этом не знали, и старший Карселадзе с семьей собрался в Грузию. Вскоре и Владимир Михайлович, и его дочь Варя были арестованы. Варя попала на лесоповал.

«Она была ярой патриоткой и, чтобы доказать свою

«невиновность», лояльность к советской власти, работала с исступлением, постоянно выполняла, даже перевыполняла дневную норму. Женщины, трудившиеся с ней, умоляли Варю так не работать, потому что ее ставили в пример, требуя от остальных заключенных равняться на нее. Однажды огромное дерево, падая, задело Варю, ударило по голове. Она месяц пролежала в бараке на нарах.

Через десять лет Варю выпустили из ГУЛАГа, вскоре у нее начались сильные головные боли. Из Батуми, где она жила с матерью и сестрой Тамарой, Варя приехала к нам в Москву… Моя мама повезла ее в клинику имени Н. Н. Бурденко. После обследования маме сообщили, что у Вари опухоль в коре головного мозга. Объяснили, что удалить ее невозможно, опухоль будет увеличиваться, наступит слепота, затем — потеря разума, и длиться этот процесс может много лет. Так и произошло…»

Даже в нечеловеческих условиях лагеря эта женщина не переставала верить в «недоразумение», оставаясь «ярой патриоткой». И такой была не только она, потому что весь опыт предшествующей жизни, воспитание личности основывались на восхищении Родиной и страстном желании отдать ей все, включая собственную жизнь…

Эти черты обострялись, усугублялись чувством вины перед страной, вынужденной принять на себя весь непосильный груз войны.

Равнодушно брожу по чужим городам,
Вечный странник без дома и связей,
Но в изгнанье запомнится слово — Аньда —
Этот русский пустынный оазис.
Поезд мчится в степи.
Здесь куста не сыскать,
В этих желтых маньчжурских равнинах.
Тихой грустью внезапно пахнула опять
На перроне родная картина:
Русский стрелочник с выцветшим, серым флажком,
Русский смазчик, бредущий с развальцей,
И с околышком красным, с блестящим жезлом,
Вышел к поезду русский начальник.
На вокзале встречает нас русская речь,
Улыбаются русские лица,
Белокурый парнишка с лозою стеречь
Гонит в травы послушную птицу.
Точно в русской деревне, коровы бредут,
У ворот их хозяйки встречают,

И в любом из домов здесь пришельца зовут
К бесконечному русскому чаю.
В деревенской церковке к вечерне звонят,
Тихой грустью на улицах веет.
Да откуда-то отзвуки песни летят.
Растревожить молчанья не смея…
Ночь. В окошках мелькают вдали огоньки,
Жаркий ветер по улицам рыщет,
Из маньчжурской пустыни наносит пески
Он к могилам на русском кладбище.
Заметает с шуршанием желтый песок
Зелень, улицы, рельсы стальные;
В жарком саване пыльном заснул уголок
Прежней, грустной, любимой России.

Это стихотворение принадлежит Григорию Сатовскому-младшему, поэту, родившемуся и умершему в Харбине. Младший брат популярного на Дальнем Востоке публициста Д. Сатовского, Григорий Григорьевич широкой известности не получил и, хотя из-за популярности брата взял псевдоним Г. Ржевский, выпустил всего один сборник стихов. Одно время Сатовский-младший примыкал к «Чураевке», хорошо знавшие его утверждали, что он был фанатичным поклонником поэзии Б. Поплавского, но заметного влияния его в стихах Сатовского не обнаруживается.

Для нас же важно иное.

Человек, никогда не видевший России, знавший ее по книгам, рассказам, позже фильмам и песням, Григорий Сатовский в своем стихотворении запечатлел ностальгию по корневому дому; выразил в поэтической форме то, о чем писала Наталия Ильина: «Люди просто хотели домой», не особенно задумываясь, что их там ждет.

Сатовский не был репрессирован, но и нет каких бы то ни было сведений о том, что он собирался уехать в Советский Союз. Григорий Григорьевич умер в Китае в 1956 году в возрасте сорока семи лет, словно уместив свою жизнь в эпоху «русского» Китая.

И это тоже не вымышленная драма. Драма человека, которому был положен свой удел — почивать «в фигурных китайских гробах», как писал в стихотворении, посвященном Екатерине Дмитриевне Воейковой, Вс. Иванов, так и не увидев, не узнав страны, которая вошла в плоть и кровь вместе с великим своим языком и великой своей культурой…

Вспомним снова Наталию Ильину — с каким восторгом повторяла она незнакомой старушке на полустанке: «Русские мы,

русские», — словно пробуя на вкус это слово, впервые, может быть, произнося его с гордостью человека, обретшего после долгих-долгих скитаний свою землю, свой язык, свою культуру.

И это настроение, это состояние для многих из возвращавшихся были куда важнее и первых разочарований, и первых столкновений мечты и реальности, потому что все они твердо знали одно: они вернулись домой, их деги и внуки будут равноправными в той стране, откуда некогда уезжали по собственной воле, не думая, что это — навсегда, или были изгнаны их прадеды, деды, отцы. Все грехи и вины давно забыты, отмолены, прощены — впереди новая жизнь в новой стране, и теперь навсегда.

Прожив в Советском Союзе уже двенадцать лет и исколесив страну вдоль и поперек с концертами и съемочными группами, Александр Николаевич Вертинский писал жене: «…Чем больше я езжу, тем больше убеждаюсь в одном. Совершенно необъятна, неохватима умственным взором, никому не известна наша Страна! Сколько у нас чего, никто не знает! Что-то не поддающееся учету! Ум не вмещает ни ее размеров, ни ее богатств, ни ее возможностей! Раньше я как-то не думал об этом, а сейчас потрясен ее богатством, ее размерами, ее величием! Города, выросшие на пустырях и болотах, заводы, фабрики… Тысячи труб, дым, копоть, огонь. Все горит, все дрожит, все кипит… всюду нефть, всюду каменный уголь, руда, уран, гелий, что угодно, и все это работает на полную сверхчеловеческую нагрузку, все не останавливается ни на одну минуту, ни днем, ни ночью! Воистину наивны и глупы те, кто думает, что такую страну можно покорить или зажать под ноготь…

Все это было всегда, но дремало, не разрабатывалось при старом режиме, а теперь все это гудит, дрожит и стучит, работая в полную меру. В полную и сверхполную нагрузку! Страшные силы пробудили к жизни большевики! И никак нельзя ими не восхищаться! Во что превратилась старая Россия, времен Щедрина, Гоголя? В могучую индустриальную Державу — с которой никто и никогда не сможет конкурировать! Эта Страна — дымит миллионами труб заводов и фабрик, которых даже счесть невозможно! И все это партия! Это она вытянула наш народ из мировой войны, сделав его победителем и спасителем всего цивилизованного мира, это она выводит теперь нашу Страну на первое место! Здорово! Ничего не скажешь.

Не думай, Пекочка, что я говорю это в припадке патриотизма. Нет. Я потрясен тем, что вижу и видел за эти 10 лет! Какие успехи! Какие достижения! Надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Не удивительно, что все эти «делегации», которым

показывают только одну стотысячную часть наших успехов — уезжают очарованные и покоренные из нашей страны и чуть не лишаются дара речи при осмотре ее!

Трудно даже представить себе ее будущее. Вот почему надо воспитывать детей в духе ее величия, и я глубоко уверен, что они — дети, увидят ее в таком расцвете, о котором никто даже мечтать не смеет. А нас уже не будет. И смешны, и глупы наши ворчания и недовольства бытом сейчас, когда куется новый быт и новые формы жизни. Мы ничего не знаем о нашей стране, и какой-нибудь любознательный Неру — сделает более правильные выводы из своей молниеносной поездки по ней, чем мы, живущие в ней и ворчащие на нее!..

…Вся страна напряженно и тяжело дышит своей могучей грудью, поднимая непомерную тяжесть, сдвигая с места вековые камни прошлого и расчищая дорогу к будущему коммунизму! Колоссально!

А мы ничего о ней не знаем и сердимся на трудности быта… Работай, работай — все работают! Страна «удит, как улей, наполненный пчелами! Значит, так нужно. Я часто вспоминаю, как в Лондоне сказала машинистка какому-то нашему человеку, который просил ее напечатать что-то после офисного времени:

«Я работаю, чтобы жить, а вы — живете, чтоб работать!»

Ну что ж, это неплохой комплимент нам, советским людям!»

Поразительное письмо!..

Можно, конечно, снисходительно улыбнуться и подумать: «Ах, Александр Николаевич! Легко возбудимая творческая натура! Наслушался агиток и едва не до слез умиляется, видя труд сталеваров и прокатчиков на заводе!..» Но это будет и неверно, и несправедливо.

Александр Николаевич Вертинский был патриотом в самом возвышенном понимании этого слова. В том, которое ныне почти совсем утрачено, видоизменено. Он пел всю жизнь свои пленительные «ариетки» исключительно на русском языке, понимая, что невозможно передать на любом чужом, даже очень хорошо выученном, неповторимую русскую интонацию, ту атмосферу, в которой эти песни родились и звучали, как нельзя передать на другом языке жест, игру слов и понятий (Вертинский не раз сам признавался в этом). Куда бы ни забрасывала его эмигрантская судьба, Александр Николаевич оставался абсолютно русским по духу, по своему творчеству, по своим личностным устремлениям, ни в чем и никогда себе не изменяя.

Когда Вертинские вернулись на Родину, они несколько лет жили в московской гостинице «Метрополь». Там было

комфортабельно, уютно, но все же гостиница настоящим домом стать не может. Вертинскому, человеку на шестом десятке, была определена концертная норма: 24 концерта в месяц, по всей стране, от Владивостока до Калининграда. В изнуряющую жару, когда белый фрак становился серым после второго же концерта, и в жестокую стужу, когда в нетопленых залах люди сидели в пальто, он, неизменно элегантный, пел, стоя перед ними на подмостках во фраке и белоснежной манишке, и дыхание перехватывало от холода. Постоянная забота о деньгах (а с гонорарами частенько обманывали!), попытка дать еще несколько «левых» концертов, за которые грозили «суды чести», выселения из номера гостиницы в связи с тем, что в город прибыли участники партийной конференции, невозможность достать во многих городах самые элементарные продукты, раскаленные от жары вагоны поездов, ледяные номера гостиниц — все это мгновенно забывалось, когда Александр Николаевич ощущал величие своей Родины и собственную причастность к ее истории, к ее культуре.

И это было глубокое искреннее чувство, сродни, пожалуй, религиозному — Вертинский, как натура творческая, нервная, испытывал своего рода экстаз, когда бытовые мелочи заслонялись для него осмыслением судьбы своей страны и себя как части этой судьбы.

В очерке «В родном доме» Вертинский писал: «Вот я, например, прожил за границей 25 лет. Я жил лучше многих и прилично зарабатывал. В моих гастрольных поездках по белому свету я останавливался в первоклассных отелях, например, в «Валдорф-Астории» в Нью-Йорке, спал на мягких постелях, окруженный максимальным комфортом. И все 25 лет мне снился один и тот же сон.

Мне снилось, что я наконец возвращаюсь домой и укладываюсь спать на… старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня! Наконец я дома! Вот что всегда значила для меня Родина. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине…»

Здесь, в Китае, на Востоке, где не смешивались, как в Европе, устои того, что зовется повседневной жизнью, особенно трепетно оберегалось свое, исконное.

В частности, о своей жизни в Китае, на станции Имяньпо, о своем детстве вспоминает и Леонид Кожевников:

«…В праздничные дни организовывались вечера с маскарадами, танцами, весельем. Звучали вальсы, польки, а десятилетние кавалеры, аккуратненько взяв за пальчики своих избранниц-партнерш, летели, расправив руки, как крылья, под

звуки музыки… Ставились школьные спектакли, роли в которых исполняли учащиеся. Навсегда остались в душе незабываемое волнение перед спектаклем и чувство детского восторга после исполненной роли. Прекрасная школьная жизнь: звонкий смех, игры на переменах в школьном саду и неизменная лапта после уроков.

Трепетное чувство при входе в алтарь, облачение после благословения священником в стихарь перед богослужением. Чудные святые дни Рождества Христова, когда детей одаривают подарками и сладостями. Рождественские елки в школе, дома и у друзей. Говение, исповедь и причастие. Пасхальные куличи и крашение яичек. Колокольный звон и христосование…»

Имяньпо был поселком, одной из крупных станций КВЖД, разделенным железнодорожными путями на две части: железнодорожный и частноторговый. В северной части, застроенной в основном административными зданиями и жилыми домами, располагались вокзал, советская школа и частная гимназия, где учились дети эмигрантов. Напротив здания советской школы стояла православная церковь. Сразу за церковью начинался парк, где по вечерам играл духовой оркестр.

Имяньпо считался курортом. Именно сюда 14 июня 1923 года по случаю 25-летнего юбилея Харбина привозили высоких гостей.

В торговой части поселка находились магазины Ракитиных, Гущиных, а рядом с ними — китайские лавочки, в которых можно было купить всякую всячину, фотография, аптека Климовых, ресторан. Жилые дома в этой части, как правило, были окружены фруктовыми садами, а сразу за поселком начинались поля, засеянные чумизой, кукурузой, гаоляном.

Дети эмигрантов, по воспоминаниям Леонида Кожевникова, большую часть летнего времени проводили на территории церкви: «Там в беседках и на установленных столах организовывались кружки по вышиванию, выпиливанию, рисованию, аппликации». Здесь же собирались и скауты, а неподалеку от эмигрантской гимназии на большой поляне, оборудованной под стадион, проходили межнациональные спортивные соревнования, в которых участвовали не только русские, но и китайцы, корейцы, японцы…

Ирина Петровна Иванова (Захарова), живущая теперь в США, пишет, что, когда она училась в 1934–1935 годах в этой гимназии, там было около ста учеников. «Большинство из нас состояли в организации Русских Скаутов, в которой был девиз: «Будь готов! Всегда готов!» — «За Веру, Царя и Отечество!» Нам внушалась вера в Бога, уважение к правительству и, если надо — идти на защиту своего народа, который мы так же любили, как пионеры и

комсомольцы в России. Мы все любили ту же землю, тот же народ. Хотя мы и не знали России, но мы были русские дети.

Скаут мог вечером развязать узелок на своем галстуке только в том случае, если сегодня он сделал доброе дело, например, помог старикам донести что-либо или помог раненому животному…

Шестого мая у нас всегда был парад в церковной ограде в честь небесного покровителя Георгия Победоносца. 24 июля — день Святой Ольги, покровительницы девочек — тоже парад. На парадах надевали ленточки, галстуки — что кому было положено. Были веселые походы, беседы у костра…

На Великую неделю поста скауты несли почетный караул около Плащаницы, а в Заутреню устраивали красивые факелы вокруг церкви, когда ходили с крестным ходом.

Все было, все ушло…»

Как причудливо смешивались обычаи старой страны и доходящие до Китая приметы новой Советской России! Любовь к земле и народу воспитывалась в детях через любовь к Богу (и это в середине 1930-х годов, когда на их родине взрывали храмы, убивали священников, расстреливали «врагов народа» целыми семьями!), девизы «Будь готов! Всегда готов!» и «За Веру, Царя и Отечество!» существовали рядом, неразрывно, а скауты несли почетный караул у Плащаницы…

Как бы ни были изолированы обитатели «русского» Китая от своей Родины, какими бы глухими и невнятными ни были доходящие сюда слухи, — то, что происходило в новой России, по-своему завораживало: хотелось приобщиться к тому хорошему, что виделось с дистанции в равноправии всех, в организованном, хотя и политизированном досуге детей, в тех широких созидательных возможностях, которые открывались не только перед молодыми. И очень хотелось верить в то, что Родина распахнет свои материнские объятия перед каждым, кто решит вернуться для новой жизни…

Тем более что за годы и десятилетия жизни в Китае они научились не брезговать никакой, даже самой тяжелой работой и умели делать ее добросовестно и честно.

Впрочем, как мы уже говорили, почти никогда не находилась для возвращавшихся та работа, которую они умели делать. Приходилось осваивать новые «профессии».

Ираида Петровна Коваленко, родившаяся в Харбине в семье сотрудника главной конторы И. Чурина, вспоминает, как в 1954 году уезжала на целину. Китайская администрация провожала каждую группу отъезжавших тепло, трогательно, устраивала угощение на память. А потом семья Коваленко оказалась в

совхозе имени Сталина Илекского района Чкаловской области (ныне — Оренбургская область).

«На первых порах было трудно с малыми детьми. Временно нас разместили в дома жителей совхоза. Утром нам показали недостроенные финские и саманные домики, которые готовились для приезжих. В этот же день, выкинув стружки и строительные отходы из домов еще без окон и дверей, с радостью, без страха и упрека перебрались в них. Наверное, руководству совхоза трудно было нас, городских неумех, назначать на сельские работы, нам предложили достраивать домики, готовить саман.

«Цоб-цобе», — командовали мы тогда быками, возя на них воду для изготовления самана, чтобы достраивать свое жилье, но паши способности не были столь полезными, как мы ни старались. Вскоре администрация совхоза предложила нам съездить в г. Чкалов с условием — если мы устроимся на работу и привезем справку, тогда будет возможность нашего переезда в город.

По первому же объявлению, где требовался кассир в бухгалтерию Дорожной клинической больницы, я оформила документы — и мы переехали».

Вспомним Виктора Смольникова, «шанхайского врача», вынужденного поначалу работать столяром в совхозе; вспомним Владимира Александровича Бородина, который, выйдя на пенсию, был лишен возможности делать то, что привык делать всю жизнь.

Вот это ощущение своей ненужности, неумения делать то дело, которое тебе дают, и невозможности приносить реальную пользу там, где можешь и умеешь лучше многих других, — иссушало душу и лишало тех последних иллюзий, которые еще вопреки самой действительности продолжали все-таки жить в этих людях…

Но, видимо, так уж устроен человек, что расставание с иллюзиями не всегда становится жизненным крахом, а зачастую является стимулом для внутренней перестройки.

Да, все складывалось по-иному, но все же складывалось, как-то постепенно устанавливалось, да и любые сравнения остры и болезненны лишь в первое время, постепенно они сглаживаются, становятся привычными. Особенно — для молодого поколения, которое после радостного (или даже не слишком радостного) детства и самой ранней юности начинало строить свою жизнь в своей стране. Приноравливаясь, привыкая, усваивая новые для себя общественные нормы, но в глубине души оставаясь верным старым, в которых родилось и воспитывалось.

Несмотря на то, что вокруг бурлила совершенно другая

жизнь.

«В стенах дома необходим был прежний, знакомый мир, — пишет Мария Бородина в очерке «Возвращение». — На окна повесили плотные шторы с вытканными шелком драконами. На первом этаже устроили гостиную и столовую, расставили китайскую резную мебель и по-европейски удобные глубокие кожаные кресла и диван…

Первый Новый год в нашем подмосковном бревенчатом доме. К высокой до потолка елке выходит мама — длинное бархатное платье со шлейфом, черные до локтя перчатки, мерцающий жемчуг в ушах и вокруг шеи. Она прекрасна и никуда от нас не уезжает. Когда она проходила такой нарядной мимо дверей нашей детской в шанхайском доме, это означало, что отец ее куда-то увозит и она не будет целовать нас и укутывать одеялом перед сном. Но сейчас мама так царственно красива только для нас… Папа в мягком тепло-коричнепом костюме, пестром по шанхайской моде галстуке раздает нам записочки-загадки, по ним мы должны найти свои подарки…

На Пасху всех удивляет бабушка. Накануне несколько дней она сосредоточенно хлопотлива, но не для нас — для праздника. В четверг она усаживает нас за большой стол на кухне, перед каждым ставится банка с красящим раствором. И начинаются превращения. Из банок вместо белых нелюбимых вареных яиц появляются на ложке «малиновые, зеленые, желтые, синие, красные пасхальные яички. С каплей растительного масла в банке превращения нарастают: из красной банки яичко в желтую, потом в синюю, и мраморные замысловатые узоры покрывают продолговатое теплое тельце в скорлупе. В пятницу на сервантах высятся полуметровые куличи и совсем маленькие куличики, облитые сахарной глазурью. В холодной передней на полке деревянные конические формы наполнены особым творожным созданием — пасхой. Все затихает, переходя в следующий день. Вечером бабушка уходит к заутрене. И в воскресенье, после всех своих трудов она — самая светлая, самая душистая, в цветном шелковом платье, яркая, как пасхальное яичко».

Может быть, эта богатая и прекрасная духовная жизнь дома Бородиных, не противостоящая нарочито окружающей реальности, но и не подчиняющаяся ей, и создала ту атмосферу, в которой выросли талантливые, разносторонние люди: театральный режиссер Алексей Бородин, художник-дизайнер Татьяна Загорская, писательница Мария Бородина…

И когда всматриваешься в фотографии, видишь красивые, как принято говорить, «породистые» лица бабушки Натальи Николаевны, родителей Зинаиды Яковлевны и Владимира

Александровича, угадываешь их черты в детях, внуках и правнуках, — проникаешься удивительным чувством к людям, которые выстояли, которые смогли отделить главное от второстепенного в самом этом понятии «возвращение на Родину», понимаешь нечто очень важное.

Да, «хруст ломаемой жизни» был сильным, но еще сильнее оказалось умение сложить из осколков новую жизнь для будущих поколений. Этот непосильный труд был, пожалуй, сродни работе сказочного мальчика Кая, который по повелению Снежной королевы должен был сложить из осколков льда слово «вечность».

Их «вечность» складывалась по ту сторону станции Отпор, а потому им было еще сложнее: надо было довезти, сохранить в своей душе эти малые осколки, не дать им растаять от горького разочарования долгожданной встречи.

Первые годы и даже десятилетия репатрианты старались держаться друг за друга. По свидетельству Геннадия Литвинцева, «соблюдали обычаи, жениться предпочитали на своих, знались, наезжали в гости. Но уже их дети стали забывать прежнее землячество и родство, пообтерлись и стали вполне советскими. По отцу могу судить, как менялись со временем взгляды и настроения. «Там жить было свободнее и интереснее, а здесь легче, спокойней», — говорил он под старость. В семидесятые годы его как-то разыскал и навестил двоюродный брат из Австралии, тоже бывший харбинец. Спустя двадцать лет им уже трудно было понять друг друга. Их сняли со льдины, называвшейся русской Маньчжурией, и развезли на разные континенты. А сама льдина растаяла…»

Да, льдина растаяла окончательно, и те, кто прожил на ней долго или не слишком долго, оказывались порой невероятно далеко друг от друга — в разных концах планеты. И даже если судьба сводила их снова через десятилетия, как Наталию и Ольгу Ильиных, братьев Литвинцевых, Зинаиду Яковлевну Бородину с ее сестрой, уехавшей с мужем в Шотландию, — понимать друг друга им становилось все труднее, потому что они теперь жили в разных мирах.

Валерий Францевич Перелешин в Россию так и не вернулся. После первой неудачной попытки эмигрировать в конце 1940-х годов в США, откуда он был выдворен в Китай, в 1952 году он предпринял вторую попытку и через Тяньцзинь и Гонконг добрался до Рио-де-Жанейро, где и прожил до конца дней. Но одно из его стихотворений, датированное 1947 годом, представляется очень знаменательным, когда мы пытаемся подвести итог нашему разговору о «русском» Китае.

Оно называется «Заблудившийся аргонавт»:
Мне в подарок приносит время
Столько книг, и мыслей, и встреч,
Но еще легковесно бремя
Для моих неуставших плеч.
Я широк, как морское лоно:
Все объемля и все любя,
Все заветы и все знамена.
Целый мир вбираю в себя.
Но, когда бы ведать, что с детства
Я Китаю был обручен,
Что для этого и наследства,
И семьи, и дома лишен, —
Я б родился в городе южном —
В Баошане или Чэнду,
В именитом, степенном, дружном.
Многодетном старом роду.
Мне мой дед, бакалавр ученый,
Дал бы имя «Свирель Луны»,
Или строже: «Утес дракона»,
Или тише: «Луч тишины».
Под горячим солнцем смуглея,
Потемнело б мое лицо,
И серебряное на шее
Все рельефней было б кольцо.
И, как рыбки в узких бассейнах
Под шатрами ярких кустов,
Я бы вырос в сетях затейных
Иероглифов и стихов.
Лет пятнадцати, вероятно,
По священной воле отца,
Я б женился на неопрятной,
На богатой дочке купца.
Так, не зная, что мир мой тесен,
Я старел бы, важен и сыт,
Без раздумчивых русских песен.
От которых сердце горит.
А теперь, словно голос долга.
Голос дома поет во мне,
Если вольное слово «Волга»
По эфирной плывет волне.
Оттого, что при всей нагрузке
Вер, девизов, стягов и правд,
Я — до костного мозга русский

Заблудившийся аргонавт.

Все они и были, в сущности, «заблудившимися аргонавтами» — и те, кто вернулся, и те, кто, подобно Валерию Перелешину, уехал еще дальше от Родины, чтобы вспоминать и тосковать по ней острее, пронзительнее. Кстати, появление самого этого понятия — «аргонавт» — представляется весьма любопытным. «Новым аргонавтом» называл себя писатель Иван Александрович Гончаров, отправляясь в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» в середине XIX столетия в поисках «золотого руна» вдохновения, творческого заряда.

Столетие спустя люди, заброшенные судьбой на десятилетия в Китай, возвращались на Родину с ощущением того, что они — «заблудившиеся аргонавты». Заблудившиеся во времени и пространстве, но продолжающие по инерции брести за своим «золотым руном»…

Но если там, в Харбине, Шанхае, Тяньцзине, их душила тоска по родным местам, мучило ощущение собственной неполноценности в колониальном мире, пугала вспыхнувшая в Китае революция, то туда, куда они уезжали, они все увозили с собой осколки мира, в котором родились или прожили десятилетиями. И это были не просто предметы быта — это была часть воспринятой и глубоко впитанной чужой культуры, невольно соединившейся со своей, исконной. Той, которой не было уже в стране победившего социализма, но которая продолжала жить в корневой памяти, унаследованной от предков, веками живших в стране под названием «Россия».

Неизгладимыми были отпечатки колониальной жизни со всеми своими плюсами и минусами, со всем тем, что составляет повседневное бытие человека. И вряд ли кто-то из них был готов к новым страданиям — борьба двух бытов, двух систем существования, потаенная и острая душевная борьба будет терзать большинство из этих людей на протяжении многих лет. И непросто, совсем непросто будет отодвинуть, отгородить себя от жизни на чужбине…

Год спустя после своего бегства из Китая Валерий Перелешин написал горькое, пронзительное стихотворение «Издалека»:

Это будет простое, туманное утро в Китае.
Прокричат петухи. Загрохочет далекий трамвай.
Как вчера и как завтра. Но птица отстанет от стаи,
Чтоб уже никогда не увидеть летящих стай.
Босоногое солнце, зачем-то вскочившее рано,
Побежит на неряшливый берег и на острова,

И откинутся прочь длиннокосые девы тумана,
Над рекою брезгливо подняв свои рукава.
Ты проснешься и встанешь.
И, моясь холодной водою,
Недосмотренный сон отряхнешь с полусонных ресниц.
И пойдешь переулком, не видя, что над головою
Распласталась прилетная стая усталых птиц.
Это сердце мое возвращается к милым пределам,
Чтобы там умереть, где так жадно любило оно,
Где умело оно быть свободным и чистым, и смелым,
Где пылало оно… И сгорело давным-давно.
Но живет и сгоревшее — в серой золе или пепле.
Так я жил эти годы, не вспыхивая, не дыша.
Я, должно быть, оглох, и глаза мои рано ослепли,
Или это оглохла, ослепла моя душа?
Ты пойдешь переулками до кривобокого моста,
Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай,
Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто:
В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.

С дистанции времени все видится совершенно иначе: забываются горечь, разочарование, обманувшие иллюзии и на их место приходят совсем другие чувства.

Впрочем, почему же другие?

Та же ностальгия по стране, вырастившей тебя, давшей тебе первый опыт, первые впечатления, первые прикосновения к такой близкой и такой далекой Родине. В конце концов, стране, одарившей именно этой тягой к Родине, потому что все было «хоть похоже на Россию», но все же совсем, совсем иное…

И чем дальше во времени, тем острее память, тем сильнее благодарность, тем больше крепнет желание поехать в Китай и хоть краешком глаза увидеть изменившиеся почти до неузнаваемости, но все же такие родные улицы, парки, храмы… А может быть, и чудом уцелевшие дорогие могилы или хотя бы то место, на котором они были, кто знает?..

Какое это, наверное, пугающее и манящее одновременно желание: сесть в поезд, проехать через станцию Отпор (сегодняшний город Забайкальск) в обратном направлении, чтобы понять древнюю истину: ничто не может повториться, мы всё переживаем лишь единожды.

Единожды и навсегда…

«Память — единственный рай, из которого нас не могут изгнать», — считал И. Рихтер.

Что ж, мы живем для того, чтобы рано или поздно убедиться в этом.

Вместо заключения

Жизнь «русского» Китая в том виде, в котором она протекала более полувека на земле Маньчжурии, в построенном русскими строителями Харбине, в освоенных русскими изгнанниками или искателями приключений Шанхае, Тяньцзине, Пекине, Имяньпо и других местах, — завершилась. Если сравнить ее с широкой полноводной рекой, можно сказать, что эта река обмелела, пустив маленькие, разбегающиеся в разные стороны ручейки: кто-то ведь остался навсегда в Китае, пережив «культурную революцию» и еще немало потрясений, уготованных этой стране и миру во второй половине XX столетия.

Есть там русские и сегодня, есть дети и внуки, появившиеся на свет от смешанных браков — в них тоже течет русская кровь, и, кто знает, может быть, их души замирают от призрачного зова Родины, когда они слышат русские песни, стихи, когда слышат сам этот язык, великий язык своих предков…

И испытывают чувства, подобные тому, что вложил Валерий Перелешин в стихотворение, написанное в далеком Рио-де-Жанейро в 1972 году.

За свечкой — в тени — Засвечье,
за шестком — в углу — Запечье,
за спиной — ничком — Заплечье,
за рекой — свистком — Заречье,
Заболотье, Задубровье,
Заозерье, Заостровье. Забайкалье, Заангарье,
Забурунье, Заполярье,
Заамурье, Заонежье,
Заграничье, Зарубежье,
Забездомье, Заизгнанье,
Завеликооксанье, Забразилье, Запланетье,
За-двадцатое-столетье.

Прошло почти полвека. Многих из вернувшихся в те годы из Китая нет уже на свете, они нашли вечный покой в родной земле, о которой так мечтали, к которой тянулись из своего близкого далека. Остались дети, внуки, подрастают правнуки, и, в сущности, это именно для них выходцы из «русского» Китая пытаются сохранить свою историю. Эти люди собираются на конференции, презентации книг, издают газеты, журналы, пишут воспоминания, торопясь поделиться всем, что сохранила память о

далекой эпохе.

Счастливой и несчастливой.

Хотя с дистанции времени все видится и воспринимается совершенно иначе.

Сегодня русские, живущие в Харбине и Шанхае, Тяньцзине и Пекине (многие приезжают из Владивостока и работают в китайских фирмах), охотно делятся своими впечатлениями по Интернету, рассказывают о сохранившихся в Китае русских традициях, обычаях. О том, как они пытаются возродить понятие «русского» Китая, чтобы не исчезла, подобно Атлантиде, большая и важная эпоха в жизни двух стран.

В 1998 году в Шанхае был вновь открыт Русский клуб, прекративший свое существование в 1949 году, когда основная масса русских уехала в СССР или (главным образом!) в США, Австралию, другие страны мира. Есть Русский клуб и в Пекине, где сегодня обитает немало русских — по данным одного из интернет-сайтов, к началу 2000 года их было около пяти тысяч. Но, по мнению предпринимателя Сергея Шилина, президента пекинского Русского клуба, мало кто из русских планирует остаться в Китае навсегда. Слишком много различий во всем, а больше всего раздражает перенаселенность больших городов.

Очевидцы свидетельствуют: как бы стремительно ни менялся облик современных китайских городов, все равно различимы следы «русского» Китая — оставшегося в памяти людей, запечатленного в многочисленных рассказах, романах, стихах, эссе, мемуарах.

Генеральный консул России в Шанхае Виктор Коннов сказал в одном из интервью: «Остались улицы, которые помнят Вертинского, скажем, набережная Вайтань… Наверное, проходя по ней сегодня, можно представить себе, как он шел там со своей тросточкой… Есгь знаменитый отель «Мир», он же «Хэпин», на углу набережной Вайтань и улицы Наньцзинлу, она же Нанкин-роуд. Отель знаменит тем, что в нем и Вертинский останавливался, хотя жил он потом в другом месге, и Шаляпин, когда выступал здесь перед российской эмиграцией… Увы, не осталось практически захоронений россиян — я пытался их искать…

Но осталась в Шанхае ностальгия по российским культурным традициям. Люди старшего, среднего и даже молодого поколения хранят наше культурное наследие… скажем, исполнение русских песен настолько традиционно, что, куда ни зайди, с любым китайцем здесь можно спеть «Подмосковные вечера», «Катюшу» и другие песни 40-х, 50-х, 60-х годов… Они иногда поют такие песни, которые мы сами давно подзабыли — «Мчится тройка

удалая» или «Лучинушка». В Шанхае также, кроме русских песен и русского балета, помнят и любят многое из русской кухни. Знаменитый русский борщ имеет в Шанхае собственное название: «лосунтан». Первые два иероглифа — искаженное «элосы», то есть «русский», последний — соответственно «суп». Его умеют готовить почти в каждой шанхайской семье. Конечно, он здесь несколько другой, отдает кунжутным маслом, но тем не менее это борщ».

Читаешь эти строки и вновь всплывает в памяти: «Хоть похоже на Россию…», — но с другой, уже другой интонацией, словно из Зазеркалья, из какого-то былого-небылого слышится голос.

Может быть, это происходит оттого, что сегодня самым главным в настроении и интонации воспоминаний становится ностальгия — тот стержень, на который нанизываются крупные и мелкие события, детали истории, прожитой несколькими поколениями русских в Китае.

На земле, давшей приют вольным и невольным изгнанникам.

На земле, где почти стерлись их следы, но остались какие-то призрачные контуры, выступающие из иной реальности.

Это был совершенно особый русский мир в зарубежье. Мир внутри другого, закрытого, экзотического, восточного мира — подобный китайской шкатулке с несколькими донышками и со своими секретами. Поведать о нем могут только те, кто прожил в этой «шкатулке» десятилетия — их присутствие на страницах книги говорит само за себя: дополняя, продолжая, а порой и опровергая друг друга, эти люди рассказывают каждый свою, только свою историю, лишь немного — ненавязчиво, деликатно — пытаясь обобщить исторические закономерности и логические связи. Пытаясь осмыслить феномен «русского» Китая на частных примерах, которые выходят далеко за рамки лишь частных судеб.

И они ощущали это.

Свою особость и в каком-то смысле избранность, потому что, даже уезжая еще дальше от России, увозили ее с собой. Как поэтесса Ольга Скопиченко, на пути в Соединенные Штаты сложившая свой гимн Родине:

Мы снова ночью темной, грозной
Следим за светом маяка.
И снова в Божьей книге звездной
О нас написана строка.
По синей глади океана,
Быть может, в наш девятый вал
Нас бросил в путь в чужие страны

Страны любимой бурный шквал.
И снова в чуждые дороги
Господняя ведет рука,
И так же мысли наши строги,
И та же горесть и тоска.
По тем покинутым долинам,
Куда для нас возврата нет,
По нашим городам любимым,
Оставленным десятки лет.
Мы терпеливо выносили
Судьбу скитальческих невзгод,
С молитвой о своей России
Мы мерили за годом год.
И в наше новое скитанье
Мы взяли, что смогли сберечь,
Терпенье наше, наши знанья
И русскую родную речь.
И песни, звучные, как реки
В родных степях моей страны,
Что в душу вложены навеки
И чем в изгнанье мы сильны.
И снова в книге Божьей звездной
О нас написана строка.
Мы снова ночью темной, грозной
Следим за светом маяка.

Наверное, это ощущение неистребимой гордости своим «терпеньем, знаньем», неутерянной родной речью и силами, нерастраченными в изгнании, отличает обитателей «русского» Китая от других «островитян» Рассеяния именно потому, что они не испытали такого трагического перелома, а продолжали жить в немного искусственном русском мире. Словно приостановившемся на бегу во времени и пространстве…

История русского зарубежья по-прежнему остается для нас во многом загадочной и оттого особенно притягательной; в мемуарах и исследовательской литературе мы упорно ищем ответы на собственные вопросы, едва уловимые начала собственных сомнений, решений.

Контуры собственных судеб, выступающие в другом, доставшемся на нашу долю времени. Времена, как известно, «не выбирают, в них живут и умирают» — может быть, эта поэтическая максима непосредственно относится к «русскому» Китаю: к судьбам людей, попавших в жернова истории и частично

этими жерновами измолотых, частично же выживших.

Что-то очень важное для себя ищем и находим мы в судьбе островитян огромного архипелага Рассеяния. Потому что, не зная их идеалов, не понимая их смятений, их устремленности домой, мы никогда не сможем понять нечто очень важное в истории человечества, культуры, самой жизни этой страны.

Нашей страны, как бы она ни называлась — Русь, Россия, Советский Союз и снова — Россия. Какой бы она ни была — красной, белой или розовой.

В те годы, когда русские тысячами устремились из Китая домой, в другой части мира их соотечественник Владимир Варшавский писал печальное, горькое повествование об эмигрантах «первой волны» и их потомках, книгу «Незамеченное поколение» (она вышла в Нью-Йорке в 1956 году). Этой книге предшествовала вышедшая шестью годами раньше в Париже другая книга Варшавского «Семь лет», в которой уже прозвучал безжалостный диагноз: «…Мы жили без всякой ответственности, как бы сбоку мира и истории. Нам уже веял в лицо ветерок несуществования. Даже для наших отцов мы были чужие. Поколение выкидышей». Но разве можно отнести эти слова к Наталии Ильиной, Олегу Лундстрему, семье Бородиных и многим другим жителям «русского» Китая?

Алексей Бородин — мальчик, подросток, живший в благополучии и достатке, проливал слезы над судьбами тех, кто погиб, защищая свою Отчизну, кто сумел совершить подвиг во славу Родины. Каким же должен был быть климат в семье, где только бабушки да отец, Владимир Александрович, помнили Россию, что дети выросли патриотами страны, никогда ими не виденной? Что же было вложено в этих и еще многих других детей, что не только не могли, не желали они согласиться на участь «выкидышей»? И не ощущали они себя таковыми.

Говоря о своем поколении, Владимир Варшавский отмечал: «Большинство из них родилось в первом десятилетии века. Они успели получить в России только начальное воспитание и попали в эмиграцию недоучившимися подростками. Старшие из них прошли в рядах Добровольческой армии страшный опыт Гражданской войны. Большинство же покинуло родину почти детьми. Они еще помнят Россию и на чужбине чувствуют себя изгнанниками. В этом их отличие от последующих эмигрантских поколений. Но воспоминаний о России у них слишком мало, чтобы ими можно было жить. В этом их отличие от поколений старших. Зато есть в их судьбе сходство с судьбой всех «лишних людей» русского прошлого и всех «потерянных» поколений Европы и Америки».

Эта цитата принципиально важна! Здесь, как представляется, очень рельефно обозначены все сходства и различия «русского» Китая с другими, западными островами Рассеяния.

«Русский» Китай (особенно Маньчжурия!) являлся колонией — тем совершенно особым, специфическим «образом бытия», которого не могла явить русскому человеку ни Франция, ни Германия, ни «обетованные земли» США, Австралии, Новой Зеландии.

Здесь, на земле Маньчжурии, стоял русский город Харбин — с русскими домами, обычаями, традициями, лишь приправленными китайской экзотикой. Здесь эмигранты находили то, что навсегда потеряли в старой России.

Не искали — находили.

Не знаю, насколько известны были в «русском» Китае строки Марины Цветаевой:

> С фонарем обшарьте
> Весь подлунный свет!
> Той страны на карте —
> Нет, в пространстве — нет.
> Выпита как с блюдца,
> Донышко блестит.
> Можно ли вернуться
> В дом, который срыт?

— но было знакомо, осознанно, глубоко впитано в душу именно это чувство, войной основательно поколебленное, если не вовсе уничтоженное.

И тем больнее было сохранять в сердце, в памяти «срытый дом», исчезнувшую из подлунного мира страну. И тем отчетливее созревала необходимость вернуться…

Парадокс?

Возможно. Но не только парадокс.

Необходимость. Необходимость преодолеть свою потерянность, несостоятельность. Необходимость так или иначе пригодиться там, где родился. Даже если и не ты родился, а твои предки… Родина есть Родина. Ее не выбирают.

Нужно было непременно вернуться, чтобы на месте срытого дома возвести новый — на том же фундаменте, на тех же традициях и обычаях.

Великая иллюзия.

Которая слишком многих погубила.

Которая многим даровала жизнь, а не просто возможность выжить в колониальной среде «русского» Китая.

Благодаря воспоминаниям и исследованиям, мы много сегодня знаем об эмиграции, об островах Рассеяния. Мы знаем о тех, кто получил известность благодаря своим стихам и прозе, эссе и философским трактатам, песням и мемуарам. Но о скольких же безвестных не знаем мы ничего!.. И это незнание мешает понять что-то очень важное в себе. Ведь только собрав по крупицам их повседневную жизнь, их боль и радость, надежды и отчаяние, мы сможем осознать подлинный смысл собственного бытия. Вспомним «Исповедь сына века» Альфреда Мюссе:

> «Три стихии делили между собой жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану, отделяющему старый мир от Америки; не знаю, что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушениями, по временам переплываемое далеким белым парусом или кораблем с тяжелым ходом; настоящий век, наш век одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то, ни другое и походит на то и другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху.
>
> И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь; они нашли его сидящим на мешке с костями, закутанным в плащ себялюбия и дрожащим от холода. Смертная мука закралась к ним в душу при взгляде на это видение, полумумию и полупрах…
>
> О, народы будущих веков! Когда в жаркий летний день склонитесь вы над плугом на зеленом лугу отчизны, когда под лучами яркого, чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу; когда, стирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, — скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало».

По-моему эти строки Мюссе имеют самое непосредственное отношение к «русскому» Китаю, словно Атлантида, опускающемуся все глубже и глубже в воды океана Времени…

Библиография

Вернуться в Россию стихами». 200 поэтов эмиграции. Антология. М., 1995.

Вертинская Л. Синяя птица любви. М., 2004.

Вертинский А Дорогой длинною… М., 1990.

Ильина-Лаиль О. И. Восточная нить. СПб., 2003.

Ильина Н. И. Дороги. М., 1983.

Ильина Н. И. Судьбы. М., 1980.

Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М., 2003.

Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. М., 1991.

«Мы жили тогда на планете другой….» Антология поэзии русского зарубежья. В 4 т. М., 1994.

Священник Дионисий Поздняев. Православие в Китае. М., 1998.

Семейные хроники. Бородины. М., 2000.

Смольников В. Записки шанхайского врача. М… 2001.

Якобсон Е. Пересекая границы. М., 2004.

СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

Ш. Казиев
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВОСТОЧНОГО ГАРЕМА

А. Вульфов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Р. Мантран
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СТАМБУЛА В ЭПОХУ СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКОЛЕПНОГО

А. Иванов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦУЗОВ ПРИ НАПОЛЕОНЕ

Ж.-Н. Робер
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО РИМА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАСЛАЖДЕНИЙ

Ж. Флори
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РЫЦАРЕЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА

ISBN 5-235-02801-5
9 785235 028012 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ